

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

# БРЕННЕВА

2/2017

# **ВРЕМЕНА**

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
журнал**

**Выпуск 2/2017**

**Нью-Йорк  
2017**

**ВРЕМЕНА**  
**Международный литературно-художественный**  
**и общественно-политический журнал**

**VREMENA**  
**International Journal of Fiction, Literary Debate,**  
**and Social and Political Commentary**

**Publisher** Leon Mikhlin

**Editor** David Guy

**Design and layout** Slava Petrakov

Copyright © 2017 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted  
in any form or by any means – electronic, mechanical,  
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,  
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce  
selections from the journal, please call 917-922-4153 и 646 -270-9615  
or send an email to [lbm28w@aol.com](mailto:lbm28w@aol.com) и [guydmf@yahoo.com](mailto:guydmf@yahoo.com)

All rights reserved

ISBN: 978-1544208701

Printed in the United States of America

## **РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

Ирина БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
Геннадий КАЦОВ	(США)
Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
Семен РЕЗНИК	(США)
Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
Евсей ЦЕЙТЛИН	(США)

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### **ПОЛИТИКА**

100 дней президента Трампа: предварительные итоги . . . . .	6
--	---

### **ПРОЗА**

МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ Шампанское марки «Их Штербе» . . . . .	13
---	----

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ Комната смеха . . . . .	44
--	----

ЛЕОН МИХЛИН Дом на канале . . . . .	82
--	----

ОЛЬГА КУЧКИНА Ночь стюардессы . . . . .	95
--	----

БОРИС САНДЛЕР Амедео и Ева . . . . .	161
---	-----

СЛАВА ПОЛИЩУК Когда кончается ночь . . . . .	175
---	-----

ТЕЙМУРАЗ ТВАЛТВАДЗЕ Новеллы . . . . .	182
--	-----

## **ПОЭЗИЯ**

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР.....	36
ЕЛЕНА МАЛИШЕВСКАЯ .....	77
ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ.....	152
ЭДУАРД ХВИЛОВСКИЙ.....	156
ВАЛЕРИЙ СКОБЛО.....	197
ЛАРИСА ИЦКОВИЧ.....	203

## **ИММИГРАНТЫ – ГЕРОИ АМЕРИКИ**

ДАВИД ГАЙ	
Последний полет «Абрека» .....	207

## **ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	
Труден ли этот путь? .....	251

## **НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ**

ЯКОВ ФРЕЙДИН	
Удивительный доктор Лейтц .....	264

## **СТРАНИЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ**

ВИКТОР НОРД	
Символ Бродвея Дэвид Меррик .....	275

<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.....</b>	<b>292</b>
-----------------------------	------------

---

## 100 ДНЕЙ ТРАМПА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

---

Первый традиционно отмеренный срок оценки действий нового хозяина Белого дома еще не истек, а уже смело можно говорить об *ожидаемых неожиданностях*.

Многие американцы считали предвыборные популистские заявления Дональда Трампа вытекающими из ожесточенной борьбы за президентство: если победит, то быстро станет *нормальным*, предсказуемым, прогнозируемым лидером и забудет порой весьма раздражавшую общество риторiku. Особенно излюбленный пассаж о том, что до него все в Америке было плохо и ужасно, а с его приходом все станет хорошо и прекрасно.

Ничуть не бывало! Трамп остался верен прежним высказываниям и облачил их в жесткие указы и законопроекты. И в невероятном темпе, ежедневно, обнаруживал. Вспомним знаменитые стихи, посвященные, правда, совершенно иному властителю: «как подкову, кует за указом указ: кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз»...

И впрямь, прекрасодушные аналитики полагали, что Трамп под влиянием верхушки Республиканской партии, обескураженной его невероятной победой, но вовремя опомнившейся, превратится в белого и пушистого. И Конгресс не дремал – каких только президентов не обламывала законодательная власть! Опять же вспомним классику, незабвенного Салтыкова-Щедрина: «добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!» С Трампом номер этот не проходит. «Чижики» ему до лампы. Ему подавай стейк с кровью. Он гнет свое. Хотя и кое-чему учится.

Итак, что же он успел сделать менее чем за 100 дней?

Прежде всего, постарался, елико возможно, отменить многое из того, что действовало при его предшественнике Обаме. Издал

строгий иммиграционный закон, касающийся въезда в США мусульман из семи проблемных стран. Предложил Конгрессу дополнительно выделить немалые деньги на укрепление военной мощи. Разрешил гнать нефть из Канады и арендовать землю под добычу угля. Снял ряд ограничений на финансовую и экономическую деятельность, типа закона Додда-Фрэнка. В частности, подписан закон об отмене обязательств добывающих компаний раскрывать информацию о платежах, которые они делают за границей. Твердо заверил граждан, что кардинально изменит Обамакер. Его приоритетная задача – возвращение в Америку из-за рубежа рабочих мест. Он пообещал найти один триллион (!) долларов на развитие американской инфраструктуры, что также добавит рабочие места. Обнародовал некоторые положения налоговой реформы, предусматривающей льготы корпорациям и среднему классу. И этот перечень новаций далеко не полный...

Трампу верят бизнесы, верят компании, индекс Доу-Джонса впервые в истории забрался на немислимую высоту, превысив 21000 пунктов.

Одновременно миллионы людей встречают в штыки высказывания и действия президента. Они непримиримы в его неприятии, обвиняя в нарциссизме, самолюбовании, презрении к инакомыслию, низкой компетенции, уводе страны в опасный изоляционизм... Доходит до прямых намеков на неадекватное состояние его психики. По всей стране идут митинги протеста.

Новый президент в ответ продолжает ссориться с критикующей его либеральной прессой, объявляет CNN, «Нью-Йорк таймс» и кое-кого еще поставщиками фальшивых новостей, *врагами народа*, не пускает неугодных журналистов на брифинги в Белом доме, что не имеет аналогов в истории страны. Рейтинг его ниже 50 процентов. Первый вариант иммиграционного закона отвергнут. Страна, казалось, раскалывается еще больше. И вдруг...

В данном случае – совершенно не ожидаемая неожиданность. Америка была поражена выступлением Трампа в Конгрессе в последний февральский день. Едва ли не все наблюдатели отметили необычную взвешенность и мягкость речи американского лидера. СМИ называли выступление «по-настоящему президентским» – по сравнению с жесткими тирадами на пресс-конференциях и в Twitter.



Трамп начал речь с осуждения антисемитских и ксенофобских инцидентов в США, обещал «перезапустить» американскую экономику и призвал демократов к компромиссу по вопросам иммиграции и здравоохранения. Кроме того, лидер заявил о намерении «искать друзей» на основе общих интересов и напомнил, что некоторые ближайшие союзники Вашингтона некогда были врагами США – многие восприняли это как намек на улучшение отношений с Москвой.

«Смягченный тон, амбициозное видение», «Перезапуск экономики, перезагрузка президентства», «День, когда Вашингтон удивился» – с подобными заголовками вышли даже те издания, которые Трамп ранее объявил «врагами народа».

– Каждое поколение американцев принимает факел правды, свободы и справедливости. Эта непрерывная эстафета продолжается вплоть до нашего времени. Этот факел сейчас находится в наших руках, и мы используем его, чтобы осветить мир. Я пришел сюда сегодня с посланием единства и силы, посланием от всего сердца... Сегодня мы наблюдаем, как возрождается американский дух, наши союзники убеждаются, что Америка вновь готова взять на себя лидерство. Все народы мира – друзья и враги – увидят, что Америка сильна, горда и свободна, – провозгласил президент Трамп.

Замечательные слова!

Да, речь в Конгрессе произвела впечатление. Однако она не отменила проблем, прежде всего, внешнеполитических. На устах у всех Россия, хакерские атаки во время избирательной кампании. Ситуация с хакерами – предмет особо пристального разбирательства в Конгрессе, сколь бы Трамп не противился этому, отрицая какое-либо влияние этих атак на исход выборов. Но сам факт активности зарубежных хакеров беспрецедентен. Недаром в начале марта директор ФБР Джеймс Коми провел встречу с членами Комитета по разведке Палаты представителей. Во время беседы он рассказал некоторые подробности расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.

Притчей во языцех стали связи отдельных членов команды президента с российскими властями. Один из ближайших советников в сфере безопасности, отставной генерал Майкл Флинн уже добро-

вольно сложил с себя полномочия за скрываемые им телефонные разговоры с российским послом в США Кисляком. Флинн тогда еще не был советником Трампа, но по жестким американским законам частное лицо не имеет права вмешиваться в вопросы международной политики страны, а Флинн обсуждал с послом такие вопросы. К тому же выяснилось: он не только звонил, но и встречался лично с послом, причем, по данным «Нью-Йорк таймс», во встрече принимал участие Джарет Кушнер, зять Трампа.

На очереди – только что утвержденный в должности генпрокурора Джефф Сейшнс. У него ситуация посложней, нежели у Флинна, – он лжесвидетельствовал под присягой об отсутствии контактов с представителями российских властей, а такие контакты обнаружились. Тут может кончиться не просто уходом с должности...

Никак нельзя обойти молчанием и такую одиозную фигуру в окружении Трампа, как Стивен Беннон. Его не случайно называют *серым кардиналом* Белого дома. Родился он в семье ирландских католиков. Получил степень бакалавра по городскому планированию и степень магистра по вопросам национальной безопасности. Семь лет на флоте, в том числе в Персидском заливе. За плечами – степень МВА в Гарварде и работа на Уолл-стрит в банке Goldman Sachs. Есть свой инвестиционный банк. Бэннон – сценарист в Голливуде, кинопродюсер, с 2012 года – глава ультраконсервативного ресурса Breitbart News (который критики также называют сегодня Trump Pravda).

Поклонником Breitbart News был и Дональд Трамп. В 2011-м Трамп и Бэннон познакомились, затем изредка пересекались на различных консервативных мероприятиях, обсуждали статьи на сайте и интервью. В 2014 году Трамп стал частым гостем на радио-шоу ресурса, а уже в ходе избирательной кампании официально позвал Бэннона в свою команду.

По информации американских СМИ, Бэннон практически полностью монополизировал влияние на 45-го президента США, который сделал его своим главным советником и, вопреки всем традициям, ввел в качестве постоянного члена в Совет по национальной безопасности. Он готовил проекты важнейших решений, включая решение о запрете на въезд гражданам семи мусульманских стран и выходе Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнер-

ства (ТТП). Он активно занимается кадровой политикой, продвигая людей со схожими взглядами на ключевые должности. Он присутствует при телефонных переговорах Дональда Трампа с ключевыми мировыми лидерами, корректируя, в случае необходимости, ход беседы. Он установил политическую опеку над Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, «воспитывая» семью президента в нужном ему идеологическом ключе. Наконец, он контролирует все каналы информации, поступающей к главе государства.

По мнению Бэннона, Америке пора вернуться к традиционным моральным устоям и иудео-христианским ценностям. Противники приписывают Бэннону расизм, гомофобию, сексизм, антисемитизм, исламофобию и т.п. Так ли это, покажет ближайшее время.

Большие споры вызывает внешняя политика 45-го президента. Ее пока нельзя назвать четкой, ясной и продуманной. Она импульсивна, порой непредсказуема. Трамп относится к политике как к бизнесу – не случайно госсекретарем назначен крупный бизнесмен-нефтяник Тиллерсон. Если те или иные действия не станут приносить *дохода*, президент без сожаления от них откажется. В то же время уже очевидны приоритеты.

**НАТО.** Поначалу 45-й президент здорово напугал Европу заявлениями о том, что пересмотрит отношения с этой военной организацией. Но вскоре поправил сам себя – ни о каком пересмотре речь не идет, просто европейским государствам следует вносить больше средств для обеспечения обороноспособности альянса и отчасти снять с Америки тяжелое бремя расходов. Это, как говорится, другой коленкор, поэтому Европа немного успокоилась.

**Израиль.** Администрация Трампа не будет настаивать на формуле «два государства для двух народов». Это новый подход к решению сложной проблемы взаимоотношений евреев и палестинцев. В Израиле не без оснований считают Трампа истинным другом, в отличие от его предшественника. Но как практически будет реализовываться новая формула, пока не ясно.

**Ближний Восток.** Борьба с «Исламским государством» поставлена во главу угла. Удастся ли наладить здесь военное сотрудничество с Путиным? Скорее нет, чем да. Похоже, администрация Трампа вообще хочет отказаться от сотрудничества с Кремлем в этой

области. Что касается Сирии, то идеи команды Трампа об установлении зон безопасности без энтузиазма воспринимаются в Москве.

**Иран.** Объявлен злейшим врагом Америки. Подлежит пересмотру ядерный договор. Опять же, многое зависит от позиции Кремля, для которой Тегеран – серьезный союзник. Сдаст ли его Путин? А во имя чего, во имя каких поблажек и преференций со стороны США?

**Китай.** Риторика Трампа, вначале достаточно жесткая, сменила тон, с Пекином намечавшейся конфронтации, очевидно, не будет. Все-таки крупнейший торговый партнер Америки...

**Северная Корея.** Трамп требует от дипломатов и Пентагона решить вопрос дальнейших действий в отношении режима Кима. Вплоть до превентивного удара по ядерным объектам, хотя это, думается, маловероятно.

**Россия.** Головная боль новой администрации. Расточая похвалы российскому лидеру во время избирательной кампании, Трамп затем пошел на попятную. Крым должен быть возвращен Украине и точка! Об отмене санкций речи нет. Безумная эйфория по поводу избрания «друга Трампа» (в декабре-январе его имя упоминалось на российском телевидении в четыре раза чаще имени Путина!) сменилась в Москве очевидным разочарованием. К тому же для республиканцев политическое самоубийство – отказаться глубоко расследовать связи с Кремлем. В такой обстановке говорить о сближении позиций обеих держав не приходится.

...Подведем некоторые итоги. Сможет ли Трамп реализовать в полной мере свои обещания? Прежде всего, экономические? Ряд аналитиков считает, что нет. И не потому, что ему не хватит политической воли или характера, – он уже их показал. Он не сможет их реализовать полностью, потому что нельзя повернуть вспять объективные процессы. Глобализация, как бы мы к ней ни относились, – объективный процесс. Нельзя *заставить* ту или иную компанию вернуть производство в США, если за рубежом производить выгоднее. Тем не менее, могут быть установлены преференции, включая налоговые льготы, и значительная часть компаний вернется. Однако следует понимать: решить этот вопрос чисто волонтаристскими методами нельзя.

Выход из ТТП считается странным решением, поскольку соглашение позволяло установить американцам стандарт отношений в регионе, оттеснив Китай. Выход из него вызвал немало критики, и то же будет с мигрантами, которые занимают те рабочие места, которые не привлекают американцев и не нужны им. Трамп уже дал в этом вопросе обратный ход: если раньше он собирался выдворить миллионы нелегальных мигрантов, то теперь – только замешанных в криминале. Но дело в том, что таких весьма успешно отправляли на их историческую родину и раньше. Особенно преуспел в этом Обама.

Нас ждут исключительно интересные, порой непредсказуемые, неожиданные события.

**Статья печатается на правах редакционной**

*Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ*

---

**ШАМΠΑНСКОЕ МАРКИ «ИХ ШТЕРБЕ»**

---

***Отрывок из повести «Дети дьявола»***

После смерти Зары Дане снился один и тот же сон. Он слышит дыхание жены, видит, как подрагивают веки, как ходят под ними тени снов, как горестно сжимаются и шепчут что-то губы. С мучительно резкой внимательностью он всматривается в ее лицо и вдруг видит, как оно каменеет, застывает, обостряются черты, жизнь под веками, под кожей прерывается, куда-то уходит. Она умерла. И тут он просыпается и понимает, что она действительно умерла. Ее нет уже давно и невозможно понять, где она. Должна же она где-то быть. Даня лежит в холоде и темноте ночи, не чувствуя присутствия жены. Ее нет нигде.

Теперь они жили вдвоем с Сенькой в двухкомнатной квартире в доме, расположенном по соседству со знаменитой берлинской тюрьмой Моабит. Даня вел хозяйство – готовил, прибирал, покупал продукты. Уходя вечерами, он оставлял сыну ужин, закутанный в старое ватное одеяло. Можно было купить термос, но так делала Зара, когда он в Москве поздно приходил из института. Казалось, что кастрюля в одеяле лучше сохраняет живое тепло еды, особенно той простой еды, которую готовил Даня – борща, тушеного мяса с картошкой, гречневой каши. Сын вяло принимал его заботы. Он как-то потускнел после смерти матери, стал молчалив, никуда не ходил, разве что иногда ночевал у своей фройндин – простоватой русской немки, работавшей вместе с ним в компьютерной фирме.

Берлин принял Даню в свое лоно, как никогда не принимала Москва. В Москве все, что наполняло его существование, было плотно пригнано друг к другу как кирпичи в стене – работа, дружеские связи, бытовые дела. Он ездил по привычным маршрутам, не видя ни улиц, ни людей. И улицы, и люди были частью его самого,

неощущаемые как воздух, которым дышишь. Он жил в замкнутом пространстве своих дел, мыслей и отношений. В Берлине все разомкнулось, распалось, и Даня остался наедине с городом.

Он унаследовал от Зары необременительную службу, вернее, приработок, отнимавший несколько часов в день. Служба состояла в просмотре русскоязычных газет и журналов и отыскивании в них сюжетов для небольших и по возможности занимательных компилятивных статей, которыми он под разными псевдонимами заполнял рекламный еженедельник. В соседней комнате ссорились или ворковали по телефону рекламные агенты – бойкие средних лет дамы, которые, собственно говоря, и являлись главными фигурами в этом издании, приносящем некоторую прибыль за счет их предприимчивости. Имелся еще хозяин – ласковый прижимистый хохол. Но в редакцию он заходил редко, будучи занят другими своими предприятиями – туристическим бюро, продуктовым магазином, залом игровых автоматов.

Отстучав на компьютере пять-шесть тысяч знаков, Даня уходил на улицу, часами бродил среди лепных фасадов центра, унылых бетонных кубов предместья, фруктовых натюрмортов прилавков, тендов витрин, скверов с позеленевшими памятниками, парков с бегунами и сонными бомжами на скамейках. В дешевой харчевне можно было съесть донеркебаб – толстую лепешку, набитую овощами и бараниной, выпить банку пива.

Дома он лежал на узком диване в полудремоте, населенной звуками законного мира – щебетом черных дроздов, перекличкой детей, грохотом крышки мусорного контейнера – и образами прошлой жизни – лицами и голосами забытых, а подчас и умерших людей, отрывками песенных мелодий, дворами его детства. Все это плыло, смешивалось, опускало в сон, глубокий, но не освежающий.

Он унаследовал от жены не только газетную службу, но и пеструю амальгаму ее религиозно-философских интересов вместе с сюжетами, занимавшими Зару всю жизнь. Среди этих сюжетов была прижизненная и посмертная судьба Моше де Леона. Из привычного ему русского религиозного философствования Даня уходил в словно бы завещанную женой иудаику: от Владимира Соловьева и Сергея Булгакова к туманным смыслам «Зогара». И вызовом прошлого, чередой совпадений, вносящих в жизнь мистическую динамику,

потянулась в его берлинской жизни история Иоганна Шуберта с ее случайными встречами и трагическими приключениями мысли.

Все началось с Лени Рифеншталь. Потсдамский киномузей устраивал просмотр ее «Триумфа воли», этого зловещего киноотчета о нацистском рейхспартагате в Нюрнберге, увенчанного в свое время международными наградами, растасканного по киноцитатам. Даня видел этот фильм в середине девяностых в Москве на фестивале кинематографа тоталитарной эпохи. Там одновременно крутили «Путевку в жизнь» и «Юный гитлеровец Квекс», «Музыкальную историю» и «Придворный концерт», упиваясь сопоставлениями: «А у нас, а у них...»

Теперь Даня решил посмотреть «Триумф» во второй раз. У входа в готическое здание музея стояла толпа. Билетов не было. Даня показал визитку своего еженедельника. Это подействовало, пропустили бесплатно, принесли приставной стул. И он сидел два часа, запрокинув голову перед огромным экраном, оглушенный, парализованный взрывами ликования человеческих масс, волнами обожания, гипнотической власти и вообще всего этого толпового антуража, который его и мучил, и завораживал одновременно.

На следующий день была пресс-конференция самой Лени, которая оказалась жива и в свои 97 выглядела женщиной – с живыми острыми глазами и фигурой, сохранившей женскую стать. Она сразу же отсекала, видимо, привычное ей – спала ли она с фюрером: «Нет, не спала». И в остальном отвечала точно и жестко, уходя только от одного основного вопроса: соблазн был или принуждение в ее неистовом воспевании нацизма.

В пятидесятые годы она много ездила по Африке, в залах киномузея висели ее огромные нубийские снимки – красные скалы, песок, голые, словно высеченные из коричневого камня люди. И все это – племенные ритуалы, мускулистые тела, кровь, страсть, драки – в животной первооснове бытия сходилось, сплеталось с тем, что пленяло ее в молодости – крепкие свежестриженные затылки, литой упругий шаг парадов, восторженный рев толпы и ласковое прозрачное безумие в глазах фюрера.

После просмотра Даня вышел в ночь, в дождь, в прусско-гэдээровскую глухомань, где старинные обветшавшие дворцы соседство-



вали с блочно-панельным жильем, своей пресностью и выхолощенностью напоминавшим городские окраины его прежней московской жизни.

Сразу же потеряв ориентировку, он спросил у благообразного пожилого немца, где вокзал. Тот повел рукой и спросил, откуда он? Из России? И дальше потекла русская речь, но не с привычной здесь южнороссийской скороговоркой, с хамским фрикативным хэканьем, а с грассированием и пришепетыванием, то ли арбатским, то ли петербургским, а может, ни с тем, ни с другим, а просто оказалось наложение легкого европейского акцента, давшего в сплаве с московским произношением эффект старинной интеллигентности.

– Откуда у вас такой русский?

– Я профессиональный переводчик.

В свете и тепле вагона, увозившего их из Потсдама в Берлин, говорили о некрофилической теории Эриха Фромма и других фрейдистских попытках объяснить природу личности Гитлера. Некий Лангер считал, что фюрер в детстве наблюдал половой акт родителей и это способствовало развитию у него эдипова комплекса, оказавшего решающее воздействие на его характер.

Сидя друг против друга в пустом ночном вагоне, они вообразили себе квартиру австрийского таможенного чиновника конца XIX века, ребенка, стоявшего босиком на холодном полу и подглядывавшего в дверную щель родительской спальни, и те роковые последствия, которые произошли вследствие этого подглядывания – от восторженного неистовства толпы, запечатленного Лени Рифеншталь, до мировой войны и Холокоста.

Они иронизировали над вульгарным детерминизмом, заложенным в этой причинной связи событий, и эта ирония сближала их. Последовал обмен визитками.

– Тарбовский, – медленно прочитал Иоганн Шуберт. – Я знаю вас.

– Откуда?

– От Гонсовского.

– Но Гонсовский умер десять лет назад.

И уже произнеся эти слова, Даня внутренне ахнул от очередной причуды судьбы, от мгновенно представившейся ему сцены, высветившейся в коридоре времени, промельком блеснувшего во всех подробностях воспоминания.

– Тебе будет тоскливо все время в сапогах и при шашке. Я же знаю, видел, был – тосты за фройндшафт, речи, приемы, музеи, – с обычной своей тягучей и ленивой насмешливостью говорил друг детства, в те семидесятые годы начинающий классик, провожая Даню в первую его зарубежную поездку в ГДР. – Дам-ка я тебе телефон своего переводчика. Наш человек, он тебя сводит куда-нибудь, с ним можно говорить обо всем.

– Так уж и обо всем?

– Ну, во всяком случае, о многом.

Возможно ли в четырехмиллионном городе встретить человека, которого однажды видел тридцать лет назад? Сколько совпадений должно было произойти, чтобы в этой дождливой ночи Даня именно у Шуберта спросил дорогу к вокзалу... Брезжилось – Восточный Берлин семидесятых, напоминавший благообразные Черемушки, холостяцкая однокомнатная квартира на верхотуре огромного панельного дома, крупное, хорошо вылепленное лицо, очертания которого угадывались в расплывшемся старческом лице его нынешнего спутника. Сборы куда-то: «Мы пойдем туда, где танцуют», – и все вертелся у зеркала, одевая рубашку, поворачиваясь и так и эдак, проверяя на ощупь гладкость выбритых щек, – статный высокий ариец.

«Мы пойдем туда, где танцуют», – многообещающая таинственность была в этой искусственной, словно переведенной на чужой язык фразе. Дане мнилась чужая жизнь, пестрая компания, женщины, чад пьянки. Пришли же в ресторан, где он днем обедал с группой. Вечером там играл оркестр и уныло крутились две молодые пары.

– У нас другие нравы, – сказал Иоганн, видимо, ощутив Данино разочарование. – А в Доме литераторов у нас не пьют, а проводят собрания.

Сын непроницаемо выслушал Данин рассказ вплоть до последней реплики: «Так и живет в той же квартире, всю жизнь один, без семьи, уж не гомик ли?» – и затем сказал: «Ну, почему же гомик? Ты же помнишь суку Гретхен, которая пыталась подбросить ему их ребенка?»

– Какую суку Гретхен, что ты несешь?

– Ну, как же, Гонсовский ведь тебе рассказывал, как встретил

его в Берлине с малышом и тот сказал: «Вот ведь Гретхен, сука, уехала отдыхать, а мне своего щенка подбросила».

– Как ты можешь это помнить? Тебе ж самому лет восемь было.

– Потому и помню. А как он говорил Гонсовскому: «Вот вы русские, широкий народ, деньги тратите без счета – кабаки, выпивки... А я, знаешь, сколько у меня этих марок, а ведь каждый раз как рассчитываюсь в ресторане, мучаюсь. Сам себя презираю, но ничего не могу поделать».

Он даже интонацию, нет, не Шуберта (Гонсовский, видно, не мог воспроизвести пришепетывающую мягкую речь Шуберта), а самого Гонсовского – иронически медлительную, хамоватую – воспроизвел.

– Послушай, как это может быть? – воскликнул Даня. – Ведь тридцать лет назад это было.

– Говорю ж тебе, помню.

А Даня ничего не помнил, никаких таких рассказов Гонсовского, который уже десять лет лежал под мраморной плитой в Кунцево и оттуда, из могилы подавал голос, создавая образ человека в рассказе, некогда услышанном ребенком и с фотографической точностью запечатленном в детской памяти. Этот голос и этот образ доходили из прошлого, завязывая очередной узел сюжета, уходящего своими истоками в давнюю-предавнюю Данину поездку на Кавказ.

Империя была так огромна, вмещала в себя столько этносов, что в ней легко мог затеряться целый народ. Однажды на самой ее окраине, на границе Азербайджана с Ираном Даня обнаружил доселе неизвестную ему национальность.

– Талыши.

– Латыши? – переспросила Зара.

– Да нет же, талыши. Они не турки в отличие от азербайджанцев. Ближе к персам, фарси. Свой язык, культура, религия, они как иранцы – шииты. Было такое талышское ханство, куда с Дона, с Волги делали набег казаки. «И за борт ее бросает...» Может это как раз талышская княжна была. Они красивые – талышки. Глаза глубокие такие, прямо черные бездны...

– Ты уж со второй рюмки сразу о женских глазах, – с ревнивой иронией сказала Зара. – Не пей больше.

Он и не пил. Свое брал в командировках.

...Шашлычная была в горах – сарайчик, прилепившийся на склоне. У входа с библейской простотой валялась окровавленная баранья шкура. Подавали дымящееся мясо, острый творог, сладкий перец. За спиной буфетчика висел портрет Сталина на большом фаянсовом блюде.

– Здесь все свежий, – сказал Чингиз. – Здесь бывают большие люди. Он и сам был большим человеком по местным меркам – директор совхоза – один из отцов народа. Сухонький, важный, запахи-вающийся словно в халат в синий габардиновый плащ, он хриплым шепотом рассказывал как их, талышей, сживают со света: лишили национальных школ, клубов, газеты, записывают в паспортах азербайджанцами.

– Ну, зачэм, зачэм? – страстно шептал Чингиз. – Ну, глупость же... Сами нас толкают к Ирану, к единоверцам нашим. И так молодежь слушает иранское радио, воспитывается на нем. Дали бы автономию, все было бы по-другому.

Отговорив, успокоившись, он медленно пережевывал мясо, косясь на соседний столик, где играли в нарды. Даня знал, что его спутник считается одним из лучших в городе игроков в нарды, и как ему, верно, хотелось в эту беззаботную компанию, к стуку костяшек, к азартному переbrasыванию фишек.

Когда унесли кости и стали готовить стол к чаю, Даня ополоснул пальцы и вышел на площадку перед входом в шашлычную. Она висела в пустоте, в режущем легкие чистом холодном воздухе. На горизонте виднелось море. От него склон отделяла полоса предгорий, густо заросших лесом долин и ущелий с каменистыми руслами высохших речек.

А позади шла своя воскресная жизнь. Подростки с красиво прорисованными глазами качались на ветвях огромного дуба. В шашлычной игроки почтительно расступались, пропуская к столу Чингиза, и нардовая баталия пошла с новой силой. Официант наливал в грушевидные стаканчики коричневый чай.

– К тебе ходок, – сказал Дане сосед по кабинету, показывая на окно. – Он звонил, тебя не было, я просил подождать.

За окном на февральском московском ветру ежился представи-

тельный восточный человек, затянутый в темный импортный плащ. У его ног стоял огромный портфель с крохотной авоськой, привязанной к ручке.

Ходоки – это расплата всех, кто ездит из Москвы, из всяких ее властных или, во всяком случае, представляющихся там, на местах властными учреждений по просторам империи. Расплата за близость к власти; за то, что ты с ласковой снисходительностью и всеведением ходишь по заводам и колхозам в сопровождении начальников, расспрашивая о том, о сем, пытаясь влезть в душу расспрашиваемых, а потом, когда они остаются при своем галерном деле, ты уходишь с начальниками пировать, и с тобой они любезны, милы, доверительны, а с подчиненными – жестки, холодны, суровы; за то, что ты, что бы ты там про себя не думал, – с этой сучьей властью, ее прихлебатель, конфидент. И вот она вырывает тебе на колени обиженных изобретателей, истеричных правдолюбцев, потерпевших крушение интриганов, отыскавших тебя по мимолетному следу, оставленному в командировке – визитке, адресу, записанному в гостинице; и ты должен возиться с их головолomным безнадежным делом.

– Откуда ходок-то?

– Говорит, из Арслана, от какого-то Чингиза. Самого Гассаном зовут.

Господи, да неужто же эта талышская диссида достает его здесь? Ведь ходил же он по возвращении из Азербайджана в ЦК, к Цесарскому, он свел его с инструктором, ответственным за межнациональные отношения на Кавказе. И тот мордастый, хамоватый, сразу же перешедший на ты, втолковывал ему чиновничьей скороговоркой:

– Им автономию дай, это на три района... Лезгинам дай. А в Дагестане – три аула и уже свой язык, своя народность. Не напасешься автономий. Ты хоть представляешь себе, какие это деньги – национальные школы, клубы, газеты, свой Верховный совет, разные там декады культуры? Да и потом, что нам на Алиева давить по пустякам? В Баку считают: нет такого народа. Нет так нет.

Инструктор помолчал раздраженно, поиграл желваками.

– Знаем мы про их иранские настроения. Шииты сраные, фанатики, мать их... Сунниты, они помягче. А эти: имам сказал, значит все.

Выходило: с одной стороны денег жалко, а с другой – у Баку имелась своя державная политика, свои права, на которые Москва посягать не хотела, отдавая Алиеву талышей на откуп. Но ведь не скажешь все это тому же Чингизу, разговор цековский – доверительный. Зачем же еще посланцы – думал Даня, сбегая по лестнице в вестибюль.

Однако с первых слов, выборматываемых Гассаном ему на ухо, стало ясно, что тревога напрасна, здесь обыкновенная бытовуха. «Племянник. Ахмед. Хороший мальчик. Матрос. Драка. Его нарочно втянули. Ударил ножом. Так, пустяк. Тот человек претензий не имеет. А мальчику – суд, тюрьма. Направили в Москву на экспертизу, в институт Сербского. Три месяца ничего о нем не знаем. Чингиз-муаллим сказал: как приедешь, найди моего друга, устрой ему банкет...»

Притащил его в отдел. Усадил, выпросил имена и даты, в несколько звонков узнал и крупно выписал в блокнот телефоны, часы приема и адрес Бутырской тюрьмы, где в ожидании психэкспертизы должен был находиться «хороший мальчик», всучил ему блокнотный листок, выпроводил смущенно благодарящего, бормочущего про банкет, про Чингиза-муаллима.

Все! Сделано и забыто. Но на другой день вечером звонок домой. «Хорошего мальчика», оказывается, успели отправить в Баку.

– Значит, вы зря приехали?

– Почему зря. С вами вот познакомился.

Голос более спокойный, уверенный, похоже, что он оклемался за этот день в Москве, как-то устроился и достойно предлагает пойти посидеть в ресторане. Теперь, когда племянник отправлен из Москвы, это выглядело как нормальное проявление мужской дружбы.

Господи, как Даня ненавидел командировочные ресторанные застолья! Пережевыванье местных сплетен с многозначительными намеками на прикосновенность к заботам больших людей, велеречивые тосты. Чингиз обязательно вставал, вытягивал руку с бокалом и говорил: «Дорогой друг!» Он восклицал это с такой торжественной значительностью, что казалось – вслед за этим последует нечто высокое исповедальное. Но сказать было нечего. И возглашалось снова уже с пьяной настойчивостью: «Дорогой друг! Вы приехали к нам...» – и далее обыкновенная льстивая по-восточному цветистая чушь.

И вот уже здесь, в Москве – ресторан. Сослаться на занятость? Отказаться? Оборвать? Значит, продемонстрировать дистанцию между ним, Даней, принадлежащим к высшей власти и этим мелким провинциальным чновником. Согласиться? Значит выпотрошить его скорее всего совсем не толстый кошелек, обрекая на показ традиционной кавказской широты.

– Приходите ко мне.

– Ой, правда? – с какой-то немужской экспансивностью воскликнул Гассан. – Когда?

– Да хоть сейчас.

И вот он стоит в передней со своим портфелищем, сияющий, смущенный. У Чингиза лицо сухое, твердое, хищное. У этого же расплывшееся, доброе и с каким-то ошалелым выражением. Приглаживает коричневые вихры. Костюм новый, «пасхальный», рубашка белая, галстук в павлиньих разводах. При параде. В Москву собрался. К большим людям.

Снял ботинки, в носках (Даня не успел дать тапочки) проводок портфель в комнату. И на стол – бац – бутылку коньяка, армянского, три звезды. Этого, впрочем, следовало ожидать. Но портфель остался открытым.

– Принесите, пожалуйста, что-нибудь большое.

– Что именно?

– Таз, кастрюлю.

Из распахнутых створок начали вываливаться пироги, пирожки, булки. Казалось, портфель тошнит этим желтым печеным тестом. В тазу образовалась гора – зыбкая, дышащая, отсвечивающая маслянистыми боками.

– Боже мой! Что это? – вскрикнула Зара.

Гость скромно потупился.

– Моя жена вам посылает.

И сделал широкий жест, как бы приглашая немедленно наброситься на эти пироги, давай, мол, ребята, гуляй по буфету.

– Но зачем же так много?

– Так надо.

За столом он неотрывно глядит на Даню влажными черными глазами и говорит без умолку – где учился, где работал, с кем знает-ся, сыплет какими-то восточными именами, видимо, рассчитывая

на ответную данину реакцию: а-а, мол, да-да, знаю. Но Даня молчит, давая ему выговориться. Зато Зара перебивает изумленными вопросами. Зачем ему целых три диплома: двух техникумов и одной партшколы? Не глядя на нее, снисходя к бабьему неразумию, гость разъясняет: такая уж жизнь, всюду диплом нужен. Был замдиректора совхоза – сельхозтехникум кончил. Заочно, конечно. Был директором районного Дома культуры – техникум культпросветработы кончил, тоже заочно. Гассан перечисляет еще несколько должностей районного калибра. Выходит, что дипломов у него даже маловато.

– А сейчас я председатель районного общества спасения на водах.

Зара, прижав пальцы ко рту, порывисто встает, уходит отсмеяться. Даня, однако, понимает, что гость на пересидке, выпал из команды, соскочил с круга, как электрон с орбиты.

– У вас сейчас пауза? – туманно спрашивает он. Но Гассан схватывает с полуслова.

– Эх, если бы вы знали, какие подлецы бывают!

Про подлецов ясно, эту тему лучше не затрагивать: взятку вымогали, а он, честняга эдакий, не дал. Или кто-то родича своего на его место устраивал. Конфликты на уровне родоплеменных отношений. Но гость о другом: не собирается ли Даня в их город, не сможет ли он в таком случае придти к нему в дом?

– Коли буду, так приду, – вяло обещает Даня.

– Если бы вы знали, что это для меня значит, – страстно шепчет Гассан. – Вы пришли бы ко мне в дом, сели за стол, все знали бы, что вы мой друг, мне бы могли дать какую-нибудь должность. Они позвали бы меня и сказали: «Гассан-муаллим, вы такой опытный человек...»

Что за бред, думал Даня. Неужели такая простота нравов?

– А у вас большой дом? – вернувшись, спрашивает Зара.

– Так себе. Четыре комнаты. Давно строил. Сад есть.

– А детей сколько?

– Семеро.

– Семеро? – переспрашивают Даня с Зарой в один голос.

– Семеро, – с улыбкой повторяет Гассан.

– Жена, конечно, не работает.

– Конечно. Шьет немножко.



Не густо ему живется, думает Даня. Все-то кажется, что у них там на Кавказе денег куры не клюют.

Разговор, однако, начинает выдыхаться. Гость поглядывает на часы, прощается. Грустно и важно отклоняет предложение проводить – сам найдет такси. Забирает опустевший портфель (к ручке привязан пластиковый пакет, в котором проглядывает бритвенный прибор и помазок) и исчезает.

Сидя за неубранным столом в каком-то изнеможении, Даня увидел в глазах Зары слезы.

– Ты что?

– Какая тоска. Я представила себе эту бедную, замученную детьми женщину. Как она пекла пироги, совала их в портфель. Как они всей семьей обряжали его, собирали в дорогу. Он приехал завоевывать Москву с портфелем пирогов, бедный кавказский Растиньяк. Мне жалко его. Он неудачник. Ему и здесь не повезло. Ты не тот человек, который ему нужен. Он слишком поздно это понял.

– Кто его знает, какой он был, когда преуспевал?

– Я этого не хочу знать. Я вижу, какой он сейчас – неумелый неудачник с семьей детьми. Надо было хоть что-нибудь послать его жене. Но что? Кроме книг у нас ни черта не найдешь.

– А вы пошлите ей Пастернака. То-то радости будет, – включился в разговор Сенька, входя в комнату в пирогом в руке.

– Молчи, – сказала, вытирая слезы, Зара. – С чем пироги-то?

– С разным. С сыром каким-то. Есть с медом. Еще с чем-то, не поймешь.

– Куда нам столько? Придется раздавать. Ты возьми к себе в институт.

...Ушел Гассан-муаллим, скрылась его широкая сутулая спина в сумерках слабо освещенного подъезда, хлопнула дверь вниз и поглотила его московская ночь.

Остаться бы ему в том времени навсегда, занавешенному створками даниной памяти, в образе простодушного Растиньяка, неудачливого искателя столичных покровителей. Но вот высвечивается его образ годы спустя чудесной силой совпадений, прихотьёю Великого Ткача, что творит паутину судеб, встреч, событий.

Рассаживались по принципу «своя своих познаша». Левый ряд заняли русские немцы. Правый – русские евреи. На «камчатке» – турки, курды, азербайджанцы.

Германия, жесткая ксенофобическая Германия, растянув на полвека свои извинения перед миром, открывала дверь беглым и гонимым. Напишем на нашем знамени слово «сострадание»!

В одном классе языковых курсов арбайтсамта оказывалась коренастая свиначка из Казахстана, неподвижно сидевшая, сложив на столе тяжелые руки, и московский инженер с мефистофильским профилем, истерзанный графоманскими страстями («Я приехал сюда писать прозу»), юный пастух из сибирского села и почтенная ученая дама из Петербурга.

Все вместе это зевало, кряхтело, засыпало, хохотало, взвизгивало. Менялись громкоголосые фрау, преподававшие языковую премудрость. Взвизгивала на вертикальных рельсах исписанная мелом доска. Класс погружался то в историю герра Флика, который застаёт жену, целующуюся с его деловым партнером, то герра Беккера, который торгует обувью, в полдень обедает, а вечером добродетельно сидит у телевизора. Класс зубрил немецкие глаголы, болтал на причудливой языковой смеси, пил вино на совместных застольях во время дней рождений, отмечаемых в той же классной комнате за сдвинутыми столами, бродил по аллеям соседнего парка, жевал, острил и грустил на его скамейках.

Даню занимал молодой перс, единственный перс в классе. По-немецки он говорил довольно сносно, так что, пожалуй, ему было и не место среди начинающих. Но знание свое не демонстрировал, да и вообще держался в тени, помалкивал, впрочем, молчание это казалось презрительно агрессивным.

Склонный к наблюдениям и размышлениям над обликом незнакомых людей, Даня усматривал в нем какую-то странную смесь разных культурных слоев. Вот он взгромоздился на стол на перемене, сидит, поджав ноги, прикрыв глаза, перебирает четки. Эдакий «турок на молитве» из фольклора полуденной жаркой Азии. Но в вороте рубашки – краешек тельника, в движениях мягкость, не восточно-гаремная, а скорее кошачье-блатная и взгляд пронзительный исподлобья.

Что-то неизъяснимо знакомое чудилось Дане в этой повадке. Он наблюдал за ним, пытаясь слепить из реакций, манеры поведения, отдельных реплик образ этого человека.

Обучение в классе велось с помощью разнообразных игр. Разыгрывалась сцена в ресторане: ты – официант, я – клиент. Или раздавались картинки, связанные обрывающимся сюжетом, конец его полагалось придумать самому. Затевались дискуссии на темы, которые преподавательнице представлялись занимательными для аудитории, скажем, выносить или не выносить тело Ленина из мавзолея, и когда молодой турок спрашивал, кто, собственно говоря, такой этот Ленин, класс взрывался хохотом. Но перс-то знал, кто такой Ленин. Даня видел, как в ниточку сжимались его губы, каким жестким при упоминании этого имени становился взгляд.

В игре же с картинками его неодобрение вызывала придуманная кем-то сценка: собака сидит в кресле и читает газету. «Человек есть человек, а животное есть животное, – пробормотал он по-немецки. – Нельзя так фантазировать». Похоже, что он был человек строгих правил, четких представлений о жизни, где каждый знает свое место. То же проявлялось у него в разговоре об эмансипации женщин. «Не понимаю, как это женщина не хочет готовить. Это ее, а не мужское дело».

А с какой иронией следил он за взрывом гастрономических эмоций, последовавших за предложением преподавательницы составить сообща рецепт украинского борща. Русскоязычная часть класса просто изнемогала от переполнявших ее вкусовых ощущений. – «Говядина должна быть обязательно с косточкой». – «Про чесночок не забудьте. Про чесночок...» – «А паприка?» – «Сметана-то, шмант?».

Преподавательница, холеная молодая немка с аристократическим фон в фамилии, писавшая все это на доске, даже сладострастно зажмурилась при последнем выкрике: «Йа-а, шмант!»

Восточная часть аудитории посматривала на этот ностальгический пир с вежливой улыбкой. Но в иронии перса была некая брезгливость, какая может быть у человека высоких помыслов при виде низменных плотских страстей. В какой-то момент Дане показалось, что он понимает по-русски и даже чувствует оттенки языка. Перегнувшись к нему за спиной разделявшего их соседа-турка, он внятно и медленно сказал:

– Ты ж по-русски понимаешь?

Перс выдержал паузу и ответил без малейшего акцента:

– Ну и что?

– Откуда?

– Жил.

– В России?

– В Азербайджане.

– В Баку?

– Почему в Баку? В Арслане.

Все стало на свое место как в детской мозаике, что складывается из отдельных фрагментов. Краешек тельняшки, едва уловимая приклатненность в повадке... Все сложилось во внезапном озарении.

– Ты Ахмед, матрос, племянник Гассана-муаллима?

Он окаменел. Несколько секунд сидел, прикрыв глаза, ничем не выдавая изумления, видно, что-то сопоставляя, припоминая. Потом, справившись с собой, спокойно сказал, пожалуй, даже утвердительно, а не вопрошающе.

– Ты тот человек, к которому он ездил в Москву? Зря. Меня отравили в Баку, а там выкупили.

– Я знаю.

На том разговор закончился. И больше они ни разу ни о чем не говорили, как бы не замечая друг друга. А вскоре Ахмед исчез, не доучившись до конца. Считалось, что он нашел работу и курсы ему теперь ни к чему. Точно так же несколько раньше исчезли два иракских курда – добродушный крестьянин из Сулеймании и мрачноватый официант из Киркука.

Все это напоминало об одном из ликов Берлина – пересыльного пункта и европейского резервуара всяких национальных движений Востока и Балкан. Этот мир выходил порой из-под пестрой и гладкой поверхности германской жизни в виде толп курдов или сербов, скандирующих лозунги и размахивающих полотнищами с надписями, или штурмовых набегов палестинцев на посольства государств, представлявшихся им враждебными. Возможно, что и Ахмед был оттуда же. Сонный талышский Арслан с красными пятнами гранатов в пыльной зелени садов, с джигитами в кепках-аэродромах, став частью исламского Востока, вытолкнул его в фундаменталистские

страсти, в шиитский мир, о котором некогда хрипло шептал Дане на ухо Чингиз.

Вторая встреча с Иоганном Шубертом, как и первая, была случайной. Вообще-то Даня позвонил переводчику вскоре после кинопросмотра «Триумфа воли». «О-о, как я рад, – услышалось в телефонной трубке. – Но извините меня Бога ради, я варю свой пудинг, он может подгореть. Вы дома?» Перезвонил через несколько минут. Повидаться же вскоре не получалось, да так и заигралось... Осталось воспоминание о подгорающем пудинге, как он там, верно, стоит у плиты, обвязав живот полотенцем, болтает ложкой в кастрюле. Чистенький старый холостяк, все сам себе делает. Одиноким старик. Впрочем, как и Даня. Два одиноких старика. И вот они встретились в самом, казалось бы, неподходящем месте – на балу любви.

Каждый год язычески беснующаяся толпа молодежи в летнюю жару изливается в Берлин, заполняя улицы центра города оглушительной музыкой, криками, экстатическими плясками. Не было ничего более далекого от тогдашнего Данина состояния, чем эта вакханалия, и тем не менее он каждый год с угрюмой миной ввинчивался в толпу и шел квартал за кварталом в грохоте рока, в дуденье и визге, в плотной массе потных полубоженных молодых тел, едва прикрытых пестрым тряпьем.

В изнеможении вырвавшись из этого клубка запахов и ритмов, он стоял, прислонившись к теплой стене дома. И вдруг увидел Шуберта. Тот шел, держа на плечах девчонку в одних шортиках даже без лифчика, так что молодые аккуратные груди тряслись в такт движению. Она размахивала воздушным шаром и что-то кричала, а он с побледневшим от жары и усталости потным, но счастливым лицом, нес ее, поглаживая крупными старческими ладонями ляжки, плотно охватившие его шею. Что она кричала? Какое-то одно слово. Какое? Даня вслушался, пытаясь вырвать ее голос из общего шума и, кажется, разобрал: «Фатти, фатти!» – папочка.

Увидев Даню, Шуберт помахал рукой и похлопал свою всадницу по попке, давая знать, что пора слезать. Та мгновенно, опершись о его голову руками, ловким гимнастическим движением спрыгнула на землю и пошла, не оглядываясь.

– Тяжело? – спросил Даня.

– Но приятно, – в такт ответил Шуберт.

На боковой пустынной улочке, куда гул бала любви доносился лишь отдаленно, нашли прохладную пивную, устроились на воздухе за столиком в зыбкой тени тента. Посасывая пиво, вглядывались друг в друга, улыбаясь, как бы разминая начало разговора.

– Она вас называла – папочка?

– Наш Гёте сказал: «Мой друг, теория суха, а древо жизни вечно зеленеет».

«Наш Гёте» – как это по-немецки, подумал Даня. Но похоже, что цветение древа жизни для него реализуется лишь в определенных формах. Ничуть не понижая голоса, чего, казалось бы, требовала интимность сообщаемых в дальнейшем фактов, Иоганн рассказал, что время от времени он посещает публичный дом. Один и тот же, очень хороший, с чистыми, воспитанными девушками. О, нет, это, конечно, не роскошное заведение с сауной и кружевным постельным бельем, где с вас сдерут пятьсот марок за час, а вполне пристойное опрятное учреждение среднего класса, где час любви вам обойдется в 150 марок. «Заразиться? Что вы, Даниил, что вы... Ведь это же профессионалки. Мы можем пойти вместе. Нет, нет, я не настаиваю, спутник для этого дела мне не нужен, я просто хотел оказать вам услугу, ведь вы в чужой стране и к тому же одиноки. Как хотите, разумеется, как хотите».

Он говорил об этом деловито и просто, расхваливая свое публичное заведение, как одна хозяйка посвящает другую в закупки продуктов: «Тут недалеко есть отличный магазин, где вырезку можно купить по пятнадцать марок. И, знаете, отличное мясо».

Даня спросил, как часто он ходит в публичный дом? Оказалось, что раз в месяц, но если много переводов, то два раза в месяц.

– Значит периодичность ваших посещений зависит не от потребности, а от заработка?

– В какой-то мере.

– А как сейчас с работой?

– Не лучшим образом. Но мне обещали заказ на перевод «Сатанинских стихов» Салмана Рушди. Это и выгодно, и интересно.

– А вы не боитесь?

– Вы имеете в виду фетву Хомейни?

– Да, тем более, что итальянский и японский переводчики, на-

сколько я знаю, убиты. Как, впрочем, и брюссельский муфтий, издавший контрфетву.

– Знаете, я фаталист.

Разговор перескакивал от темы к теме, меняя русло, цепляясь за ассоциации, прорываясь сквозь кору отчуждения к близости мироощущения, так что Даня, пугаясь чего-то, отходил от этой черты, используя привычное оружие иронии.

– Иоганн, вы принадлежите к какой-нибудь конфессии? Католической, лютеранской?

– Да нет, я скорее эзотерик, гностик.

– Какое гностическое учение вы исповедуете? Манихейство, неоплатонизм?

– О-о, да вам не чужды занятия философией. Ничего-то я не исповедую. Так, читаю, думаю.

– Все равно уйдем ин дрерт? Знаете, есть такое идишистское выражение – ин дрерт – в землю, в прах.

И в ответ Даня услышал, холодея, не веря собственным ушам то, что читал, над чем думал буквально вчера.

– Прах, прах! Как ты упрям, как нагл! Ведь все желанное очам смешивается с тобой.

– Господи Боже мой, Иоганн, вы изучали каббалу, читали Зогар?

– Почему бы и нет?

Среди книг и философских заметок, оставшихся от Зары, были и черновики к так и ненаписанному повествованию о Моше де Лео-не. Она пыталась увидеть его в реалиях тринадцатого века. Его длинный кафтан с широкими рукавами, под которым носили талес, надетый на перепоясанную широким ремнем тунику. Туника это то же, что хитон, и созвучие здесь несомненно, нечто вроде длинной рубашки, а у Томаса Манна Иосиф носит подаренный ему Иаковом кетонет (тоже созвучие) Рахили, вызвавший столь жгучую зависть братьев, что в конце концов весь сыр-бор разгорелся.

Моше писал свою Книгу на веленовом пергаменте гусиным пером, чернилами, приготовленными по специальному, предусмотренному в Талмуде рецепту. Все это Зара вычитывала в брокгауз-ской Еврейской энциклопедии. Только вот портрета ее героя там не было. Облик его не сохранился. И Даня помнил, как она обсуждала с ним, как мог выглядеть Моше? Худое, узкое, чернородое лицо,

истерзанное страстями? Ну, почему же худое, да еще истерзанное страстями, отвечал Даня. А, может, он был вялый, толстолицый, со скучным, ничего не выражающим взглядом? И огонь, который горел в нем и излился на страницы «Зогара», так что столетия спустя хасидский цадик благодарил Бога за то, что он создал его после сотворения Книги, дав ему счастье читать ее, никак не выразался в его облике...

«В истории обнаружения «Зогара» – мистика бродячих сюжетов. В наше время этот сюжет, который можно обозначить как «жемчужина на мусорной свалке», повторился в отыскании кумранских рукописей: Палестина, пещера, случайно забредший туда араб-пастух, торговцы, заворачивающие снедь в священные тексты.

Тот же случай «жемчужины на мусорной свалке» и с «Зогаром». По преданию несколько листов рукописи попадают в Палестине в руки некоего мудреца, пришедшего с Запада. Мне довольно легко удалось установить, кто имелся в виду. Это совершенно конкретное лицо – знаменитый испанский раввин Нахманид, которого спровоцировали на диспут по поводу того, является ли Христос Мессией, а потом по требованию Папы выслали в Палестину.

Ну, а Моше де Леон в предании фигурирует как переписчик Книги. Потом в Испанию приехал из Палестины ученик Нахманида Ицхак из Акко и удивился тому, что ни слова не слышал о такой замечательной книге от своего учителя. Ведь любой образованный еврей в те времена понимал, что перед ним настоящая энциклопедия каббалы. Но в средние века такое случалось: рукопись сознательно приписывалась автором какому-либо авторитету древности, как бы припудривалась пылью веков. Здесь расчет на читательский консерватизм, на преклонение перед традицией. Иначе не прочтут.

Моше де Леон объяснял жене это так: если люди узнают, что я автор, они не истратят на книгу ни гроша. Но услышав, что я снимаю копии с рукописи, написанной Шимоном бар Йохаем по наитию святого духа, они хорошо платят за нее.

Когда Ицхак из Акко пришел к Моше де Леону в Авилу, где тот жил, он уже умер. И Ицхак записал в своем дневнике, дошедшем до нас, слова вдовы. Впрочем, Шолем, проанализировав и другие книги Моше, довольно убедительно доказал, что авторство «Зогара» принадлежит именно ему.



Все-таки это поразительно, как каббалист средней руки да и к тому же одержимый прагматической целью, смог создать такую книгу. По влиянию на умы еврейства «Зогар» сравнивают с Библией и Талмудом. Впрочем, Талмуд апеллирует к рассудку: «Приди, послушай», а «Зогар» – к духовной интуиции: «Приди, взгляни». Здесь непосредственное общение с Богом, мгновенное преодоление пропасти, отделяющей его от человека.

Сколько иронии, язвительности, недоброжелательства вызывал Моше де Леон у еврейских историков. «Как наш бессовестный изготовитель книг любит морализировать», – пишет Штейншнейдер. Грец называл его ленивым и нищим шарлатаном, открывшим для себя неиссякаемый источник дохода за счет входившей в моду каббалы. Это терминология газетного фельетона девятнадцатого века.

Как они не ощущали пленительную поэзию «Зогара», возвышенный строй души его автора? При их-то знании иврита и арамейского, при глубокой еврейской образованности и впитанном с детства духе иудаизма? Все ведь вышли из патриархальных семей, провели юность за Талмудом, это уж потом стали профессорами в немецких университетах. Впрочем, Грец вообще к каббале и к хасидизму относился отрицательно, полагая, что они дурно влияют на народ. Словно пастырь, школьный учитель, знающий что хорошо и что плохо для его учеников и оберегающий от развращающего влияния их неокрепшие души, он отрицал мистицизм. Гегельянцы и неопиты европеизма, просветители и рационалисты, они стояли на страже религиозного Закона своих предков в его классическом понимании. И за этим противостоянием угадывался извечный, протянувшийся на тысячелетия конфликт между верой и философией, Платоном и Аристотелем, Кьеркегором и Гегелем...»

В ту вторую их встречу с Иоганном они долго еще сидели в тихой пивной, отдаваясь сумбурному и вместе с тем в чем-то очень важному для обоих разговору.

– Никогда не мог понять атеистов, -- говорил Шуберт. – Мне всегда казалось, что в мире присутствует некая тайна. Соприкосновение с ней это и есть счастье. Да ведь и в вас, как мне кажется, живет тоска по трансцендентальному, по высшим формам бытия – Единому, Благому.

– Это вы о вере? Да ведь я не платоник.

– А это свойственно не только платоникам. Собственно, тоска по метафизическому познанию и родила монотеизм, так что первыми ее ощутили ваши далекие предки.

– А как это уживается с плотским – проститутки, парад любви?

– Вы, кажется, хотите меня подразнить? Плотское прекрасно. И парад любви прекрасен, как древняя восточная мистерия.

– Язычество, мифология?

– А что такое каббала, о которой мы толкуем, как не возврат от строгого монотеизма к первооснове бытия, к мифу и одновременно к теплой плотской патриархальной вере, как у хасидов, так много взявших у каббалы. Кажется, ваш Розанов сказал: «Мне свечечка дороже, чем Господь Бог. Свечечка – она теплая...» Да и в «Зогаре» божий человек Моисей состоял в мистическом, правда, браке с Шхиной – Божественным присутствием в мире. И сама Шхина описывается как дочь княгиня, женский принцип в мире сфирот. Мне отвратителен августиновский аскетизм, его презрение к телесному. Уж иудаизму он совсем не свойственен. А Моше де Леон? Вот уж в ком возвышенное и земное уживалось... Разве не стремление заработать заставляло его выдавать написанный им «Зогар» за творение Шимона бар Йохая?

Разговор принимал вид традиционного сюжета с двойником-дьяволом. Он все читал и все знал, о чем думал Даня, схватывая на лету каждую Данину реплику, не обижаясь на подкалывания, понимая мысль до доньшка, развивал ее, парировал, гнул свое, так что и противопоставить ему было нечего.

...Теперь они часто встречались, часами гуляли по городу, философствовали, спорили, подчас иронизируя над собственным многоумием.

Во время одной из таких прогулок Дане показалось, что они встретили Ахмеда, быстро проскользнувшего мимо и не ответившего на Данино приветствие.

– Кто это? – спросил Иоганн. – Вы знаете этого человека.

– Похоже, что это мой бывший соученик по языковым курсам.

– Странно, – задумчиво сказал Шуберт. – В последнее время он несколько раз попадался мне на улице.

Больше на эту тему они не говорили, но что-то засело в Дане каким-то смутным подозрением, неясной тревогой...

В последнюю встречу с Шубертом они почти всю теплую летнюю ночь просидели в уличном кафе среди бомжей и всяких восточных людей – арабов, турок, негров, среди медленно прохаживающихся между столиков проституток.

Иоганн рассказывал о работе над переводом «Сатанинских стихов». Собственно, кощунственной можно было бы считать лишь одну главу, действующим лицом которой был Махунд из Джилъи. За этими именами угадывались Магомет и Мекка. В сложном, не совсем понятном для немусульманина сюжете этой главы пророк пишет подсказанные ему шайтаном стихи. Весь остальной роман не нес в себе ничего оскорбительного для правоверных и был, как считал Иоганн, посвящен психологии эмигрантов. Впрочем, имелась еще одна главка, где Хомейни мог найти свой портрет и это-то наверное и привело его в ярость.

Текст Фетвы гласил: «Я хочу сообщить неустранимым мусульманам, что автор книги, называемой «Сатанинские стихи», написанной, отпечатанной и выпущенной в свет в качестве вызова исламу, пророку и Корану, равно как и те издатели, которые были осведомлены о ее содержании, приговорены в смерти. Я призываю всех ревностных мусульман казнить их быстро, где бы они их не обнаружили...»

Иоганн читал этот текст, улыбаясь, отмечая интонацией особенности стиля, его выпренность и энергию. Но Дане было не смешно. Они расстались под утро.

...Шуберт исчез, не звонил и не отвечал на призывы Дани откликнуться, передаваемые на автоответчик. Пришлось отправиться к нему домой. На двери в подъезд, на доске звонков его фамилии почему-то не оказалось, а ведь она была здесь, вторая слева. Даня хорошо помнил. Теперь табличная рамка зияла пустотой. Томимый тревогой, он нажал на соседний звонок. В ответ на женский голос, раздавшийся из домофона, объяснил, что он друг Иоганна Шуберта и хотел бы узнать что-нибудь о нем.

«Коммен зи херайн» – «Войдите», – прозвучало в ответ. На втором этаже у открытой двери стояла молодая женщина.

«Эр ист гешторбен» – «Он умер», – сказала она.

– От чего?

– Пойдемте.

Они вышли в парк, прошли по аллее к детской площадке, огражденной невысоким забором.

– Вот здесь его нашли утром. Он любил гулять ранними утрами. Он лежал на песке, лицом вниз. Его ударили ножом в спину. Насколько я знаю, убийцу не нашли.

Она прощально кивнула и пошла обратно. А Даня поплелся в ближайшую пивную, где они сиживали с Иоганном. Как-то в свой день рождения Даня заказал шампанское. Потягивая холодное вино, Иоганн вспомнил вычитанное в каких-то русских мемуарах: последним желанием Чехова, умиравшего в Баденвейлере, было выпить шампанского, пригубив бокал, он сказал свои последние слова по-немецки: «Их штербе» – «Я умираю». Даня в ответ рассказал, что эту историю обыгрывали молодые русские писатели в двадцатые годы. Он тоже вычитал в каких-то мемуарах, как Катаев или Маяковский заказывали шампанское марки «Их штербе».

Теперь Даня сидел и пил шампанское марки «Их штербе» за упокой души Иоганна Шуберта.

*Михаил Румер-Зараев – бывший москвич. Ныне живет в Берлине. Член Союза писателей Москвы. Работал в различных газетах и журналах – «Московской правде», «Сельской жизни», «Огоньке», «Веке». Его перу принадлежат несколько художественных и документальных книг. Публикует прозу и публицистику в ряде российских литературных журналов.*

*Он – член редсовета журнала «Времена».*

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

---

## ВЫСОКАЯ НОТА

---

### Заповедь

*Марине Цветаевой*

Я заповедь твою  
не снисхожу  
усвоила с сошедшим озареньем  
и по ступеням пройденным сужу  
свою причастность к вещим откровеньям  
как ты была провиденьем мудра  
так я сейчас предвиденьем мудрею  
у – в честь твою – зажжённого костра  
что каждый год становится острее  
в оковах зла он воздухом объят  
свободы и уверья в человека  
и угли жаром памяти горят  
надежд нетленных от начала века  
тот век исчез  
и канули во тьму  
твоей души и наших душ порывы  
но голосу внимая твоему  
спадают с плеч набухшие нарывы  
и мне дано нескованной рукой  
вести отсчёт от вечности замеса  
и радоваться истине простой  
что я поэт  
не поэтесса

\*\*\*

Уже ни на кого не злюсь  
и ничему не удивляюсь  
колючей правды не боюсь  
от лжи спокойно уклоняюсь  
которая  
разъяв умы  
кумиров молодости нашей  
плюёт  
служба у Сатаны  
в тарелки с подслащённой кашей  
и руки тянутся за ней  
добавки требуя прилежно  
а ложь  
въедаясь до корней  
исправно гасит дух мятежный  
осталось  
залепивши рты  
ей шутовской колпак натянуть  
чтоб на пороге нищеты  
добить расстрелянную память

### **Смутное утро**

Закапало с утра  
рассказ в тетрадь не шёл  
под тонкой кожей век  
толклись дурные мысли  
*ни завтра ни вчера*  
*и жизнь нехорошо*  
и я от них побег  
в который раз замыслил  
но только вот куда?  
там лучше где нас нет  
как истина проста  
и нет ей замещения  
и время *никогда*

печатью на билет  
штампует тень перста  
без тени ощущенья  
кто в этот мир меня  
когда-то заволок  
и в руки дал перо  
и быть собой заставил  
мне не дано пенять  
я вынес оселок  
и вывернул нутро  
и вам стихи оставил

### **Узда печали**

Припасла мне печаль узду  
сердце ноет в больном бреду  
что я плохо себя веду  
навлеку на себя беду

я ночами давно одна  
и початый бокал вина  
мне уже не допить до дна  
только в том не твоя вина

развяжи мне глаза печаль  
от плеча сторяча отчаль  
и сойдя с моего пути  
на развилке меня не жди  
где налево пойдёшь – солжёшь  
где направо пойдёшь – умрёшь  
а дороги прямой и нет  
позарос её торный след

коль накличу себе беду  
я с повинной к тебе приду  
ну а минет меня беда  
так и сгинет твоя узда

**Со вторника на среду**

Сегодня вторник  
день тяжёлый  
по крайней мере для меня –  
холодный  
ветреный  
и квёлый  
– я проживаю не кляня  
его тупую неизбежность  
за понедельник прийти  
и дверь открыть в среды безбрежность  
на обозначенном пути

достоин вздох его последний  
воспоминанья  
пел оркестр  
он пел Респиги  
вечер медлил  
являя подлинный протест  
среды ночному наступлению  
и музыка его плыла  
по неуклонному течению  
в своем отчаянье светла  
и замерла высокой нотой  
упёршись в полночь

и среда  
списав предместника со счёта  
в права вступила без труда  
рассветом размежила веки  
затишья торкнула теплом  
и под весёлый птичий стрекот  
мне ключ вручила в новый дом



## Концерт

Шуберт  
Сметана  
а на бис – и Брамс  
вихри ветра в ночи поют  
и замедленный контраданс  
заполняет пустой уют  
трость отброшена  
в пол – каблук  
мех волною спадает с плеч  
и упруго объятья рук  
увлекают в чардашный смерч

в жилах с жадностью бьётся кровь  
хмелем вышит любви покров  
память тешит в душе апрель  
хмелем стелет любовь постель  
я люблю тебя во хмелю  
и с похмелья тебя люблю

но похмелье придет потом  
после Сметаны  
Брамса ком  
жгучей музыки брошен в грудь  
отзовется  
когда-нибудь...

\*\*\*

Умолкла музыка  
струна ещё дрожала  
смычок над нею трепетно завис  
последний звук  
как огненное жало  
застрял в груди  
а дух стремился ввысь  
и упирался в потолок стеклянный

накрытый белой зимней пеленой  
где лунный свет  
притвора окаянный  
играл в игру неравную со мной  
и в тишине  
повисшей на мгновенье  
слагались слоги зыбкие в слова  
и ритм стиха оттачивал сплетенье  
сердец и мыслей силой естества

\*\*\*

Лиловым платьем полоскалась  
внизу река  
и солнце тщетно пробивалось  
сквозь облака  
гроза угрюмо надвигалась  
на город мой  
и сердце глухо содрогалось  
пора домой  
кричали чайки  
бури призрак  
знобил волной  
и гром раскатывался низко  
над головой  
а дома ждал меня в объятья  
души покой  
и ненадëванное платье  
подарок твой

\*\*\*

На стене отраженье ночного окна  
в нём качаются ветки и светит луна  
и кораблик плывёт  
распустив паруса  
в отворённую сказку на четверть часа

тонконогая фея сидит на цветке  
Питер Пэн увлекает в крутое пике  
стрекозой пролетает над ним вертолёт  
колыбельную ветер тихонько поёт

просыпаюсь  
напротив немая стена  
Питер Пэн улетел и луна не видна  
неподвижный кораблик стоит на окне  
и пустой горизонт в зареносном огне

\*\*\*

*Я научилась просто, мудро жить...*

Анна Ахматова

Я научилась воздух пить  
от терпкой свежести пьянея  
и независимою быть  
с годами – явственно умнее

я научилась отличать  
добро от зла и ложь от правды  
и не колеблясь защищать  
на счастье истинное право

я научилась ткать мечты  
из облаков нездешней грусти  
и видеть проблеск красоты  
в любом уродливом искусстве

я научилась босиком  
ходить по раскалённым углям  
и старость шёлковым силком  
связать  
лицом поставив в угол

я научилась строки шить  
без узелков и заусенцев  
и просто умудрилась – жить  
без вожakov и порученцев

**Марина Тюрина-Оберландер** – поэт, прозаик и переводчик. Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвоведца, академика И.В. Тюрина. По образованию филолог-скандинавист. С 2000 года живет в Вашингтоне.

Переводы печатались в «Литературной газете», журналах «Иностранная литература» и других, альманахе «Поэзия», антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия». Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.).

В 2014 г. на стихи Тюриной-Оберландер вышел альбом романсов и песен «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.

Она – член редсовета журнала «Времена».

Андрей ОБОЛЕНСКИЙ

---

## КОМНАТА СМЕХА

---

### *Психоделическая фантасмагория*

Телефон зазвенел незнакомо, на высоких нотах, надрывно и очень противно. Зорин проснулся сразу, бросил взгляд на часы и увидел, что времени только половина восьмого. И какой идиот звонит в такую рань, со злостью подумал он, накрыв голову подушкой. Но это помогло мало, отвратительный звонок отчетливо слышался, быстро разрушая хрупкий, накатывающий волнами и парализующий сон. Зорин спустил ноги с кровати, посидел минуту, надеясь, что телефон замолкнет. Но тот не замолкал, наоборот, звонок становился громче и наглее. Зорин, желая только одного – спать, протянул руку, поднял трубку и хрипло произнес:

– Слушаю.

Однако усилие, которое он сотворил над собой, пропало даром – в трубке раздавались безнадежные короткие гудки. Зорин чертыхнулся, попытался найти в себе нерасколотые куски сна, нашел – и рухнул на кровать, не укрываясь одеялом. Закрыв глаза, пытаясь ни о чем не думать, уцепился за один из найденных кусков, тот оказался прочным и потянул за собой в нирвану.

Проклятый телефон опять зазвонил, еще более мерзко и нахально.

Зорин снова сел на кровати и схватил трубку, намереваясь послать звонящего, кем бы тот ни был, к чертям собачьим. Но и это не вышло, потому что ответом на «алло, слушаю вас» стали ровно те же слова, сказанные его же голосом. А главное, с его собственными, привычными интонациями.

Тут Зорин окончательно проснулся и понял, что посылать куда-либо себя самого, в общем, бессмысленно. Поэтому, чтобы проверить, что будет дальше, сказал в трубку первую пришедшую на ум

фразу, какую-то поговорку, и она тут же вернулась к нему. Зорин, заинтересовавшись, повторил – с тем же результатом. При этом голос, отвечавший ему, не казался эхом, которое можно было списать на неисправность или хулиганство телефонистки, нет, это был точь-в-точь голос самого Зорина, будто он действительно говорил с самим собой. Только звучал голос иначе – не хрипло и сонно, а весомо, густым докторским баском, немного растягивающим слова и делающим между ними уверенные паузы. Так он всегда говорил с пациентами, которые хорошо платили и звонили только на мобильный.

Зорин проснулся уже окончательно, повертел трубку в руке, с интересом глядя на нее. Снова поднес к уху. Произнес спонтанно родившуюся, но на удивление выверенную, четкую и красивую матерную тираду. Тут же получил ее обратно вкупе с ехидным хихиканьем в конце. Сказал нечто куда более изощренное – с тем же результатом, только вместо хихиканья красивый женский голос игриво произнес:

– Ах вы, бесстыдник...

«Что за дела? Совсем с ума спятили! – Зорин разозлился и нажал кнопку отбоя. – Что за балаган в мой собственный, честно заработанный выходной день!.. Да еще и в такую рань... Спать и только спать!»

Он улегся на кровать, натянул одеяло, но сон окончательно пропал, цепляться было уже не за что. Зорин чертыхнулся и вскочил с постели. Голова неожиданно сильно закружилась, комната поплыла перед глазами, в них запрыгали разноцветные звездочки. Зорин рухнул обратно на кровать. Инсульта только не хватало... Сегодня, пожалуй, без пива: зарядка, прогулка, дневной сон. Разве что совсем немного, вечером – Андреич в гости приглашал. Кстати, и эта... как ее... Марина придет. А что, симпатичная, глазки, кажется, строила...

Дальше обдумывать распорядок наступившего дня показалось лениво, поэтому Зорин медленно и аккуратно встал с постели. На этот раз все обошлось благополучно. Он вспомнил, что уже четверг, и валять дурака осталось недолго – в понедельник на работу.

Зоринское пятидесятилетие оказалось затяжным. Начали в субботу в ресторане «Ермак», где чинно и благородно прошла официальная часть. Потом приятели и дальняя родня, приглашенные

только из вежливости, разъехались по домам, остались приближенные к юбиляру, и началась черная пьянка. Зорин хотел справить юбилей с размахом, поэтому долго откладывал деньги и подрабатывал ночами на «скорой» – за любой размах надо платить. Продолжили уже ночью, узким кругом, в скромной зоринской квартире в Дегунино, после чего празднество переросло в трехдневный марафон. Пили много, по большей части водку, хотя кто-то предпочитал самогон производства зоринской тетушки, проживавшей в деревне Поньры. Массовые гуляния более или менее закончились к среде, но поодиночке гости продолжали заходить, чужая бесплатную выпивку. Зорин водку больше не пил, только пиво, но и от этого засыпать стало трудно, болел затылок и мучили изощренные ночные кошмары.

Он принял душ и впервые за несколько дней почувствовал себя с утра вполне сносно. Включил чайник и в ожидании, пока согреется вода, присел в кресло. Вспомнил о странном звонке и понял вдруг, что на самом деле разговаривал с собой. Он даже поднес к уху трубку, подумав, какие странные поломки на линии случаются, но услышал обычный длинный гудок.

Хотелось кофе, оно стало бы завершающим аккордом окончательного возвращения к полноценной жизни, но чайник закипал на удивление медленно. Зорин зевнул и подошел к окну. Летнее солнце уже шпарило вовсю, народ вываливался из подъездов на работу, кто-то загружал в машины детишек, старичье выбралось на скамейки греться на солнышке и дышать свежим воздухом. Все шло так, как и бывает самым обычным ранним утром.

\*\*\*

Доктор Леонид Борисович Зорин работал терапевтом в районной поликлинике. Среди бабушек и дедушек, составляющих большую часть его пациентов, слыл понимающим в медицине и не злобным. Даже добрым и отзывчивым. Имел определенное количество особенно дорогих сердцу клиентов, всегда считающих своим долгом отблагодарить за хорошее отношение, готовность выслушать и назначить именно те лекарства, которые помогают. С них-то доктор и имел вторую, а то и третью зарплату в месяц, так что не бедствовал. Пока хватало сил, брал несколько дежурств на «скорой», пото-

му и решил справить юбилей достойно, удовлетворив собственное тщеславие.

Проживал доктор в типично спальном и ничем не примечательном районе Дегунино. Неподалеку располагалась платформа «Моссельмаш», славная тем, что вечерние прогулки в близлежащих улочках и скверах с девушкой, а равно и без нее, могли встать, как поется в песне, слишком дорого. Ибо бомжи, наркоманы и просто малолетняя шпана из находящегося неподалеку города Долгопрудный и иных мест, близких к северо-восточной части столицы, кучковались именно там, обитая в брошенных бытовках, забытых то-варняках и непонятного назначения будках, имеющих в достатке.

Жил Зорин в одиночестве, щедро разбавляя его приходящими дамами разных возрастов. С женой он развелся давно. В самом начале бракоразводного процесса распадающейся семье Зориных подфартило – удалось довольно легко и быстро разменять двухкомнатную у Таганской площади на две приличных однокомнатных: одну на Дмитровке, вторую – в свежей новостройке в Дегунино. Зорин, естественно, поехал в необжитой район, бывшая жена Лика – на Дмитровку; дочь же Ольга, рано вышедшая замуж, жила отдельно. Новые дома в Дегунино были построены на огромном пустыре, образовавшемся после сноса пятиэтажек и загаженном свалками. В дохрущевские времена пустырь занимали два древних села, в войну дотла сторевших. Когда Зорин въезжал в безобразно отделанную квартиру, наблюдая из окна девятого этажа океаны грязи с островами битого кирпича и покореженного бетона, ему порой становилось муторно. Но он полагал, что через несколько лет все обустроится в той степени, в которой возможно, и станет в новом спальном районе чисто, а может, даже и уютно. И, в общем, не ошибся.

\*\*\*

Засвистел чайник. Зорин выпил кофе, думая им и ограничиться, но вдруг скрутил мучительный голод: захотелось большую яичницу-глазунью. И тут обнаружилось, что в доме нет ни куска хлеба, а завтракать без хлеба Зорин не привык. Он натянул старенький спортивный костюм, засомневавшись на секунду, прилично ли идти в магазин в трениках и сланцах, решил, что ничего страшного, и вы-



шел в прихожую. Но в этот момент зазвонил телефон – так же неприятно и надрывно, как и до этого.

Зорин сделал стойку – любопытен был, да и недавние странные взаимоотношения с аппаратом его заинтересовали. Вернувшись в комнату, он медленно взял трубку... и ничего, кажется, не услышал. Нет, все же услышал: трубка оказалась наполненной необычайной, стереофонической, объемной тишиной, какой в реальности, наверное, не бывает. Тишина выползала наружу, лезла из трубки, попадая в уши, через них — в пространство внутри черепа, но по большей части рассеивалась по комнате, меняя знакомую обстановку, делая ее чужой и мертвой.

Опять закружилась голова, только сильнее, противно задрожали руки, а в горле образовался плотный неприятный ком. Но Зорин с этим странным состоянием справился, глубоко вдохнув, нагнувшись вперед и резко выдохнув. Помогло, но невесть откуда внезапно накатила обращенная неизвестно на что злость, да такая, что Зорин потер трубкой висок и, размахнувшись, швырнул ее в стену. Пластмассовая трубка жалобно звякнула и разбилась, с хрустальным звоном распавшись на мельчайшие пластиковые крупинки, которые почему-то заблестели точь-в-точь как осколки стекла в свете яркого солнца.

Такой порыв был чужд его мирной натуре. Вероятно, от удивления самим собой он обильно вспотел, по телу пробежал озноб, после чего вдруг стало много легче. С голодухи, не иначе, – Зорин знал за собой такую слабость. Надо идти и купить хлеба. Еще один такой звонок – и, пожалуй, напьемся. В холодильнике полно пива.

Он посмотрел на осколки несчастной трубки, сунул в карман спортивного костюма пятьдесят рублей и резво спустился с десятого этажа вниз по лестнице. Открыл ногой дверь подъезда, задохнувшись от свежего утреннего воздуха, оглядел двор и замер в изумлении: на месте детской площадки появилась откуда-то средних размеров рубленая избушка, раскрашенная прямо по бревнам в игривые пастельные цвета. Имела избушка причудливые наличники, крылечко с навесом, слуховое окно, фигурную печную трубу, выглядела милой стилизацией под русские народные сказки. Над входом в лубочный домик переливалась выполненная в стиле начала семидесятых голубая неоновая вывеска: «Комната смеха». Зо-

рин оглядел избушку сначала издалека, потом поднялся на крыльцо, увидев на двери строгую табличку: «Министерство культуры СССР. Московское управление культуры. Атракцион «Комната смеха». Зорин зажмурился и потряс головой, снова открыл глаза, но ни табличка, ни крыльцо, ни сама таинственная изба не исчезли. Все вокруг протекало самым обычным образом: люди выходили из подъездов, смотрели на часы, спешили по своим делам; молодые мамы катили коляски или вели за руку детишек. Все качели во дворе были заняты, песочницы напоминали большие муравейники. Обыденную картину портил только дурацкий бревенчатый дом. Зорин отметил про себя, что он похож на большой тульский обливной пряник, кем-то по пьяни или в шутку воткнутый в кусок холодца.

Зорин по натуре и склонностям своим относился к примитивным рационалистам и в чудеса не верил. Ни в каком виде. Поэтому сразу сказал себе, что это галлюцинация или иллюзия, а может быть, атракцион возвели, пока он справлял свой день рождения, до определенной степени выпав из земного существования. Чего только не бывает на свете, в этом проживший довольно бурную жизнь доктор убеждался не раз. Но неутомная даже в пятьдесят натура доктора несла в себе изрядное количество любопытства. Поэтому, решив отложить поход в магазин и заодно завтрак, Зорин уверенно потянул на себя невысокую дверь, которая открылась хоть и с противным скрипом, но довольно легко, и оказался в темноватой комнате с маленькими, как во всех русских избах, окнами. Окна были открыты и украшены занавесками, выполненными в технике макраме явно большим любителем этого модного некогда увлечения. На подоконниках стояли цветущие герани и пеларгонии, листья которых колебались от легкого сквозняка, распространяя специфический запах. Прямо напротив Зорин увидел полукруглое окошечко кассы, вызывающее в памяти железнодорожную станцию Поныри, куда раз или два в месяц ездил к тетке за самогоном. Окошечко было приоткрыто. Справа и слева имелись две закрытые двери. Первая была оборудована основательными, новенькими и блестящими табличками «Вход» и «Выхода нет», находящимися одна под другой, вторая – точно такими же, но расположенными в обратном порядке. У первой двери стояло старинное резное кресло, столик, будто из кафе шестидесятых, сублильный и неустойчивый, а также массив-

ная зеленая урна для мусора в виде конуса, закрепленного вершиной на тяжелом металлическом квадрате. Таких Зорин и не видывал на улицах, помнил только по картинкам в детских книжках и плакатах. Одним-единственным украшением комнаты служил пыльный стенд с пожелтевшими листками бумаги и заголовком «За культурный отдых». Крупные буквы заголовка были вырезаны из цветной потускневшей бумаги и приколоты к ткани, обтягивающей стенд, заржавленными булавками с кольцами на кончиках.

Зорина поразила здешняя тишина – глухая, ненатуральная, похожая на грубую вату, в которой раньше годами хранили елочные игрушки. Давеча из телефонной трубки в уши лезла другая тишина – звенящая, легкая, более разреженная, но тоже ощутимая всем телом, как струйки воды в душе. Откуда-то пробивался запах жарящейся курицы, плывущий отдельно от запаха пеларгоний, приносимого сквозняком. Вспомнилось детство: мама всегда обильно сдабривала курицу тархуном, или, как его называли когда-то, эстрагоном – именно его запах ощущался сейчас. Еще вспомнилась тишина чулана, накрепко забитого старьем, туда маленького Зорина иногда запирали за мелкие мальчишеские прегрешения. Тишина давила на голову, будто вбивая Зорина в пол.

Где-то в глубине избушки громко пробили часы. Зорин вздрогнул и двинулся к окошечку кассы. Постучал. За некрашеной фанерной стенкой, на которой там и сям виднелись неровные, полустертые надписи карандашом и выцветшими чернилами, моментально послышалось шевеление. В окошко выглянуло заспанное, округлое и веснушчатое лицо молодухи явно деревенского вида. К полной верхней губе прилипла шелуха от семечки, длинные ресницы несли на себе обильный слой краски, скатавшейся в комки, а наложенные под глазами тени имели толщину словно на картине, написанной маслом, и кое-где потрескались, напоминая асфальт и цветом, и фактурой. Однако девушка не выглядела смешной: глаза ее были большими и чуть влажными, черты лица – правильными. Она показалась Зорину этакой русской Барби: пока это лицо видишь, оно кажется симпатичным, а стоит отвернуться – и не вспомнишь его.

– Чего хотели? – грубовато спросила девушка неожиданно низким, бархатным контральто. – Пока закрыто. Контролер ушла обещать.

– А что тут у вас вообще? – Зорин задал вопрос несколько расплывчато, чтобы не показаться дураком.

– Как – что? – удивилась девушка. – Вы читать не умеете? На входе ясно написано: ат... аттракцион. Развлечение такое. Для праздных людей.

– Откуда вы взялись? – неожиданно для себя грубо и прямо уточнил всегда осторожный в словах доктор. – Вашей аляповатой избы тут никогда не было!

Теперь настал черед удивиться билетерше.

– Что вы такое говорите, гражданин! Как это – не было? Я давно тут работаю! – возмущенно проговорила она. Кусочек шелухи отлип от ее губы, упав куда-то вниз, за ним отвалилась крошка макияжа из-под правого глаза. – Раньше в Бусиново жила у матери, большое село было, после – в хрущевке, а как микрорайон построили — нормальную квартиру дали... А вы... женаты? – взгляд приобрел кокетливость соответственно заданному безо всякого стеснения вопросу. – Я вон гляжу, кольца-то и нет... А мужчина такой видный... Приличный мужчина...

– Женат, — соврал Зорин, вовсе не имевший намерения завести шашни, да еще при таких необычайных обстоятельствах. – Я могу купить билет сейчас?

– Двадцать копеек, – взгляд билетерши моментально поскучнел, а красивое контральто стало обычным, немного жестяным голосом. — Только все равно ждать придется, контролер с обеда минут через двадцать будет.

Зорин посмотрел на пустой стул и урну, вздохнул, покопался в кармане. Нашел пятьдесят рублей и протянул купюру девице. Та со странным интересом рассмотрела ее и бросила обратно Зорину.

– Сдачи нет, – коротко проговорила она. – Вы что, ненормальный – с такими деньжищами по улице ходить?! Я понимаю — трешка или пятерка... Мелочь ищите.

Зорин пошарил рукой в глубоком кармане спортивных брюк и неожиданно обнаружил там две крошечные монетки по десять копеек и почему-то американский десятицентовик.

– Вот, нашел, – он положил все три монетки на блюдце с надписью «Мособщепит».

– Другое дело, – девица взяла десять центов и десять копеек,

оставив одну русскую монетку на тарелке и протянув Зорину синий прямоугольный билет из плохой бумаги с двумя штемпелями. – Обождите на улице, а через двадцать минут – милости просим. Ольга Валерьевна как раз и придет.

– А что, без нее нельзя? – несколько раздраженно поинтересовался Зорин. – Пропустили бы сами...

– Не положено, – отрезала билетерша. – И я, кстати, тоже обедаю, курицу вон пожарила. Прикажете нам, людям маленьким, без обеда оставаться? Голодать? Наголодались уже! А если в перерыве всякие тут шататься будут, одно безобразие получится и непорядок, могут и украсть чего... – она с некоторым подозрением посмотрела на доктора.

Зорин хотел ответить, но передумал, вышел во двор и только там вспомнил, что Ольгой Валерьевной звали его первую учительницу, молоденькую, сразу после педучилища. Что ж, всякие совпадения бывают...

Теперь требовалось как-то скоротать двадцать минут. Зорин обошел вокруг избушки; ее явно построили не вчера: нижние бревна уходили во влажную почву и немного подгнили. Фундамент, если и был, совсем врос в землю, утоптанную, напичканную битым кирпичом и стеклами, на которой ничего не росло. Странный мусор валялся вокруг: Зорин разглядел большую подкову, заржавленный клубок колючей проволоки, бумажную иконку, обрывки старых ученических тетрадей, вырванный из журнала портрет Мэрилин Монро с пририсованными густейшими усами и бровями. Рядом с Мэрилин лежала блестящая керосиновая лампа, совсем новая, стеклянная часть ее была обернута промасленной бумагой.

Зорин обошел домик и вернулся ко входу. Навстречу шла молодая женщина с волосами, старомодно уложенными на голове в шар, закрепленный шпильками. Одета она была в плиссированную юбку-колокольчик, такие вышли из моды в незапамятные времена, и простую белую футболку безо всяких украшений. Лицо женщины, совсем лишенное косметики, выглядело усталым и, как показалось Зорину, немного больным. В руке женщина несла плетеную сумку, из тех, что лет сорок назад назывались «сетками». В «сетке» болтались два треугольных сине-красных пакета с молоком и бутылка ря-

женки с золотистой крышкой из плотной фольги, на которую, чтобы открыть, следовало надавить пальцем.

Зорин внимательно взгляделся в лицо женщины, оно показалось ему знакомым. В следующий миг он понял, что это была и впрямь Ольга Валерьевна, его первая училка, и Зорин на секунду даже превратился из солидного доктора в коротко стриженного мальчишку. Мальчишка обрадовался, доктор – нет.

– Ольга Валерьевна! – окликнул ее он, сам того не очень желая. Она посмотрела на него и улыбнулась.

Зорин подошел ближе.

– Здравствуйте, – робко сказал он. – Вы меня помните? Надо же, встретились... Сколько лет прошло, а вы совсем не постарели.

– А что, должна была? – женщина снова улыбнулась. – Зато ты здорово изменился, Зорин. Все же пришел наконец в «Комнату смеха». Я рада... Нашу школу на Пролетарке снесли, знаешь? Там теперь многоэтажная стоянка. Но пойдем, я только оставлю продукты, купила вот к ужину в молочной. На углу Плющихи и Ростовского хорошая молочная, там и «полтавская» колбаса бывает, я всегда туда езжу. Как раз в перерыв укладываюсь, опаздывать не годится, а ну как начальство с проверкой нагрянет... Ты билет-то купи.

– Я купил, Ольга Валерьевна. Но... как-то все это странно.

– Почему? – удивилась учительница. – Ничего странного не вижу. Разве у нас запретили аттракционы? Пойдем.

Раздумывая о происходящих несуразностях, Зорин поплелся за учительницей. Свой вопрос он задал ей скорее для проформы, ибо его уже, в общем, ничего не удивляло. Было только ощущение, что он внезапно вышел из темной комнаты... быть может, из того чулана, где в детстве сидел наказанным, очутившись... да какая разница, где именно! Не в Африке же и не в другом времени. Около своего дома и очутился, даже подъезд отсюда видно и балкон застекленный. Подумаешь, аттракцион... и что такого-то?..

Они вошли в избу; Зорин пропустил учительницу вперед.

– Перерыв скоро закончится, и зайдешь, в перерыв-то нельзя, не положено, – проговорила она, исчезая за дверью кассы.

Зорин услышал оживленные голоса, но о чем именно говорят, определить не мог.

Неожиданно дверь с табличками «Вход» и «Выхода нет» от-

крылась, и в предбаннике, как Зорин окрестил про себя комнату с кассой, появился военный. Доктор относился к ним слегка иронично, еще со времен институтской военной кафедры и сборов в Тамбовском военном училище. Вспомнил вдруг пожилого, обрюзгшего и пропитого майора с кафедры, носившего интересную фамилию Турбал. На четвертом курсе они, студенты-повесы, веселились, исподтишка устраивая ему разные мелкие пакости, а тот, не находя виновных, подслеповато щурился и только улыбался беспомощно, протягивал руку вперед, открывая засаленный зеленый манжет, и грозил в пространство толстым пальцем. Но этот военный был статен, красив, с умным и пытливым лицом. Вот только форма его показалась странной – без погон, зато с большими красными петлицами и шитой золотом звездой на рукаве. Удивили Зорина и обширные галифе, и зеркально начищенные сапоги.

Военный улыбнулся, отдал Зорину честь.

– Пока не посетили? – спросил он высоким, сильным голосом, каким отдают команды перед строем. Посмотрел на непонимающее лицо Зорина, улыбнулся, добавил: – Очень интересно, рекомендую, – снова отдал честь, почти строевым шагом, прижав левую руку к бедру, прошел через предбанник и исчез за дверью напротив.

Дверь захлопнулась, но Зорин, повинувшись внезапному импульсу, приоткрыл ее. Лучше бы он этого не делал: из открытой двери внезапно ударил ледяной пронзающий ветер, пахнувший гарью, бензином, сыростью и еще чем-то незнакомым. Зорин увидел перед собой покрытое черной травой поле, оно тянулось далеко, до темной полосы леса почти у горизонта. Земля была разворочена, изуродована, мелкие перелески, разбросанные по полю там и сям, дымились, высокие обгоревшие сосны и ели с обломанными у верхушек ветками четко прорисовывались на фоне серого осеннего неба, казались корявыми пальцами огромных рук, сгребавших небо в кулаки. Справа и слева виднелись остатки тлеющих изб с торчащими печными трубами, поле пересекали цепочки окопов, можно было разглядеть несколько развороченных блиндажей. Между избами дымился черный брошенный танк.

Зорин решил, что видит какое-то суперсовременное кино, но быстро понял, что все перед ним настоящее — поле, выгоревшие перелески, остовы изб. Ему стало страшно, он попытался захлопнуть

дверь, но та застряла, будто ее перекосило. Зорин начал лихорадочно дергать дверь на себя, чтобы закрыть, отгородиться, задыхаясь от холодного вонючего ветра, но вдруг услышал пронзительный, визгливый и надрывный крик. Метрах в ста от крыльца он увидел бегущего прямо к нему маленького человека. Человек путался в полах длинной шинели, спотыкался, падал, снова поднимался и бежал, закрывая руками голову и не глядя вперед, издавая тот самый истошный крик. Сначала он не мог разобрать слов, но постепенно крик становился отчетливее, как собственный голос в телефонной трубке сегодня утром. И Зорин вдруг понял, что снова слышит свой голос, только измененный до неузнаваемости страхом... нет, ужасом, переполнявшим бегущего человека:

– Я не хочу, слышите, гады, не хочу умирать! Ни за кого не хочу, никогда, сво-о-олочи!.. Жи-и-ить! За что мне это, за что, за что, за что?.. — голос окончательно превратился в визг на одной ноте, в котором уже не разобрать было даже обрывки слов.

Зорин совсем перепугался, сильно дернул дверь на себя, но ее заклинило, а человек – это был солдат, Зорин только сейчас понял – подбежал к крыльцу, упал, извиваясь, вполз на него и ввалился в комнату, дыша тяжело, прерывисто, со всхлипом. Скрюченные пальцы царапали доски пола, впивались в них, загоня под ногти длинные занозы, он сучил ногами в тяжелых сапогах, потом перевернулся на бок, поджал ноги к животу и замер, только тело прихватывала и отпускала короткая судорога. Заляпанная глиной каска слетела с головы и с глухим звуком упала рядом.

Зорин наклонился над солдатом. Тот, не моргая, смотрел прямо на него; в белесых, будто подернутых пленкой глазах стояли слезы, потрескавшиеся воспаленные губы дрожали. Молодое, совсем мальчишеское скуластое лицо с юношеским пушком на подбородке, длинные ресницы, желтые из-за мелких комочков глины, изрезанные тонкой красной сеткой белки и покрытый крупными прыщами нос. Лицо было исцарапано, от виска вниз тянулась широкая кровоточащая ссадина. Зорин с ужасом увидел, что ухо изорвано, исковеркано, его почти нет, только чернеет, будто пронзая череп насквозь, круглая дырка слухового прохода, обрамленная кроваво-красным.

– Ты кто, откуда? – потерянно прошептал Зорин. – Зачем ты здесь?



От звука его голоса парнишка изогнулся, на секунду вытянувшись в струну, будто через тело пропустили ток.

– Валентин я... – мелко и сухо прокашлял он в лицо Зорину, – Валька Забелин... дегунинский... я жить хочу, дяденька... страшно умирать... там три роты полегло... холм защищали... плевать на холм... земля – глина одна. Мне жизнь дороже... кто оплатит?.. У нас в саду смородина как виноград... сладкая... мать хлеб печет... он дышит, живой... я тоже пока, мне б домой... Что дальше, дяденька? Бога нет, а что есть?.. Темнота только... я темноты не хочу, боюсь...

Зорин склонился над солдатом, зачем-то стал расстегивать шинель. Но парнишка вдруг *увидел* Зорина, в глазах его мелькнул ужас, он взвизгнул, извернулся ужом, оказался на животе и попластунски быстро пополз к противоположной двери с табличками. За несколько секунд пересек предбанник, оставляя за собой широкий кровавый след, кулаком ткнул дверь, она легко распахнулась. Замер на секунду, через плечо с укоризной посмотрел на Зорина и исчез в глубине «Комнаты смеха», которую Зорину предстояло посетить.

Доктор в панике заметался по предбаннику, поскользнулся на запачканном глиной полу, бросился к приоткрытой двери, выглянул наружу и увидел тихий дегунинский двор с играющими ребятишками, машинами, летним солнцем и июльской зеленью. Он потянул ручку двери, она бесшумно закрылась.

За перегородкой громко переговаривались две женщины. Снова повеяло запахом жареной курицы и гераней. Зорин вдруг ощутил полное спокойствие. От страха, испытанного несколько мгновений назад, и следа не осталось. Удивления и вовсе не было. Зорин вытер о половик испачканные кроссовки.

Дверь, ведущая в кассу, отворилась, и в предбанник вышла кассирша со щеткой и ведром в руках. Поглядела на Зорина и стала сосредоточенно тереть пол, отмывая его от глины и следов крови. Подняла каску, положила на стул у окна.

– Что это было? – безо всякого интереса спросил Зорин, чтобы спросить хоть что-нибудь.

– Как что? – в голосе кассирши прозвучало удивление. – Война. Разве сами не видели? Гражданин, чудной вы какой-то. То деньги огромные выкладываете, будто сберкассу ограбили, то вопросы глупые задаете. Выпили, что ль?

– А каску куда денете? – ехидно спросил Зорин. – Казенное, между прочим, имущество.

– Куда надо! – отрезала кассирша, сосредоточенно работая щеткой. – Владелец закончит осмотр, вернется, спросит, и отдам ему. Нам чужого не надо.

Она закончила убирать, подняла с пола каску, аккуратно обтерла ее мокрой тряпкой и исчезла за перегородкой.

Зорин, решив окончательно удостовериться, что все закончилось, выглянул на улицу. С облегчением вздохнул, увидев все тот же двор.

– Леня, – услышал он строгий голос и оглянулся, – что ты там высматриваешь? Давай билет! – Ольга Валерьевна, переодевшись в строгую темную юбку и белую блузку, появилась в предбаннике. – Начало аттракциона там, – она указала рукой на дверь. – Тебе может не хватить времени.

– Только половина первого, – Зорин посмотрел на часы. – Неужели для того, чтобы налюбоваться собой в кривых зеркалах, нужно много времени?

– Кому как, – вздохнула бывшая учительница. – Мне понадобилась для этого вся жизнь. Ведь в ней искажено все, и внутри нас куда больше, чем снаружи. И обманы – всего лишь так или иначе истолкованная правда, они сами по себе не имеют никакого значения, а мы на них строим все, что напридумывали.

– Но при чем тут «Комната смеха» и почему вы здесь?

– Не знаю, – учительница пожала плечами. – Кому ж известно, где его настоящее место... Мое, наверное, тут. Школу сломали, а возраст у меня давно пенсионный. Все дело в осколках, Леня, ведь нет ни одной вещи, которая когда-нибудь не разобьется. Даже если не бьется в принципе. Вот и время, которое мы проживаем, тоже разбивается, а после частью пропадает, частью – застревает в нас, а мы об этом и не подозреваем. Поэтому не вольны в поступках – какие поступки без знаний, и кажемся совсем не такими, какие есть. В первую очередь себе самим. А в «Комнате смеха» некоторые узнают, что из прожитого застряло в них, что пропало навсегда, а что исказилось так, что не узнать.

– И что же из этого получается?

– Чаще ничего хорошего. Но ты иди, а меня вон ждет вязанье, –

она кивнула на стул, где лежали вязальные спицы и большой клубок шерсти. – Надо связать себе кофту, лето не вечно. Иди.

Зорин с некоторой опаской открыл дверь с табличками «Вход» и «Выхода нет». Обернулся. Ольга Валерьевна вязала, низко склонив голову. Зорин вошел, прикрыл за собой дверь и огляделся. Увидел маленькую комнату со стенами, затянутыми черной тканью. Одну стену заменяла тяжелая портьера с приколотым английской булавкой листком в клеточку. На нем ученическим округлым почерком было написано: «Все, что есть – не так; все, чего нет — не то». Зорин на секунду задумался, что именно может означать странное изречение, но идей в голову не пришло, и он, отодвинув рукой портьеру, шагнул за нее.

Он оказался в начале длинного узкого коридора со стенами, тоже затянутыми черной плотной тканью. Где-то вдали коридор заканчивался, об этом Зорин легко догадался по бесформенному пятну яркого молочно-белого света, изливаемого мощными лампами под потолком. До светового же пятна коридор освещался скудно, тонул в полумраке, напоминавшем лес на закате, когда еще светло, но низкое солнце уже не пробивается сквозь ветки деревьев и листья. Впечатление смазывалось от скачущих в воздухе сгустков света, бликов от зеркал, там и сям развешенных по стенам.

Зорин медленно двинулся по коридору, но давления стен и потолка, как это часто бывает в тесном пространстве, не ощущал. Наоборот, он почувствовал необыкновенную легкость, кратковременный подъем, похожий на тот, что случается после первой рюмки на голодный желудок.

Не заметив, как оказался между двумя зеркалами, стоя к одному спиной, к другому лицом, вдруг увидел себя. Но это был не он, не Леонид Борисович Зорин, интеллигентный, разменявший шестой десяток доктор. Или он, но не так, – Зорин вспомнил листок в клеточку. Перед ним в зеркале стоял некрасивый, обрюзгший мужчина с изрядным животиком, одетый в старый, заношенный спортивный костюм с обвисшими коленями. Зорин в зеркале видел себя худым, со впалыми щеками и плохо выбритым лицом, пористой серой кожей. Из носа торчали пучками светлые волосы, а взгляд был тускл и безразличен ко всему на свете. Волосатые костистые руки доставали почти до колен, высокая фигура была согнута, словно у рамапитека.

«Неужели я такой? – тоскливо подумал Зорин. – Но ведь это кривое зеркало... Или...»

Тут его внимание внезапно переключилось, он сделал полшага вправо, глаза скосив чуть влево, и в зеркале позади отчетливо увидел свою спину. Но кроме спины было что-то еще... По безлюдному московскому переулку медленно, волоча за собой здоровенный потрепанный портфель, брел худенький мальчишка лет десяти, стриженный под «полубокс». На нем была серая школьная форма из толстого сукна, запачканная мелом, большие, с побитыми носками, неаккуратно зашнурованные ботинки. В глазах мальчишки закипали слезы. Он остановился, кинул портфель к стене дома, провел пальцами по глазам и щекам, развозя по ним грязь. Потом вдруг, будто сработал зум в фотообъективе, Зорин четко и крупно увидел грязные руки парнишки, обгрызенные, заусенчатые ногти, сбитые в кровь костяшки пальцев. Мальчишка сел рядом с портфелем прямо на асфальт, уперся спиной в стену, уронил большую голову в колени, замер так. На темени у него была свежая кровоточащая ссадина, и Зорин вдруг понял, что парнишка – это он сам сорок лет назад. Сразу же в голове его гулко зазвучал всхлипывающий, захлебывающийся слезами писклявый голос: «За что они так, почему, за что? За то, что я умнее? Или слабее? За пятерки? Но им-то что?! Все на одного... это плохо, нечестно...» Зорин почему-то вспомнил раненого солдата, но тут же выкинул из головы глупую аналогию.

В зеркале же действие продолжалось. Мимо мальчишки прошел мужчина в мятом костюме и шляпе, дернулся было к нему, хотел спросить, что стряслось, но передумал и быстро пошел мимо. Зорин резко повернулся, но изображение замутилось и исчезло, и он увидел только себя, а в зеркале, которое теперь оказалось позади, свою спину.

– Все было по-другому, – четко сказал он себе, – я никогда не плакал, а дралась честно! – хоть самому не очень верилось в это.

Оба зеркала посветлели, стали будто новенькими. Зорин посмотрел сначала в одно, повернулся, глянул в другое, и в этот раз в обоих себе понравился: довольно импозантен, несмотря на непрезентабельную одежду, правильные черты лица, густые, с проседью, волосы, а глаза вовсе не водянистые, а яркие и живые, с длинными ресницами. И достаточно ухожен, за этим он следил поболее иной

женщины. Обрадовавшись, что выглядит в зеркале так, как и требуется в его положении и возрасте, он подавил в себе возникшие было сомнения, стоит ли идти дальше. В конце концов, это было уже просто интересно. Кто знает, что ему еще покажут в этом... кино. Если это кино, конечно.

Взбодренный собственным оптимизмом, доктор медленно двинулся дальше, остановившись у следующего зеркала. Почти всю его поверхность занимала картина «Триумф смерти» Брейгеля, находясь таким образом в широком зеркальном обрамлении. Зорин сразу узнал картину – неплохая ее репродукция висела над столом в кабинете отца, правда, в причудливой раме. Картина никогда не нравилась Зорину, он не понимал, что за чудачество – постоянно видеть эту кошмарную живопись, к тому же мальчишкой он сильно побаивался изображенных на холсте людей, вроде бы и земных, но все же похожих на пришельцев бог знает откуда. Когда Зорин шагнул к картине, она вдруг стала прозрачной настолько, что можно было увидеть лишь контуры изображения, которое к тому же стало медленно уходить на задний план, теперь лишь угадываясь. Реальным и четким стало то, что отображалось в зеркале. Зорин ожидал снова обнаружить в нем себя, каким – не хотелось уже и думать, но увидел мать. Увидел молодой, показалось, что ей нет и тридцати. Было раннее утро, она стояла спиной к Зорину и тоже смотрела в зеркало, так что он мог ясно видеть отражение ее лица. Сзади белела неприбранная кровать, сползшее на пол одеяло – отец, вероятно, только что уехал на работу, он читал на кафедре лекции и много консультировал, в детстве Зорин видел его редко.

Мать провела ладонями по щекам, на секунду крепко зажмурила глаза. Чуть повернула голову, чтобы увидеть себя в профиль. Замерла, потом вдруг достала из ящика трельяжа большую пластмассовую коробку в виде сердца – итальянский косметический набор, отец часто привозил ей такие из зарубежных командировок. Зорин помнил смешное название – «Пупа», обожая рассматривать бесчисленные краски в коробках – трогать их мать не разрешала, иногда позволяя только полюбоваться.

Мать присела на пуф у трюмо и стала краситься, нанося макияж на лицо резкими, нервными движениями. Расплывчатыми кругами-впадинами обозначились глазницы, сами глаза, мягкие и свет-

лые, почти потерялись в их глубине, ниже узкими полосами легли грубые и темные, почти черные тени, верхние веки стали синеватыми, а на щеках заиграл нездоровый румянец. Зорин ужаснулся: он никогда не думал, что за несколько минут умелые пальцы могут настолько преобразить лицо. Мать поднялась с пуфа, повернулась к зеркалу спиной и почти в упор глянула на Зорина. «Зачем она это сделала, зачем?» – со страхом подумал он, никогда не видевший ее такой, похожей на шлюху с Тверской начала девяностых. Лицо ее стало мертвой маской, лишилось всякого выражения, стало подобием густой тени. Она сначала долго и неотрывно смотрела в лицо Зорину, потом вдруг криво и неприятно усмехнулась и быстро вышла из комнаты.

Зеркало замутилось, стало возможно лишь угадать очертания окружающей обстановки, где-то вдали маячили прозрачные уродцы Брейгеля. Но Зорин не уходил, ему вдруг захотелось еще раз увидеть маму: много лет прошло с ее смерти, а он почти не вспоминал о ней, редко приходил на могилу. И она действительно вернулась, умытая, свежая, без уродующей ее косметики, улыбнулась чему-то, распахнула шкаф, провела рукой по висящим платьям, словно пробежалась пальцами по клавишам рояля. Выбрала одно, положила на стул, потянула вверх ночную рубашку. Зорин зажмурился, открыв глаза, когда мать была уже в платье, длинном, блестящем, с открытыми плечами. Бархоткой чуть припудрила щеки, достала из шкатулки серьги, кольца, приколола на бретель платья небольшую брошку с изумрудом, – Зорин хорошо помнил эту брошку. Села к трельяжу, внимательно рассматривая себя. Зорин в мельчайших деталях видел изумительно красивое, когда-то до боли, до убийственного страха потери любимое, а сейчас, спустя бог знает сколько лет, почти забытое лицо.

Мать снова улыбнулась, потом засмеялась, закидывая голову назад. Зорин не слышал смеха, но увидел, что он перешел в плач, кончики губ опустились, обозначая глубокие некрасивые складки, из глаз потекли слезы. Женщина резким движением сорвала с рук кольца, сдернула серьги, – Зорин успел подумать, что ей, наверное, больно. Хотела кинуть украшения в шкатулку, но вместо этого, собрав в горсть, швырнула их в трельяж, туда же полетела и шкатулка. По зеркалу трельяжа поползла трещина; изображение закачалось,

потеряло четкость, стало казаться размытым и тоже пошло кривыми, бегущими в разные стороны трещинами, словно в старом кино, снятом на пленку. Все стало медленно исчезать, на первый план выдвинулись, обретая четкость и яркость, фигуры брейгелевской картины, становясь объемными, живыми. Зорину показалось, что они движутся, меняются местами. И тут он ясно увидел, что человечки покидают плоскость зеркала, один за другим выскакивая на серый пол коридора. Зорин отступил на несколько шагов назад, уперся спиной в противоположную стену. Инопланетные герои один за другим спрыгивали с довольно большой высоты на пол, забыв о своей застывшей смерти, удовлетворенно оглядывались, смеялись, скелеты и черепа их обрастали мясом, а большой, занимающий много места на картине конь заржал и попытался выглянуть из зеркала, но, поняв, что ему это не удастся, удалился куда-то вглубь, вилля тощим задом.

Зорин затравленно озирался. Фигурки все сыпались и сыпались из зеркала, доктор с удивлением узнавал во многих давно позабытые черты собственных родственников — всяческих племянников, теток, дядьев. Присутствовали и далекие предки, удивительно похожие на него чертами лица: маленькие дамы в платьях с рюшами и прическами «аспанзия» или «а-ля грек», невысокие мужчины в красивых камзолах, — Зорину показалось, что надень камзол на него самого, и не отличишь. Вся эта толпа нахлынула, окружила, затеребила, делала призывные жесты, маня в зеркало, которое потемнело и рябило мелкими волнами. Дело дошло до того, что Зорина стали хватать за штанины и просто тащить к зеркалу, щебеча что-то на своем птичьем языке.

– Ну, это уже переходит всякие границы! – возмутился доктор и резко замахнулся на толпу.

Раздался визг, людишки отпрянули как-то все разом... и наступила мертвая тишина. Резко похолодало, послышался свист ветра и всю толпу, вместе со скелетами, не успевшими принять человеческое обличие, в один момент всосало обратно в зеркало. Выше на стене издевательски замерцала фосфоресцирующая противно-зеленая надпись: «Крепкая советская семья – залог успешного развития социалистического общества. Екатерина Фурцева». Надпись помигала с полминуты и пропала, а зеркало вдруг само собой треснуло

по диагонали, треугольные куски упали на пол и раскололись на множество небольших и таких же правильных ровных треугольников. Доктор нагнулся, чтобы взять один из них на память, поднял, но неаккуратно – острый край оставил на „запястье довольно глубокий порез. Зорин чертыхнулся, бросил стекляшку и привычно внимательно осмотрел рану. Ее края расходились довольно широко, но, вот странно, ни капли крови Зорин не увидел. Боли тоже не было. Странно, тут кровящицы из раны должно быть море, а нет ни капли... Наверное, атмосфера в комнате такая, лечебная. Как в соляных пещерах. Он усмехнулся сам над собой, но все-таки завалившимся в кармане не первой свежести носовым платком на всякий случай перетянул рану. После этого он посмотрел на стену, где висело зеркало, и увидел «Триумф смерти» в возникшей откуда-то раме, точно такой, как в кабинете отца, облегченно вздохнув. Не то чтобы он испугался, просто появилось смутное ощущение, что сумел избежать некоего... события. То, что он увидел за короткий промежуток времени, не ложилось на душу, проходило мимо кинофильмом, до сих пор никаких эмоций не вызывая и не слишком волнуя. Поэтому Зорин довольно спокойно двинулся дальше.

Он остановился у маленького квадратного зеркала, висевшего выше предыдущих, отчего пришлось задрать голову, и увидел знакомую с самого раннего детства комнату бабушки Зои. Зорин не помнил бабушку в здравом рассудке, она была стара, из состояния веселого отупения ее выводила только еда – бабушка всегда голодала, так думал маленький Зорин. Мать объяснила однажды, что у бабушки язва, ей нельзя много есть, доктора воспрещают. Зорин почему-то хорошо запомнил слово «воспрещают», оно странно и смешно звучало, оставшись один, он часто повторял его вслух с разными интонациями. А бабушке тайком приносил еду, уворованную на кухне. В семье любили поесть, кухарка-украинка, которую Зорин звал Блинкой из-за круглого, изрытого оспинами лица и кос, уложенных кругами, готовила разнообразно и чрезвычайно обильно, так что многое оставалось несъеденным. Зорин таскал еду с кухни, всегда оставаясь незамеченным, приносил бабушке, приходя в восторг от ее радости и с удовольствием наблюдая, как она ела, улыбаясь и кивая внуку, норовя погладить его по голове, протягивая костлявую, покрытую похожими на грязь пигмента-



циями руку, невнятно мычала, что, вероятно, обозначало благодарность...

Эту сценку и увидел Зорин в небольшом квадратном зеркале. Бабушка полулежала на кровати, плохо расчесанные, длинные и от этого свалывшиеся в комья волосы падали на плечи и дальше вниз на истонченное от частых стирок белье и нечистую ночную рубашку. Бабушка костлявыми пальцами хватала с тарелки натыранные маленьким Зориным куски курицы и засовывала их в рот, пуская струйки мутной слюны из уголков губ. Куски выпадали изо рта прямо на одеяло, наполовину пережеванные, оставляя на нем жирные пятна. Бабушка ловко цепляла их и снова отправляла в набитый рот, мелко трясая головой то ли от несказанного удовольствия, то ли еще почему. Иногда она улыбалась, обнажая голые и ровные розовые десны, как у соседского трехмесячного Павлика, улыбавшегося так же бессмысленно и тоже пускавшего слюни, только пузырями. Сам Зорин-мальчишка сидел на стуле рядом, глядя на чавкающую и задыхающуюся от восторга старуху, и в его глазах туманилась безмерная жалость. Зорину же взрослому сейчас стало противно, более того, он почувствовал отвращение, усилившееся, когда взгляд упал на тощую шею и такие же тощие, отвисшие груди, различимые под влажной рубашкой. К горлу подступила нестерпимая тошнота, и он двинулся к следующему зеркалу, поняв вдруг, что назад не пойдет – не потому что не хочет, а потому что нельзя. Ведь если захочет вернуться, то может и не выйти вовсе, тем более что там, на двери, наверняка табличка «Выхода нет».

Дальше он снова увидел себя, теперь на похоронах отца. Сцена открывалась тоже несколько снизу, поэтому виден был только отцовский профиль над краем гроба. Зорин хорошо помнил похороны: восковое лицо, нос, неожиданно ставший крючковатым, еврейским, гладкие веки, грубо замазанные синяки под глазами, белую рубашку и темный галстук, исчезающий под лежащими на груди руками и обтягивающий толстую апоплексическую шею. Он помнил и свое отчаяние, помнил, как хотел плакать и сдерживал слезы, потому что не мыслил отца мертвым, боялся его смерти, пока тот болел. Но в зеркале все выглядело по-иному. В нем Зорин оказался нескладным молодым человеком в темном пиджаке, одолженного старшим братом, стоял у гроба, положив ладонь на скрещенные отцовские руки. Его

глаза были сухи и равнодушны, в них сквозила скука, желание, чтобы церемония, тягостная, никому не нужная и предсказуемая в своем течении, скорее закончилась, поскольку бессмысленна. Подошел брат, обнял за плечи, сказал что-то. Зорин кивнул и отошел в сторону, поднял упавшую на землю астру, хотел положить отцу на руки, передумал и бросил в пустую пока могилу. Как ни всматривался Зорин взрослый в лицо Зорина юного, не получилось разглядеть в нем хотя бы минутного, хотя бы легчайшего страдания. «Боже, – подумал Зорин пятидесятилетний, – неужели правда – в нас тогдашних; неужели собственная память – действительно продажная девка; неужели это так?!» Но горечь быстро улетучилась. Зорин наконец отметил для себя, что эмоции в «Комнате смеха» мимолетны, будто у ребенка, впечатления — поверхностны и не оставляют в нем и следа, исчезая. Поэтому он пошел дальше, довольно равнодушно размышляя о том, что еще интересного ему предстоит увидеть. А увидел неожиданно для себя высокую белую двустворчатую дверь. Она была маркирована красивой табличкой того же типа, что про вход и выход, только с другой надписью: «Отдел ответов».

«Во как! – удивился Зорин. – Ответы... Но если есть отдел ответов, значит должен быть и отдел вопросов...Хотя... у нас – обязательно...»

Он присмотрелся внимательнее и увидел пришипленный ниже листок бумаги с надписью: «Ответы на любые вопросы. Только правда и ничего кроме правды. Бесплатно (входит в стоимость посещения аттракциона)».

Зорин открыл дверь и оказался в комнате солидных размеров. Посередине комнаты стоял стол, за которым сидела строгая на вид дама. На стене, понятно, висели зеркала, большие, в рост человека. Дама тоже была внушительных размеров, в очках «стрекоза», модных в девяностые. Толстые пальцы ее были унижены перстнями, мочки ушей отвисали под тяжестью больших серег с камнями типа бирюзы или малахита, картину увенчивала крупная брошь на левой стороне необъятной груди. Такие типажи Зорин знал по пациентам: обычно подобные дамы служили директорами магазинов, плодоовощных баз и прочих учреждений, связанных с торговлей. К середине девяностых они перевелись совсем.

– Здравствуйте, – неуверенно произнес Зорин. Дама ничего не

ответила, только величественно кивнула головой. – Вы и правда отвечаете на любые вопросы?

Дама снова кивнула и, рукой указав Зорину на стул, пододвинула ему заламинированный листок бумаги. Зорин взял листок и прочитал:

**«Правила аттракциона «Отдел ответов»  
(филиал аттракциона «Комната смеха»)**

1. На каждый вопрос может быть дан только один ответ, правильность которого посетитель не имеет права оспаривать даже мысленно.

2. Пояснения к ответу даются на усмотрение ответчика.

3. Посетителю запрещено комментировать ответы и переспрашивать.

4. Количество вопросов и ответов ограничено только умственными способностями посетителя и часами работы ответчика (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).

5. Нарушение правил влечет за собой изгнание посетителя из аттракциона в глубины его супер-эго без права возвращения и возможности трезвой оценки реальности».

– Ну что же вы, присаживайтесь, – приятным голосом заговорила дама. – Слушаю вас.

Зорин несколько растерялся. Собственно говоря, вопросов у него никаких и не было, а если и имелись, то мелкие, и задавать их сейчас казалось неуместным. Но как не спрашивать, коль уж пришел, не уходить же вот так просто. Поэтому Зорин спросил первое, что пришло в голову:

– Какая завтра будет погода? – и добавил: – В Дегунино.

– 17 сентября 2010 года. Район Дегунино. Давление – 746 мм ртутного столба, температура днем – шестьдесят шесть по Фаренгейту, вечером облачно, временами дождь, – последовал незамедлительный ответ.

Зорин не знал, сколько это – шестьдесят шесть по Фаренгейту, да и тетка-ответчица, вероятно, врала, хоть и слишком уж уверенно.

– Когда я умру? – этот булгаковский вопрос вырвался вдруг сам собой.

– Шестого декабря 2051 года, – ответ прозвучал столь же быстро.

Ну, это обнадеживает... Зорин про себя усмехнулся. Дальше вопросы посыпались как-то сами собой.

– Что будет в России через... пятьдесят лет?

– Третья империя, выстроенная на единой религии олигархического православия.

– Боже мой, что это?!

– Равная близость власти и капитала к церкви как к единственному проводнику идеологических догм в скудные остатки общественного сознания.

– Но при чем тут бог?

– Ни при чем.

– И как же долго просуществует империя?

– В обозримом будущем.

– Что такое ваш странный аттракцион?

– Место, где индивид может позабавить себя трансцендентным реализмом и ощутить на себе материализованные представления некоторых философов, главным образом Канта.

– Почему я попал сюда?

– Вам не повезло.

– Я женюсь во второй раз?

– Да. В 2026 году на Роберте ван Дирксе из Роттердама. У вас будут дети. Двое. Клоны.

Зорин поперхнулся и с полминуты молчал.

– Моя мать любила отца?

– Нет.

– Она изменяла ему?

– Постоянно.

– Почему же она не вышла замуж после его смерти?

– Она жила со своим родным братом, с вашим дядей, Никитой Петровичем Смычковым. Вы должны хорошо его помнить, несмотря на свое малолетство.

Зорин вспотел, голова его внезапно и сильно закружилась.

– Как же так... дядя Ника ... Зачем? Это ведь смертный грех...

– Нет, не смертный. К тому времени ваш дядюшка уже овдовел и тайно, дав взятку настоятелю одной из действующих тогда подмосковных церквей, обвенчался с вашей матушкой Ириной Петровной. Кровное родство от батюшки скрыли. Место венчания интересует?

– Но зачем же они это сделали?! – Зорин окончательно пришел в ужас.

– Дабы избежать того, что они понимали под грехом. Никита Петрович, несмотря на возраст, имел высокое либидо и завидную потенцию, поэтому давал Ирине Петровне плотские радости, в которых она в силу своего темперамента сильно нуждалась. Духовной близости не существовало, поскольку ваш дядюшка был абсолютный идиот.

– Хорошо... – вспотевший Зорин сделал паузу, пытаясь успокоиться. — Кто мой прадедушка по отцу?

– Моисей Лейбович Бидкин, секретный сотрудник Охранного отделения. Прославился в своем окружении тем, что придумал головокружительную комбинацию, отправив в ссылку ни в чем не повинного камер-юнкера Вольского, чтобы открыто сожительствовать с его супругой по обоюдному согласию.

– А дедушка? Отец воспитывался в детдоме...

– Ленгенмир Моисеевич Бидкин, студент Второго МГУ, арестован в возрасте двадцати шести лет за антисоветскую агитацию, умер в лагере от туберкулеза.

– Почему же я Зорин, а не этот... Бидкин?

– Сопроводительные документы при поступлении вашего отца в детдом были утеряны, и Мария Васильевна Зорина, заместитель директора, записала его на свою фамилию, а имя и отчество дала первые пришедшие в голову.

– Кто я?

– Плесень.

Зорин хотел отбрызнуть наглую ответчицу, но вовремя вспомнил, что это карается чем-то непонятным, но явно страшным.

– А кто моя... будущий жена?

– Голландец. Я уже говорила.

– Он не плесень?

– Нет.

– Почему?

– Потому что голландец. Из-за большой любви к нему вам придется эмигрировать из страны, вас будет мучить ностальгия, но вы никогда не вернетесь на родину по причинам, от вас не зависящим.

– Но почему же я плесень, а он... просто голландец?

- Так сложилось исторически.
- Быть плесенью хорошо или плохо? — обида пропала, и Зорин даже вошел во вкус перебрасывания словами, не придавая, впрочем, ответам ни малейшего значения.
- Ставить вопрос таким образом некорректно. Те, кто достаточно умен, чтобы знать свое место, ни капли не страдают. А остальные об этом не задумываются.
- А что, плесень есть только у нас... или... или в Европе тоже?
- Только у нас. В истории известно немало охотников счистить ее с России, но само намерение сделать это лишено смысла.
- Почему?
- Потому что приведет к размытию аутентичности мировосприятия, а далее — к подмене архетипов. Страна сначала станет лишней в мире, а затем перестанет существовать.
- Но почему?! Плесень — продукт разложения и признак умирания...
- Далеко не всегда. Плесень на сыре бри, например, придает продукту уникальность, никому же не придет в голову счищать ее.
- Хорошо, с этим понятно... А кто вы?
- Пресс-атташе коменданта аттракциона.
- А почему отвечаете на вопросы простых посетителей?
- Общественная нагрузка.
- Откуда вы все знаете?
- Близость к руководству во все времена давала высшие знания.
- Да, — вдруг вспомнил Зорин, — я поранил руку осколком зеркала, вот рана, как врач говорю, что ее необходимо обработать. Но крови нет ни капли. Почему?
- Потому что лишь в «Комнате» все строго закономерно. Пораниться осколком зеркала невозможно, только отражением в нем. Вам попался осколок с неострым отражением.
- Вы сказали, что в «Комнате» все закономерно. В жизни тоже. Значит, «Комната» и есть наша жизнь? Которую мы как-то по-другому проживаем. Так?
- Нет, не так. Жизнь и «Комната смеха» диаметрально различны. Жизнь фрактальна по форме, «Комната смеха» — по содержанию.
- Зорин не понял ответа, но переспрашивать не стал, боясь обещанной кары, тоже, впрочем, непонятной.

– Правильно ли я живу?

– Вопрос не имеет смысла.

– Хорошо. Тогда что же будет в моей жизни дальше? Кроме любви к голландцу и смерти.

– «Комната смеха».

– Но...

Однако дама вместо ответа открыла ящик стола, бросила туда ламинированный листок с правилами и встала со стула.

– Прошу простить, но у меня уже полторы минуты как обеденный перерыв. Мой столик в кафе может оказаться занятым. А вы, если такой неугомонный, можете идти дальше. А можете прямо отсюда выйти из аттракциона на улицу. Вон, у третьего справа зеркала дверь.

– Ага, спасибо, – ответил уже наученный некоторым опытом Зорин. – Мне ваши двери знакомы. Откроешь, и черт знает что произойдет. Уже пробовал.

– Ну, как знаете.

Ответчица повернулась к Зорину мощным задом, обтянутым тугой юбкой выше колен, поправила прическу, обернулась на секунду, сделала Зорину ручкой, подошла к одному из зеркал и растворилась в нем.

Зорин подскочил к зеркалу, чтобы понять, что это за трюк, но в мутной поверхности стекла ничего не отразилось. «Ну вот, – Зорину стало немного обидно, – может, еще что-нибудь узнал бы. Хотя, наверное, довольно. И так достаточно. Голландец... Тьфу!» На всякий случай он обошел помещение и заглянул в каждое из зеркал. Все отражали лишь немного обескураженного доктора.

Зорин вышел из «Отдела ответов» в коридор, глубоко вздохнул и огляделся. Собственно, ничего нового он не увидел, разве что стены были пусты. Продвигаясь вперед, он заметил, что дальше коридор расширяется, образуя довольно просторную круглую залу, тоже увешанную зеркалами. Кроме зеркал вдоль стен стояла разнообразная бывшая в употреблении мебель разных времен: бюро, горки, козетки, венские стулья, комоды, шифоньеры и конторки. Зорин обратил внимание, что один угол был отведен под кухню со столом для готовки и газовой плитой. Рядом на столике мирно соседствовали примус и микроволновая печь. Но главное состояло не в этом. Впер-

вые за всю экскурсию Зорин увидел, что в «Комнате смеха» он вовсе и не один. По залу расхаживало довольно много людей: мужчин, в большинстве своем строго одетых в костюмы или военные формы без знаков различия, только с непонятными шевронами на рукавах; попадались и дамы, наряженные, хорошо причесанные, но в платьях неброских тонов и без украшений. Увидел Зорин и нескольких простецкого вида людей в кепках или картузах, явно из рабочих или деревенских, несколько служащих в белых чесучовых костюмах и с пухлыми портфелями подмышкой. Сначала Зорин не смог понять, что именно объединяло их, потом сообразил: все они, казалось, пришли из недалекого прошлого. Некоторые типажи Зорин помнил из детства, другие видел в книжках. Но главное – несовременными, будто из другой эпохи, казались лица, ведь что одежда – переодеть можно кого угодно и во что угодно, а вот лица и его выражения не переделаешь.

Кроме того, насколько Зорин смог заметить в полусумраке зала, все здешние посетители были серьезны и молчаливы, во взгляде многих барахталась растерянность, только военные выглядели уверенными и знающими, что делают тут. Люди останавливались перед зеркалами, вглядывались в них (Зорин не мог знать, что они видят там), переходили к следующему, а их место занимал кто-нибудь другой. Создавалось впечатление, что циркуляция людей в зале идет по какой-то тщательно продуманной схеме. Все это напоминало хорошо поставленную большую массовку в кино.

Зорин, толкаясь, вышел к середине зала, обвел взглядом зеркала – они были темны и непрозрачны, тем не менее люди смотрели в них со вниманием, никогда, впрочем, отметил Зорин, не возвращаясь к тому, у которого уже побывали. В зале заметно посветлело, движение людей ускорилось, появились новые персоны, некоторые показались вполне современными. Зорин наблюдал, никуда не торопясь, замечая в потоке знакомые – но откуда? – лица. Знакомцы вели себя точно так же, как и все остальные – подходили к зеркалам, смотрели в них отпущенное им время и шли дальше по кругу.

Зорин подошел к одному из высоких зеркал, но увидел лишь свое отражение. Не зная, что делать дальше, он стал присматриваться к гуляющим по залу людям, но это ему быстро надоело, тем более



что дальше смутного ощущения, что лицо знакомо, дело не заходило. Зорин стал взглядом искать выход из зала, ведущий дальше, в коридоры, и увидел вдруг сидящего на стуле мужчину, который, казалось, дремал, уронив голову на грудь. Был он одет в серую шинель без погон, на голове – потрепанная ушанка. Наверняка смотритель, они во всех музеях есть. Хотя тут вроде не музей... Решив спросить смотрителя, где находится продолжение маршрута, Зорин стал продвигаться к нему, задевая людей локтями. Наконец достиг своей цели и тронул дремлющего за плечо. Тот резко встрепенулся, поднял голову, посмотрев на Зорина, и Зорин сразу узнал его. Это был раненый парнишка, солдат, которого он впустил внутрь невесть как появившейся у него во дворе избы, кажется, уже вечность назад. Его лицо почти не изменилось, только вместо кровотокащей ссадины Зорин увидел нежно-розовый шрам, а ухо... его так и не было, только грязная марлевая повязка на его месте.

– Ты... ты... – через силу проговорил Зорин, – ты что тут делаешь? Почему ты все еще здесь?..

– Чего хотел, дяденька? – голос солдата был ясный, звонкий, веселый.

– Я... я тебя знаю...

– Да ну?! – удивился солдат. – И откуда же ты, дяденька, меня знаешь?

– На войне. Тебя зовут Валентин. Забелин.

– Ну да, Валентин. А на какой войне? Не помню я тебя. Кабы мог всех помнить, с кем виделся... Сегодня одна война, завтра другая. Я ж солдат.

– Ну и что? Не помнишь, где ухо потерял?

– Не-а, не помню. Говорю же, солдат я. Как-то давно еще и руку в бою оставил. Правую. И ничего. Далось тебе это ухо... другое будет. Дело наживное. Воевать же кто-то должен...

– Ну да, наверное.... Только какая сейчас война? Мир... во все мире.

– Война есть всегда, даже если мир. Значит и солдаты всегда есть. Работа такая. Вот для чего мы существуем? Не знаешь? Ага... А существуем мы, солдаты, для того, чтобы Россия нас тратила. Беречь солдат вредно для страны, большими бедами обернуться может, а что много нас, так солдат много не бывает. Поэтому мы в почете

большом, называемся правильно – «живая сила»... слышишь, дяденька, сила! А разве ж такое название не почет? Так что работа у нас хорошая, а что тратят нас без счета, как ассигнации на брошки для любовниц, то так и надо, солдат смерти не знает. Он куда меньше танка или там пушки стоит... даже если целый полк взять, все равно с танком по цене не сравнить! Мелочь и не заметишь в кармане, но когда много ее – уже рубль, а то и червонец. Экономия. Так что это правильно, страна должна всегда в выигрыше быть, иначе пропадет, сожрут – охотники завсегда найдутся. Но и уважают нас, солдат, безмерно. Ведь недаром праздник Победы есть, только не знаю, какую из побед празднуют, все хочу кого из вышестоящих спросить, ротного хотя бы, да недосуг на войне о пустяках балакать. А сейчас перерыв с войнами, ты прав, дяденька, хоть и короткий этот перерыв, вспомнишь мои слова... Я вот пока сюда устроился. Место теплое, денег шестьдесят рублей платят, да на что мне они, деньги-то... Мне довольствие и обмундирование требуется, а деньги... так, для блезиру. И у всех наших так. А если завтра война, мы как один... не сомневайся. Я много познать успел, где только не воевал. Вот, помню, на Кавказе был денщиком у самого генерала Ермолова...

– Ну я пойду... – Зорин не знал, о чем дальше говорить, и чувствовал, что сейчас польются воспоминания, когда надо кивать, сочувствовать и удивляться. Этого не хотелось, да и плевать, говоря откровенно, было ему на похождения солдата.

– Да иди, конечно, дяденька, чего тут стоять. Вон туда, там продолжение.

Зорин посмотрел в указанном направлении и увидел начало следующего коридора. Кивнул солдату и через все так же двигающихся по непонятным траекториям людей, задевая их локтями, двинулся продолжать изучение аттракциона. Но слишком далеко отойти он не успел. Кто-то хлопнул его ладонью по плечу, Зорин вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял Миша Крюков, давнишний знакомец, однокашник. Зорин с ним почти не общался, встречались раз в году на собраниях выпускников, перекидывались парой фраз, хотя в бытность студентами дружили. Миша, успешный пластический хирург, в последние годы сильно попивал, поэтому растерял почти всю успешность, а вместе с ней и клиентуру — подавляющая часть дам разбежалась в поисках более надежного пригляда за свои-

ми частями тела. Остались только самые верные, но такой практики хватало лишь на хлеб с маслом, отчего Миша страдал, привыкнув к бутербродам с икрой.

– Привет, Зорин! – заорал Миша, но никто из окружающих его будто и не услышал, не нарушив заданного алгоритма движения от зеркала к зеркалу. – Тыщу лет тебя не видел... и на юбилей меня не пригласил, подлец, гуляли круто, насышан. Подлец ты, подлец!

– Не ори, – поморщился Зорин. – Тут все-таки... – он запнулся, не зная, как обозначить место, в котором они находились, где он уж никак не ожидал встретить живую душу.

– Подумаешь, – фыркнул Крюков, – «Комната смеха»! Я и в детстве, когда в «Парк культуры» водили, не смеялся. Ну уродец я в зеркале, и что? Фиг бы – продолжал Миша, – вечером погудели прилично, как не поправить здоровье? Купил чекушку и поллитру; чекушку, само собой, на скамейке раздавил, не домой же нести. Возвращаюсь Соловьиным проездом, зашел в парк пописать, смотрю – изба стоит. Ну... эта «Комната смеха». Дай, думаю, зайду, детство золотое вспомню и поссу заодно с комфортом, а тут ты. Надо за встречу... – Миша посерьезнел. – У меня есть. Домой нес.

– Ты что, с ума спятил? – прошипел Зорин. – Мы все-таки в культурном учреждении... видал, что на вывеске написано? «Министерство культуры»! А ты – выпить...

– Брось, – Мишкин голос спустился до шепота. – Вон закуток, а у меня и стакан с собой... когда в магазин идешь, без стакана нельзя. Из горла только алкаши... Помнишь, как в подъезде на Пироговке шампанское из яичной скорлупы пили?

Зорин поморщился и посмотрел, куда указывал Миша. Увидел узкий аппендикс между зеркалами, он тянулся метров на пять и оканчивался тупиком. Его будто специально сделали, чтобы хряпнуть полстакана и душевно побеседовать, отгородившись от суеты.

– Стоит, стоит, – горячо зашептал Миша, – сколько не виделись! За встречу, за юбилей, хоть и забыл ты про меня, подлец... подлец, но все равно за юбилей надо...

– Да и за то, чтобы отсюда живыми выбраться, – неожиданно для себя добавил Зорин, собираясь сказать совсем другое. – Ты глянь, как они ходят, – он рукой указал на людей, – шуршат, тараканы будто, когда много их...

– При чем тут тараканы? Обычные люди... Ходят и ходят. В зеркала на себя смотрят, никому не мешают, одеты прилично. Мужики солидные и бабенки ничего. Комнаты смеха теперь в тренде, что ли? Пойдем.

Зорин глянул на циркулирующую толпу, словам Миши не удивился, вздохнул и пошел за ним.

В закутке, и правда, никто не мог их видеть, там пахло пылью и почему-то снова жареной курицей. Миша профессионально вскрыл поллитру, налил по три четверти стакана.

– За нас, – со значением произнес он, – все ж таки шесть лет вместе учились. Отнесло нас друг от друга, а жаль... Но есть что вспомнить, о чем побеседовать...

Он опрокинул водку в рот, задохнулся и тут же стал яснее лицом, обретая форму. Зорин тоже быстро выпил; водка упала в желудок легко, не напрягая слизистую, а запах курицы вдруг усилился. «Вместо закуски», – пришла веселая мысль вместе с приятным опьянением.

– Давай прикончим ее и пойдем, – проговорил Миша, указывая на бутылку. – Можно продолжить, тут на Соловьином кабачок есть, недорогой... Я часто о тебе вспоминаю, ты всегда помогал мне, на первых курсах особенно, я ж эти химии-биологии терпеть не мог, а ты отличником был.

Зорин вдруг вспомнил институтские времена; стало грустно, что все бесшабашное проходит и становится различимым, только если обернуться.

В закутке посветлело. Зорин глянул Мише в лицо, увидел, что приятель его неожиданно стал выглядеть моложе, прямо как курсе на четвертом, будто и не била его жизнь, не стучала по темени.

Располовинили остаток. Мишу моментально развезло, как это бывает при активной опохмелке.

– А вот ты, – уже пьяно снова напал он, больно тыча указательным пальцем в грудь Зорина, – а вот ты, почему меня на пьянку свою юбилейную не пригласил? Побрезговал или загордился... А чем тебе гордиться? В поликлинике... да на «скорой»... поду-у-умаешь! Фельдшер ты и есть, а не врач!

Зорин внезапно обозлился, тем более что в словах Миши была известная доля истины. Злость почему-то резко усилилась из-за

явно слышимого шороха шагов бредущих от зеркала к зеркалу людей. Зорин, сам не желая того, схватил Мишу за грудки:

– А ты, скотина, в институте по комсомольской линии попер, знал, как надо правильно, по головам шел, чтобы на кафедре остаться — декану стучал на конкурентов! И дело свое открыл на деньги того же декана, который партторгом института десять лет до самой перестройки был, – шипел Зорин, тряся Мишу. – Прогорел, плакался, по копейке с протянутой рукой собирал, чтобы подняться. А когда и копейки не дали, зашибать начал. И сейчас, скотина, завидуешь мне... мне, который своей головой и своими руками все сделал, хоть и не взлетал высоко! Убить меня готов от зависти, я тебя насквозь вижу, сволочь! Недаром мы здесь встретились, ох, недаром...

Но Миша, уже окончательно окосевший, не поняв ни слова в горячем монологе Зорина, обмяк в его руках и даже, кажется, всхрипнул. Зорин отпустил Мишин воротник, тело бывшего приятеля сползло на потертый паркетный пол, а внезапное бешенство улетучилось.

### ***Окончание – в следующем номере***

*Андрей Оболенский* живет и работает в Москве. Окончил 2-й Московский медицинский институт, практикующий врач.

*Пишет прозу. Имеет около сорока журнальных публикаций, в том числе в США.*

*Два рассказа вошли в шорт-лист Волошинского Конкурса 2014. Призер Четвертого Конкурса им. В.Г. Короленко Санкт-Петербургского союза литераторов.*

Елена МАЛИШЕВСКАЯ

---

СИНОПСИС

---

\*\*\*

Кто плывет по ночной реке,  
Разгребает чернь налегке.  
Тут никто никому ни брат,  
Ни печален, ни виноват.  
Им не думать о тех, кто прав,  
На ушедших искать управ.  
Тут вода не тепла-холодна,  
Никогда не достать до дна.  
Даже мысленно мерить глубь  
Не получится, не голубь  
Этой мысли. Им несть числа,  
Белым звездам, и нет весла  
Зацепить или в толщу вмять,  
Замесить их в ночную гладь,  
Только видеть. И то гало,  
Может их и тьмой замело.  
Может просто огни в домах.  
Лишь саженка и легкий взмах,  
Мимо лиц за столами, слов,  
Стен качающихся бортов.

\*\*\*

Ох, не надо бы этого... Как же мне этого надо,  
Пусть синяк от отдачи – плечо тяжелее приклада,  
Чтобы с деревом сталь продолженьем сустава,  
Чтобы тело служило потверже иного устава.

Чтоб глаза, две за шторками квёлые птицы,  
Пролетали алмазными копьями в темных бойницах,  
Только время с дождями отмоет скелет от стилета,  
Но у вен голубых не отнимет багряного цвета.

Вот не надо бы этого... Как же мне этого надо,  
Чтоб щекой не водица, а медный желвак от досады,  
В переносицу клювы вороньи впиваются клином,  
Только гордость бывает потверже гордыни.

Суета, подсуеток... Все горше, но мера за меру,  
Ситом гонит лучи, отделяя неверье от веры,  
Близкий легкий огонь по забралу, на самое донце,  
И по мраморным жилкам восходит ожившее солнце.

\*\*\*

Маэстро, вы уснули? Вдарьте туш  
Под осыпь обалдевших желтых груш,  
За красные шары в корзинах черных,  
Расплатятся в пиастрах или в кронах,  
Отвесят, а затем с командой – вольно,  
Отступят в тень садовую поствольно,  
Смешайте что-нибудь от сокрушений:  
Крюшон и сидр, или всего смешенье,  
Пусть хмельный тирс, лозой увитый,  
Взлетит; и щедро в медь отлитый,  
В литавры звякнет солнечный удар,  
Последыш сада, полновесный дар,  
А после слезно – пикколо в пике,  
Чтоб тонко ноту вывести к реке.

\*\*\*

Сметает осень долгим рукавом  
С усталых парков летние забавы,

Тяжелым бархатом укрытие заставы  
Заложено в движеньи круговом.

В закате свет, расколотый арбуз,  
Граненый сок рубином на исходе,  
Так густота естественна природе,  
Как красный сердцевине карты туз.

Червонное не переплавить в медь,  
Синильным мохом по краям ярится,  
Но будет ровно то, что будет, снится,  
Иначе нам до смерти умереть.

И туфелька слетевшая с ноги,  
Плывет рекой, подарена теченью,  
Инфузия, челнок, водолечение  
Прописано, как снам формальдегид.

Озерное, лавандовый подбой,  
На манекене платье Гвиневеры  
Разучивает плавные манеры,  
Зеркальный пол не чуя под собой.

\*\*\*

Приснился в сумерках перрон,  
Бегущая межа,  
Несут багаж со всех сторон,  
А я без багажа.

И вроде бы понятен мне  
Движения посыл,  
Но как положено во сне,  
Не трачу сил.

Куда спешить мне налегке,  
Кого спроси –



И вижу на чужой руке  
Свои часы.

И чью-то шею греет шарф,  
Мой узкокрыл,  
Купе: как будто дверкой шкаф  
Свет зацебил.

Вот лица, бег по ним луча,  
Белей сметанного,  
Мои стаканчики бренчат,  
Их подстаканники.

Горит казенная печать,  
Под куполом,  
Их бергамотом пахнет чай,  
Мной купленный.

В купе, просвеченном со дна,  
Лицо в тени,  
На шаткие мостки – одна,  
Всхлип простыни.

И мерный ход, и гул речей,  
Потише там!  
Чье полотенце на плече  
Мной вышито?

Гармошкой сложенный билет  
Разбелом темени,  
И начинался в окнах свет,  
Тем временем.

Приснился в сумерках перрон,  
Бегущая межа,  
Несут багаж со всех сторон,  
А я без багажа.

\*\*\*

мне полюбился расточенья  
веселый грех,  
развевать время на песчинки –  
лови на всех!  
летучей пылкостью мгновений –  
вериги тягостных часов,  
дамоклов меч годов – вневремьем  
пернатых легковесных слов,  
мудреть старушечьим младенством,  
все знать, но мало разуметь,  
чтоб нолики с крестами действием  
угадывать – мелком сквозь сеть.  
чтоб оставаться, оставляя,  
и быть везде – нигде не быть.  
заглядывать за край без края,  
чтоб умерев, к утру ожить.  
(в начале титров ждать конец –  
какая скука! – умоляю)  
и что тяжеле, перья ли, свинец –  
не понимать, науку понимая.

*В стихах киевлянки Елены Малишевской есть три основных составляющих – пространство, предметный мир и история, часто неявная, с прозрачным, как бы ускользающим героем. Из конфигурации этих трех составляющих возникает картинка. Иногда – кинематографически выпуклая. Иногда – размытая, как акварельный эскиз под дождем. Елена Малишевская ничего не констатирует и не утверждает, она смешивает и пробует на вкус, соединяет и разбавляет, используя звуки и запахи, природу и предметы, причем делает это таким образом, что сквозь ткань текста проступают тайные свойства привычного мира.*

*(Аннотация к книге Елены Малишевской, выпущенной издательским Домом Дм. Бураго, Киев)*

Леон МИХЛИН

---

## ДОМ НА КАНАЛЕ

---

### Рассказ

*К человеку обратился ангел:*

*– Хочешь, я покажу тебе твою жизнь?*

*– Хочу, – сказал человек.*

*Ангел поднял его над землей, и человек увидел всю свою жизнь и две пары следов, идущих рядом.*

*– Кто это рядом со мной?*

*– Это Я сопровождаю тебя всю твою жизнь.*

*– А почему иногда видна только одна пара следов?*

*– Это самые трудные периоды твоей жизни.., – промолвил ангел.*

*– И что же, ты бросал меня в самые трудные минуты?*

*– Нет, я нес тебя на руках.., – тихо ответил ангел.*

Сон вспорхнул как птица с ветки и растворился в пространстве.

Он лежал на спине с закрытыми глазами, рядом мерно посапывала жена, объявшая пространство дома плотная тишина побуждала повернуться на бок и смежить веки – он с сожалением отметил, что это невозможно. Прежде со сном у него не возникало проблем, напротив, ночью, так ему казалось, он продолжал жить насыщенно и эмоционально-изошренно, ночные фантазмагии (а иными они не могли быть) нередко отчетливо помнились, мог пересказать их во всех подробностях. Сейчас же скрытая тревога мешала погрузиться в привычное состояние. Мозг пребывал в отключке, сумеречное со-

знание не выдавало четкий и ясный ответ, по поводу чего явственно возникла тревога, хотя он прекрасно знал первопричину. Бывает, замлеет, если отлежать ее, кисть, словно нет пальцев, их не чувствуешь – но поменяешь позу и со слабым покалыванием, сродни комариным укусам, кровь начнет поступать в сосуды, пальцы начнут оживать, пока не приобретут прежнюю гибкость и подвижность. Сейчас же вяло-беспомощные нейроны гиппокампа тоже замлели.

Последние пару недель ночь превращалась для него в пытку. Он начинал клевать носом у телевизора, прослушав вполуха вечерние новости на канале FOX, неверным шагом брел в ванную, чистил зубы и еле доплетался до спальни, упрятывая лицо в охлаждающую нежность пуховой подушки. Проходило от силы четыре часа, неведомая сила едва не подбрасывала его на жестком ортопедическом матрасе, и все – конец бодрствованию. *Он пил как воду горький бром полубессониц-полудрем...* Фраза из чужих стихов вертелась в голове, он повторял ее раз за разом, упорно-бессмысленно, словно пытаясь доискаться до сокровенной сути, вращал юлой, обсасывал как леденец, который не думал таять. В юности он писал стихи, даже посещал семинар модного поэта, потом забросил это занятие, но остался приверженцем поэзии, в которой кое-что смыслил.

Сегодня в недолгом, прерывистом сне, вернее, в том состоянии, которое можно было так назвать, опять мерещилось странное сооружение на другом берегу канала; узкое, стремительно убегающее ввысь, похожее на одну из башен барселонской «Саграда Фамилия», оно уходило шпилем в черное зимнее небо с множеством ярких звезд, этажи и окна сооружения помаргивали огнями, он стоял, задрав голову, пытаясь углядеть контуры прячущегося шпиля и казался себе совсем маленьким, беспомощным, беззащитным – пылинкой мироздания.

Схожее чувство посещало его при виде с бруклинского Променада ночных силуэтов небоскребов Манхэттена на противоположном берегу Ист-Ривер. От впервые увиденного в самом начале иммиграции невольно закипела слеза восторга, с тех пор никак не мог привыкнуть, хотя смотрел на это диво бесчисленное количество раз; небоскребы были похожи на театральную декорацию, бутафорию из фанеры и папье-маше, в них не ощущалось дневного размаха, мощи и величия, они засыпали, по-родственному перешеп-

тывались, делились чем-то своим, на бесчисленных этажах огни манили, зачаровывали, рождали магию необъяснимо прекрасного и загадочного; небоскребы выглядели пришельцами из звездных миров, совершившими короткую остановку на приглянувшемся им острове и готовыми в любой момент воспарить и раствориться в галактической мгле...

Но было в этой картине и нечто пугающее, зловещее. Намек, предсказание, предзнаменование. Чего? Он не знал. *Мегаполис, в дневное время больше похожий на людской муравейник, на черном бархате ночи обретал поистине апокалиптические черты Армагеддона, города последней битвы.*

Кто выжил здесь, выживет везде. Теперь ему предстояло проверить это на собственной шкуре с учетом того, что Нью-Йорк – ненадежный друг, любит тех, кто на вершине успеха, и отворачивается от неудачников. Он выжил в Армагеддоне: покупал землю под возведение жилья, нанимал строителей, распродал готовые квартиры, при этом жил все эти годы под дамокловым мечом банков, одалживавших деньги. Нет, слабонервным такая работа не по плечу... Добился немало, имеет прекрасный дом в три этажа в престижном бруклинском районе, с одной стороны – океан, с другой – канал. И вот все может полететь прахом.

До встречи в банке оставались сутки.

...Майкл вышел на холод. Ветер ожег лицо ледяным дыханием. Пришлось укутывать шарфом подбородок и щеки. На противоположной стороне канала высилось многоэтажное здание со смелыми ажурными обводами крыши, похожей на трассу фристайла – подъем-спуск; чернели проемы квартирных окон, в которых отсутствовал свет, лампочки горели лишь в коридорах.

Увиденное являлось Майклу в снах с пугающим постоянством, это было то самое сооружение со стреловидным наконечником в виде шпиля, оно мерещилось в зловещей темноте, никогда не открываясь при свете дня, сны почему-то не допускали возможности обозреть его полностью, единым взглядом, словно прятали некую тайну; на самом деле никакого шпиля не было и в помине, узкое, стреловидное тело сооружения существовало лишь в подсознании Майкла, наяву же, в пяти десятках метров от воды, стоял недостро-

енный жилой дом современной архитектуры с покмест малораспроданными квартирами, висящий веригами, могущий быть отнят за долги, и тогда... Об этом лучше не думать...

Перейдя канал по мосточку, Майкл углубился внутрь района. Ветер между домами стал потише, развиднелось, сумрачное небо рвалось на облака, проступая синим и теплым. Робко выглянуло солнце, пытающееся согреть мельтешащих людей утренней надеждой.

Майкл вплотную подошел к своему детищу. Он глядел на него будто в первый раз, без любви отца, восхищающегося ребенком, как бывало прежде; оно теперь воспринималось чужим, посторонним, больше ему не принадлежащим. Через большие вырезы в кирпичном теле на него пялились окна черным холодным блеском. Солнце тонуло слабыми лучами в грустных квадратах. «Дом будет стоять здесь долго-долго, безусловно, переживет меня, будет в собственности у кого-то, может, у банка, может, у группы имущих; его жильцы, они рано или поздно появятся, будут радоваться дивному расположению своего пристанища возле канала, и никто никогда не вспомнит того, кто это все начинал... Все принадлежит денежным мешкам, деньги управляют внутренними чувствами, человечеству осталось придумать механизм, связывающий души и банковские счета...»

На четвертом этаже на фасадный балкон вышел рабочий. Достал сигарету. Подошел второй, закурили. Майкл отметил для себя: «плиточники». Работают несмотря ни на что. Я им должен столько денег! Многие перестали верить в возврат долга, а они – нет.

Майкл двинулся в обратном направлении, удаляясь от своего здания. Он думал о жене и детях. «У меня нет денежных запасов. Если все сложится плохо, банк по контракту отберет наш дом. Я не смогу даже снять приличную квартиру». Безотрадные мысли прихлынули подобно разгулявшейся волне, но не отхлынули вместе с ней.

Он шел по скрипящему деревянному настилу мостика. В канале всегда плавали лебеди. Сегодня их не было видно. Канал был скован тонким льдом – бесснежная морозная зима давала о себе знать. Лебеди улетели в другое место, лишь один, почему-то оставшийся, взгромоздился на камень и являл собой гордое одиночество, словно вызов природе. Майкл прислонился к задубелым перилам и стал

наблюдать за птицей. «Он как я, все бросили его, но он не сдается стихии...»

Дома было тепло и уютно. Жена что-то шкварила на кухне. В ее глазах Майкл уловил тревогу и усталость. Она ни о чем не спрашивала, все понимая. Майкл поднялся к детям. Младший Даниэль играл на компьютере. Появление отца его не слишком обрадовало.

– Дэнни, как дела в школе?

Мальчик окинул его безразличным взглядом. В нем можно было прочесть только одно: «Не мешай мне играть».

– Все хорошо, папа.

– Ты любишь свою комнату?

– Да, папа.

– Если нам придется уехать из дома, ты будешь переживать?

Дэнни пожал плечами:– Папа, дай мне доиграть.

Майкл вышел. «Что я хочу от него? Чтоб он обнял меня и пожалел? Чтобы сказал: «Папа, я поеду с тобой в банк. Я им там устрою. Я решу все проблемы».

Дверь в комнату старшего сына была открыта. Майкл зашел и молча посмотрел Алексу в глаза.

– Пап, ты выглядишь очень усталым. Никак не можешь договориться с банком?

– Все нормально, сынок. Просто не выспался...

Майкл поспешно вышел из комнаты. «Зачем травмировать его раньше времени. И вообще, надо собраться и прорепетировать завтрашний разговор. Постараться внятно объяснить мою позицию и мои предложения, а главное, убедить банк в том, что отобрать у меня все он всегда успеет и что выгодней на данный момент меня не уничтожать».

Завязалось это в начале 90-х, когда Миша Тулин, которого еще мало кто называл Майклом, только вступил на путь познания особенностей здешней жизни и отношений. Интеллигент-технар, склонный больше к занятиям наукой, закончивший аспирантуру, но не защитившийся по причине эмиграции, он проработал три года в одном из университетов Нью-Йорка и ушел оттуда, разочарованный рутинной и бюрократией, а также небольшой зарплатой. Зарабатывать он решил бизнесом. Сколотил бригаду умельцев-отделоч-

ников и начал работать по контрактам со строительными фирмами. Тогда в Нью-Йорке царил строительный бум, позарез требовались рабочие руки по отделке квартир. И все шло хорошо, пока не нарвался на прямой и грубый обман.

Известная фирма сдавала несколько больших зданий в Бруклине, бригада Майкла приводила квартиры в надлежащий вид: красила стены, клеила обои, стелила линолеум, ковролин и паркет, ну и прочее. Подрядчик обещал сто тысяч баксов – сумма по тем временам немалая. Оплату разбили на три части – дважды по сорок тысяч и под конец – двадцать. Претензий по оплате не возникало, наступил черед последней, финальной выплаты, и тут подрядчик спокойно и с улыбкой сообщает, что платить не будет. Как так, почему? «А вот так. Контракт нарушаю, говоришь? Иди к адвокатам, жалуйся, подавай в суд...» Рассчитал, гад, верно: откуда у новоиспеченного иммигранта бабки на законников? Да и не очень знает Майкл законы, точнее, вовсе не знает. Выиграет в суде или проиграет, неизвестно, а адвокатам плати по полной... И не стал подавать иск, как говорится, утерся...

Хорошая наука впрок идет – больше на мякине его никому провести не удавалось. И бизнес шел. Стал девелопером, что означало полную ответственность за ход строительства, с первой до последней минуты, но и риск огромный – ведь займы в банках приходилось брать миллионные. А ну как прогоришь? Не прогорал – чаще всего квартиры раскупались как пирожки горячие, едва коробка возводилась.

Грянул 2008-й, и началось... Кризис страшный, мама не горюй. Сорок процентов недостроенных домов банки за долги забирали, ибо почти никто жилье не покупал, хотя и цены резко упали, и проценты на банковские займы понизились. А вот не покупали... Кризис в строительстве – каждые 10-15 лет, вывел закономерность Майкл, почитывая разные умные экономические статьи, в том числе про недвижимость. Тут ведь как происходит... Банк дает заем десять миллионов – с процентами, которые ежемесячно выплачиваешь, отдать надо, скажем, тринадцать. А цены на жилье в кризис падают, и покупают плохо. Следовательно, даже если девелопер все квартиры продаст, то не вернет нужные тринадцать лямов. Банк списывает долг (государство поможет не стать банкротом!), находит нового девелопера, покупающего стройку за полцены, и пошла писать гу-



берния... А у прогоревшего предшественника банк реквизирует все что можно, ради погашения долга – главное, его собственное жилье отнимает. Вот такая перспектива...

Важно не попасть в жернова. До сей поры удавалось Майклу выворачиваться, но и на старуху бывает проруха – попал впросак с большим строительством, с тем самым домом у канала, что по ночам упорно снится и покоя лишает. Деньги закончились, требуется всего десять процентов от занятой у банка суммы для доделки, без чего продать невозможно. Даст ли, поверит ли – большой вопрос, а иначе – хана, плакал трехэтажный дом, придется съемное жилье искать.

Майкл ехал в Манхэттен подземкой – вести машину в его нынешнем сумеречном состоянии он просто не мог. Под землю он спускался нечасто. В его окружении считалось недопустимо-унизительным пользоваться метро, означало это сравняться с рабочим людом, со всеми этими черными, латиносами, китайцами-малайцами, арабами и прочим не шибко преуспевшим народцем, кого презрительно именовали *реднеками*. Майкл являл исключение, его вовсе не коробило общение с теми, на ком, собственно, и держался мегаполис, кто строил, убирал, мыл, чистил, торговал с лотков, обслуживал клиентов; к тому же подземкой пользовались и *белые воротнички*, отовсюду едущие на работу в богатый, сверкающий, нагло-показушный, приманчивый Манхэттен, заполняя бесчисленные офисы. На машинах на остров могли ехать или безумцы, или богачи, готовые тратить немалые деньги за платные парковки – чтобы найти иные, нужно было потратить час и более.

Впрочем, Майкл хорошо запомнил февраль 96-го, стихия тогда бушевала весь месяц, по Манхэттену предпочитали передвигаться на лыжах, невиданные снегопады парализовали город, машины и автобусы правратились в обузу, и люди по городу шли пешком, оскальзывались, вязли в сугробах, неуклюже, как антарктические пингвины, переваливались на ходу. Перегруженное метро задыхалось, ходило с перебоями, но было живо, кровь пульсировала в нем, напрягая все жилы, и спасало, принимая тугие волны горожан. Порой кошмарное с виду, оно и город неразделимы, одно без другого не может существовать.

Многие ненавидят подземку, где влекутся томительные часы их жизни, и обожают его, он такой, какой есть, ничего подобного нет нигде. В переходах гремит джаз, группки собирают толпы поклонников; на станциях можно услышать молодых и пожилых умельцев, отбивающих ладонями ритм на донышках перевернутых пластиковых ведер; в вагонах пассажиров развлекают певцы, гитаристы и аккордеонисты-латиносы, иногда у вагонных дверей скромно устраивается девчушка в джинсах с дырками по моде и со скрипкой или бородач с саксофоном – это уже не новоиспеченные иммигранты, а свои, доморощенные, ньюйоркцы, и кто знает, может, девчушка учится в Джульярде, играет не ради денег, а токмо ради удовольствия... По вагонам бродят полусумасшедшие проповедники, испытывающие нужду в общении с массаами, агитируют за Христа, Будду и за что-то еще, им одним ведомое; к нашему состраданию взывают сборщики средств для бездомных. Нет, в метро никогда не бывает скучно...

Майкл несколько раз заставал такую картину. В вагон влетает ватага гибких, мускулистых темнокожих парней и под магнитофонную кассету с рэпом начинают выделять такое, что у пассажиров глаза на лоб лезут. Для разминки – подбрасывание бейсболки с ноги на плечо и на голову, ловко, изящно, бейсболка ни разу не падает на пол. Потом начинается главное действо. Как заправские акробаты, парни крутят сальто в проходах между рядами сидений, взлетают и цепляются ногами за поручни, повисая вниз головой, обвивают тонкую стальную, подпирающую потолок штангу, и используя ее как шест, совершают немыслимые курбеты, которым позавидуют стриптизерши... Ни разу не видел, чтобы задела ногой или рукой кого-то из пассажиров, движения парней отточены и выверены. Им аплодируют и охотно подают – доллар, два, пять. Мастерство в метро ценится не меньше, чем на поверхности, любительство не проходит.

В подземке лучше узнаешь душу города, пристрастия и привычки: здесь никто ни на кого не смотрит, у большинства в руках айфоны и айпэды, от них тянутся проводки с наушниками, гасящими посторонние звуки, от мала до велика сидят с закрытыми глазами и слушают музыку, в такт покачивая головами, или, уткнувшись в приборы, заняты играми; читающих книги все меньше – век духов-

ной изоляции, торжества приманчивых железок, без которых уже не мыслят существования.

...Майкл ехал, ни на кого не глядя, ему хотелось спрятаться от всех, сделаться незаметным подобно улитке, отчаянно пытающейся залезть в раковину. Он охватил лицо руками и низко склонился, делая вид, что дремлет. Погруженный в свои мысли, прямо скажем, невеселые, вновь и вновь прокручивал в голове аргументы в свою защиту, которые выскажет тем, кому предстоит принять вердикт. Если смотреть вчуже, получалось убедительно, но как выйдет на самом деле...

Прибыв в банк за полчаса до назначенной встречи, он решил поговорить накоротке с куратором, поддерживавшем его, во всяком случае, на словах. Служба безопасности дотошно проверила его самого и содержимое портфеля и впустила в комнату ожидания. Майкл сел в глубокое кресло.

Его вдруг обдало холодом, зазнобило, хотя в комнате было тепло. Куратор не появлялся. «Они уже все решили, он не хочет меня видеть», – пронеслось в мозгу, и в этот момент в проеме двери появился куратор – высокого роста холеный блондин, к его лицу приклеилась улыбка, больше напоминающая оскал.

– Как дела, Майкл? Как дети?

Он не успел ответить – в комнату вошла немолодая женщина с гладкой прической и в очках с толстой оправой, делающей ее похожей на очковую змею – так вдруг подумал Майкл. Она объявила, что комиссия по поводу банковского займа ждет их в конференц-зале. Майкл вопросительно и с робкой надеждой посмотрел на куратора, но тот деланно развел руками и все с той же улыбкой-оскалом направился к двери. Майкл с трудом поднялся и поволочил следом вмиг отяжелевшие, словно чужие, ноги.

Он не заметил как оказался в просторном помещении: посреди не стоял сияющий лаком прямоугольный стол, во главе стола сидел средних лет широкоплечий, загорелый, будто только что с курорта, мужчина с бритой ядровидной головой. На нем были темно-синего цвета костюм, белая рубашка и ярко-красный галстук. Взгляд его, остро-колючий, уколол Майкла. Трое других мужчин сидели и что-то записывали в блокноты.

Куратор представил Майкла комиссии. Рассказал о недостроенном здании, о том, что девелопер не уложился в смету, потратил больше, чем следовало, и таким образом... Что следовало за этой фразой, было понятно. Майкл начал излагать приготовленное заранее объяснение, путаясь и запинаясь от волнения, сидящие за столом слушали, не глядя на него, уткнувшись в бумаги. Майкл не успел перейти к самому существенному, оправдывающему, как ему казалось, задержку со строительством, но главный предупредительно, как стоп-кран, поднял правую руку, потом положил её на лысый череп.

– Не нужно ничего объяснять. Я внимательно ознакомился с этой стройкой. Изучил все сопутствующие бумаги и денежные транзакции. Мистер Тулин, я был возле вашего здания. Кстати, внешне оно очень привлекательное. Я не считаю, что вы сделали плохую работу. – Он помолчал и многозначительно покачал головой. – Но факт есть факт. Вы использовали значительно больше денег. И все сроки нарушили. Поймите правильно... это нас не устраивает. Я очень извиняюсь. И понимаю, что создаю вам проблемы в жизни, Майкл. Но я вынужден поставить на голосование... Уважаемые коллеги, – обратился он к членам комиссии, – предлагаю передать этот заем в суд с целью отчуждения всего имущества мистера Тулина, включая недостроенное здание, в собственность банка.

Во рту у Майкла сделалось горько. Он бросил взгляд на куратора. Тот отвел глаза.

Все члены комиссии, включая куратора, подняли руки.

Майкл тяжело встал и начал хрипло говорить:

– Погодите, вы не дали мне сказать главного. Пожалуйста, выслушайте меня. Вы не можете просто выбросить меня, как...

Лысый тоже встал и, перебив, громко произнес:

– У вас есть законная возможность оспорить наше решение в суде. Мне очень жаль, поверьте...

«Майкл, не молчи. Это последняя возможность, – внутренний голос побуждал к немедленному действию. – Обратись к куратору. Только он может тебя выслушать. Два месяца ты готовился к этой встрече. И сейчас упускаешь последнюю возможность. В суде тебе конец. У тебя нет денег нанять дорогого адвоката. Да и что он скажет? Все права на стороне банка...»

Он догнал куратора и положил руку ему на плечо. Тот повернулся к Майклу.

– Джон, вы же обещали поговорить с руководством банка. Я знаю каждый болт в моем здании. Все коммуникации, электрику, все недоделки. Дайте мне пару сот тысяч, и я закончу строительство. Подрядчики подождут денег. Все будут ждать, пока я продам квартиры. Никто не будет возникать, все понимают ситуацию... Банк получит свои деньги. Я готов отдать всю прибыль. Оставьте мой дом и мою семью в покое. Пожалуйста... Мне ничего не нужно. Только не уничтожайте мою жизнь. Джон, у вас тоже двое детей... Пожалуйста... Войдите в мое положение.

У него перехватило дыхание.

Куратор внимательно смотрел в глаза Майкла. Улыбка-оскал исчезла, тон его голоса был ровно-бесстрастный, в нем не сквозило участие и хотя бы робкий намек на некое сострадание.

– Банк следует определенным инструкциям. Эмоции ничего не стоят. Мы закроем заем, продадим здание, а потерю спишем. Если мы решили больше не вкладывать денег в эту стройку, то это окончательно. Все ваше имущество принадлежит банку по нашему с вами договору. Мы его....

– Джон, хорошо, не давайте больше денег. Дайте только время. Я договорюсь с подрядчиками. Они давно работают со мной, верят мне и закончат стройку бесплатно. Покупатели есть, они ждут окончания работы, деньги немедленно пойдут банку. Умоляю, сделайте что-нибудь...

– Дорогой Майкл, банк ждал слишком долго. Невыплаченные проценты на одолженные деньги превысили все наши стандарты. Я уважаю вас и вашу позицию, но решение комиссии не обсуждается...

Майкл вышел на улицу. Внезапно потеплело. Снег падал мешкотно-тихо, снежинки словно парили перед приземлением. Одежда прохожих покрывалась белыми накидками, они стряхивали снег и улыбались. Снег белил город праздником. *На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал...* – внутри метрономом звучала строка, услужливо подсказанная памятью. Излечит ли снег его тоску – бывшего московского инженера Миши Тулина, чьей удачливо-

сти в Америке завидовали... Сегодня он проиграл. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. В чем-то ошибся, недоучел, недорассчитал. В своих неудачах он прежде всего винил себя. Но кто думал, что долбаный пузырь лопнет и зальет дерьмом все окрест... Сколько фирм и людей пострадало из-за кризиса. А кто виноват? Разве не те же банки надували пузырь легче легкого, без строгой проверки, раздавая займы всем желающим купить вождеденное жилье, даже тем, у кого денег шаром покати...

Майкл обретал способность логически мыслить, подсознание начинало оценивать случившееся и искать выход.

Он спустился в метро. Он чувствовал себя боксером, приходящим в норму после нокаута. Вошел в вагон, плюхнулся на сидение. Странно, почти нет пассажиров, машинально отметил. Зловонный, горький, невыносимый запах ударил в ноздри. Он поднял голову и осмотрелся. В центре вагона сидел, точнее, полулежал негр-бомж, укутавшись в красно-черное грязное одеяло, то ли пытаюсь согреться, то ли отгородиться от мира. Лицо его утонуло в нечесаной шевелюре и клочковатой бороде. Одеяло смердило. Рядом стояла тележка с пожитками бомжа, торчавшими из черных полиэтиленовых пакетов. Полуоткрытые глаза бомжа выражали безразличие и презрение ко всему.

«А ведь когда-то этот *отроек* был нормальным человеком, наверняка работал, имел семью, детей. Почему стал *таким*? Как, оказывается, легко потерять себя, сойти с круга...» Майкл гнал от себя непрошенные мысли, наводящие на опасные сравнения.

Он доехал до Брайтона и направился к себе домой, минуя фасады богатых домов. Манхэттен Бич выглядел райским уголком по сравнению с унылыми кирпичными брайтонскими постройками, разве что дорогушие, цвета какао, корпуса «Ошеаны» скрашивали вид. На Манхэттен Бич селились удачливые «русские» – врачи, адвокаты, бизнесмены, их здесь уже было больше, нежели *коренных* американцев, пребывающих в желчной зависти к этим иммигрантишкам, неизвестно каким образом сколотившим миллионы. Майкл и его семья жили именно здесь, олицетворяя достаток и уверенность в себе. И вот разом все рушится...

«Я должен буду все рассказать семье. Я должен буду рассказать о том, что мы все потеряли. Что мы должны выехать из дома...»

В комнате детей и в гостиной горел свет. Майкл открыл входную дверь. Он услышал, как дети бегут по лестнице его встречать. Он обнял и поцеловал их. Приблизившись к жене, окинул ее долгим протяжным взглядом. Она ни о чем не спрашивала.

– С банком договориться не удалось.., – вымучил первые слова, но жена перебила:

– Я нашла хорошую квартиру. Потеснимся, конечно, но дети согласны. Моей зарплаты на аренду хватит. Но и ты у меня не бездельник. Заработаете на жизнь, уверена. Мы еще встанем на ноги...

Волна тепла обдала Майкла. Он обнял жену, прижал к себе. Этот был тот миг, ради которого стоило жить дальше.

*Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности геофизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий, занялся строительным бизнесом, став девелопером.*

*Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Рассказ «Дом на канале» – его литературный дебют.*

*Напомним, что Леон Михлин – издатель журнала «Времена».*

Ольга КУЧКИНА

---

## НОЧЬ СТЮАРДЕССЫ

---

Окончание. Начало в №1 (2017)

### *Новобранец*

Он подошел к перемене судьбы не столько философски, сколько прагматически. Сильными чертами его характера были обучаемость и приспособляемость. Он чувствовал себя новобранцем, и это не позволяло тщеславиться. Честолюбив был, да, но не тщеславен. В очередной раз следовало привыкнуть к новым обстоятельствам, решить, как в них жить и действовать, чтобы приносить максимальную пользу. Быть полезным – его императив на любом месте. Он не торопился. В его распоряжении были годы.

В разное время он нанес два важных визита. Гостевал у двух аксакалов, двух старейшин, долго, на часы не глядел. Говорил мало, больше спрашивал и внимал ответам. Включил свою харизму, целиком расположив к себе хозяев. Он умел это делать.

Один, бородатый, с огромными залысинами и бородой, был самый значительный критик советской власти. Назовем его Прозаик. Другой, усатый, всю жизнь приспособлялся к любой власти. Назовем его Поэт. Два противоположных типа, два полюса, концентрации общественной психологии.

Оба, и пострадавший от власти диссидент Прозаик, и конъюнктурщик Поэт, получивший от власти все, что мог, обитали в своих загородных домах. Понять онтологическую разницу между ними – понять многое в бытовании и умствованиях сложной, исторически противоречивой, часто не понимающей самое себя страны.

Один говорил о сбережении народа как главной задаче любого правителя. Другой – о необходимости и неизбежности лукавства. Более того – фарисейства. Пафос одного и цинизм другого ужива-



лись как нельзя тесно. Поэт был автором слов гимна корпорации, который ему когда-то предложили написать, потом переписать, и вот переписать еще раз. Менялся режим – необходимо было поменять слова.

Слова в этой стране как будто жили отдельной самостоятельной жизнью. Можно было старое понятие поименовать новым термином, и вот оно уже источало аромат как новенькое, вкусно перекатываясь во рту, где его обглаживали и обсасывали со всех сторон, как будто это был решительно новый продукт, который, наконец-то, накормит население досыта. Имелись большие искусники по этой части. Поэт всякий раз вкладывал в новые слова всю душу, делая заказную работу с подкупающей искренностью. Цинизм – это ведь не обязательно неискренность. Это и искренность тоже. В каждый момент своя. Отдельный высший пилотаж.

Дружочек мурлыкала про себя:

*Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,  
И Ленин великий нам путь озарил:  
Нас вырастил Сталин – на верность народу,  
На труд и на подвиги нас вдохновил...*

Опамятовавшись, понимала, что мурлычет не те слова. Попыталась выучить те:

*Суровой дорогой лихих испытаний  
В борьбе за свободу пришлось нам пройти.  
С надеждой и верой вперед, россияне!  
И пусть нас Господь охраняет в пути!..*

Не выходило. Сквозь новое упрямо прорастало старое.

Он делился с ней впечатлениями. Гимнюк сказал, что никогда не раскаивается в своих поступках. – Точно, как ты. – Это я и говорю.

Конъюнктурщик Поэт умрет в своей постели, просто уснув. Как святой.

Диссидент Прозаик умрет так же.

Стало быть, не существует простой линейной логики в вопро-

сах жизни и смерти, простые причинно-следственные связи тут не годятся. Высшая Божественная правда растворена в более сложной суспензии, нежели это представляется низшему земному существу. Это воодушевляло.

Он подружится с вдовой первого и сыном второго.

Вдова, как более умная и чуткая, не афишировала своих с ним отношений.

Сын, как более хвастливый и тщеславный, выставял интимное напоказ: *это мой товарищ*.

### **Двойник**

Сумрачным октябрьским вечером он переступил порог дома на Николиной горе, куда позвал на свой юбилей сынишка Поэта. Миллионы сограждан переступили этот порог вместе с ним. Сограждане – телезрители. Дружочек была среди последних, живя все

больше не с человеком, а с его телевизионным двойником. Как и все, глядя на экран, она пребывала в виртуальной реальности, но не как все, а как одна-единственная, имела прямое отношение к главному действующему лицу. Ей до сих пор представлялось, что он где-то там на сцене, на подмостках, играет роль. Воображала, как вот сейчас отыграет – и вернется, и снимет сорочку с галстуком, грим и парик и станет вместе с ней пить ночной кефир и разговаривать о том и о сем, как разговаривают родные муж с женой.

Гася разыгравшееся воображение, окорачивала себя, чтобы досмотреть спектакль, разворачивавшийся на Николиной горе, о котором хозяин, режиссер по профессии, полагал, должно быть, что это он его поставил.

Щедро улыбаясь, хозяин шагал навстречу гостю, хватал за щеки, с силой привлекал к себе и едва ли не врасос целовал. Ее едва не стошнило. Более гадкой сцены ей наблюдать не доводилось. Богатый помещик Троекуров принимал бедного соседа, помещика Дубровского. Бывший прелестный мальчуган, раздобревший, полысевший, ставший дурной копией отца, праздновал свое возвышение над всеми, а его гость играл в его игру.

Гость мог себе такое позволить. С некоторых пор он мог позволить себе все, что угодно.

Один человек мог решить судьбу тысяч граждан.

То, что казалось случайно брошенной фразой, прорастало более, чем всерьез. Вот что влекло его с младых ногтей: тайная власть над другими людьми. Слаще этого ничего для него не было. Он мог скромничать, уходить в тень, предоставлять площадку другим, ему не нужно было интересничать – довольно знать, что все в его власти. И пусть этот бывший мальчишка рисуется, заполучив себе в гости – себе в друзья, как объявлял! – столь важную птицу, в любой момент птица может клюнуть его, куда понадобится. Если понадобится.

Зная это, сынишка Поэта с задушевной искренностью, точно такой, как у отца, станет преумножать свою лесть многократно, без стыда сочиняя открытые письма: *проводимая вами мудрая политика... оставайтесь у руля навсегда... будущее корпорации без вас немыслимо...*

Когда душа Джоконды была еще не так закрыта для Дружочка, они не раз вместе потешались над подобными экзерсисами чиновников, олигархов, людей искусства, да кого угодно, считавших, что их беспримерная лесть принесет им прибыль. Джоконда был слишком умен, чтобы не знать цену всей этой шелупони. Но если тебе сказали что-то один раз, затем два, затем двадцать два, затем два миллиона раз, и ты не слышишь никого иного – кто может поручиться, что ты устоишь и с тобой не произойдет ничего необратимого?

Теперь разговоров на эту тему между ними не было.

Какая-то из чеховских героинь говорила, что ее душа как дорожной рояль, который заперт, а ключ утерян.

Джоконда теперь был как та чеховская героиня: крышка рояля заперта, а ключ потерян.

Она открыла дверцу холодильника и налила себе рюмку водки.

Она хотела любить его, а что-то вмешивалось в ее желания и мешало ей. Что-то или кто-то?

Он мешал.

Она выключила телевизор.

Кефир в ту ночь пили молча – он устал и не заводил никаких разговоров. Она тем более не позволяла себе расспросов. Уроки, которые получала, выучивала назубок.

## Черный август

Шел август, последний каникулярный месяц, располагавший к наилучшему отдыху, в преддверии уймы осенней и зимней работы. Он называл его августейшим. Сочи, как всегда, источал зной. Он любил этот зной, этот жаркий соленый пот, который так сладко смывается соленой водой, в какую бросаешься с головой, оставив на берегу все мыслимое и немислимое. Конечно, можно поплавать и в бассейне, и окунуться в купальне. Живое море влекло по-прежнему, как в молодости.

*Дружочек, плыви сюда, здесь такое красивое дно!*

Дача Бочаров ручей только называлась дачей. Сорок гектаров земли (*много ли человеку земли нужно*), шикарное здание сталинской архитектуры, дворцовый блеск внутренних помещений, хрусталь огромных люстр, шелк присобранных гардин, лакированный орех столов и стульев, белый рояль, черные кожаные кресла, медвежья шкура на одной стене, немного безвкусицы, излишек всего, в чем трудно жить, легче представлять и представляться, и необходимость привыкать к излишкам как к норме.

Они давно не были вдвоем. Она не зря оплакивала их общую жизнь в тот день, как услышала о его новом назначении. Да что толку, оплакивай не оплакивай, большая история взяла свое: свалившиеся на него обязанности окончательно отняли его у нее. Она терялась на этих сорока гектарах, в этих роскошных апартаментах, при том, что характер не позволял теряться. Но за огромным обеденным столом они были так далеки друг от друга, что хоть криком кричи. Она уже начинала пить таблетки, которые прописывал ее лечащий врач. Сшибка жизнью, внутренней и внешней, что-то производила с ее нервами, с чем трудно было совладать. Она совладала.

Она подплывала к нему, дно и в самом деле манило изысканной красотой: причудливые раковины, кудрявые кусты водорослей, быстрое серебро промелькнувшей в солнечном луче стайки рыбешек – она была благодарна ему за то, что он делился с нею этой красотой. Почти как раньше. Она протягивала руку, чтобы коснуться его в знак благодарности, но как рыба, вильнув хвостом, уходит при знаке опасности на глубину, так он уходил вглубь, хотя какая опасность могла исходить от нее, скорее, неловкость от претензии на близость,

на которую не хватало ни сил, ни времени, и все ощутимее нарастала невидимая перегородка между ними. Вильнув всем телом, он уходил при малейшей ее попытке приласкаться. Не получалось тратить себя еще и на нее, когда приходилось тратить на столь многое.

Августейший месяц. Они купались и загорали под щедрым субтропическим солнцем, девочки были рядом.

Он по-прежнему любил принимать гостей. Любил одаривать их неожиданными или ожидаемыми подарками, шутивными или серьезными: званием, квартирой, какой-нибудь старой поваренной книгой, если человек увлекался кулинарией. Они платили ему обожанием.

Приезжали коллеги, политики, люди бизнеса и шоу-бизнеса, прикормленные журналисты из пула. Жарили шашлыки, пили красное вино, играли в теннис, катались на катере и на водных лыжах. Любимый певец исполнял хит *Рюмка водки на столе*:

*Не забудутся никем  
Праздник губ, обиды глаз...*

Он любил, чтобы его любили. В политике так же, как в жизни. И, скрывая это, ужасно огорчался, если не получал искомого.

Потом мстил, ничего не забывая.

Месяц получил в народе прозвище *Черный август*.

Началось с путча 1991-го, когда ГКЧП с дрожащими от алкоголя и страха руками двинулся наперекор истории, пожелав вернуться к обессилевшему прошлому и тем самым спровоцировав революцию с уходом Горбачева и приходом Ельцина. Погибли три человека.

Продолжилось авиакатастрофами того же года в Иваново и на Шпицбергене, где счет был двести двадцать пять человек погибших.

В августе 1998-го люди выучили непонятное слово *дефолт*, в результате которого роковым образом подешевели деньги и человеческие жизни.

В августе 1999-го разразилась вторая чеченская война – вместе с первой она унесла сто шестьдесят тысяч жизней.

В августе 2000-го в результате теракта в подземном переходе на Пушкинской последовало тринадцать смертей.

Кривая арифметика как результат кривой алгебры, назначенной решать задачи, более важные, нежели судьба отдельного человека. Какой бухгалтер и на каких счетах щелкает трагическими костяшками, подбивая людской дебет-кредит?

За год до этого, также в августе, Джоконда сделался правой рукой главы корпорации.

Всей семьей пили пятичасовой чай в беседке, из которой открывался очаровательный вид на море, у ног расположилась любимая собака, Джоконда гладил ее по голове: мирная из мирных картинок.

Показался офицер связи: *вас – Видяево.*

Он взял трубку – и изменился в лице.

Еще пять дней он, как будто ничего не случилось, продолжал, находясь в отпуске, нежиться в теплых волнах Черного моря, и его показывали по телевизору, подтянутого, загорелого, уверенного в себе, в то время как сизая, холодная, завивающаяся свирепыми белыми бурунами поверхность Баренцева моря скрывала трагедию.

Обедали вдвоем, девочек покормили раньше, она проглотила несколько ложек супа

и отложила ложку. Завтраки, обеды и ужины давно готовила не она, готовили другие люди, профессионалы, с подсчетом калорий и всего такого прочего, пища была вкусной и питательной, просто ей не хотелось есть. Он ел молча и уже почти опустошил тарелку, как вдруг, вовсе не собираясь этого делать, она тронула его за руку и тихо проговорила: *может, тебе все-таки полететь туда?* Он бросил ложку на стол и закричал: *сколько можно говорить, чтобы ты не совалась не в свои дела!* Губы у Дружочка задрожали. Он редко так срывался, почти никогда, – умел держать себя в руках, владел собой как никто. Испуганная буфетчица показалась в дверях и тут же скрылась.

Через пять дней, прервав отпуск, он вылетел в Видяево.

Еще через три дня к аварийно-спасательным работам допустили норвежское судно.

Еще через день норвежцам удалось вскрыть аварийно-спасательный люк подлодки, где их ждали сто восемнадцать мертвецов.

Она прочитает все, что удастся разыскать о взрыве на подлодке, – голова пойдет кругом от технических подробностей, перенасыщавших тексты: система контроля окислителя, пневмоудар,

принцип беспузырной стрельбы, уплотнительное кольцо, сигнализатор СТ-4, перекисно-водородная торпеда, комингс-площадка... Продираясь сквозь частокол техницизмов, недоступных ее гуманитарному мозгу, она поймет главное: с первой минуты лгали все. Говорили, что люди в подлодке стучат по переборкам, то есть экипаж подает акустические сигналы, а мы тут наверху им отвечаем. Говорили, что все моряки погибли сразу. Говорили, что они живы, и воздуха у них еще на пару недель. Одно цинично противоречило другому.

Накануне морское начальство перепилось и не сразу сообразило, что произошла катастрофа. Услышав взрыв, на вопрос одного из высших офицеров, что это такое, другой высший офицер ответил, что это включилась антенна радиолокационной станции. И, стало быть, можно было продолжать хлестать спиртное.

Теряли драгоценное время.

Когда лодку обнаружили лежащей на грунте на глубине 108 метров, поступил приказ: всем молчать о случившемся. Она лежала там уже двое суток, а Джоконде все еще не докладывали правды.

В те дни у *либералов* сложилась поговорка: *лгало Дыгало*. Фамилия помощника главкома ВМФ по связям с общественностью и СМИ была Дыгало.

Когда уже ничего нельзя было скрыть, отказались от помощи по спасению людей, предложенной Норвегией и Великобританией, а сами спасти их не могли: не было обученных специалистов, не было спецтехники, не было навыков.

Сто восемнадцать моряков, красивых, крепких, здоровых, любимых и любящих, оказались заперты в подлодке, как в консервной банке, а морское начальство беспокоилось не о них, а о секретах, которые и так, в век космических спутников, были всем известны.

На подлодке проходило проверку новейшее оружие: на борту находились двадцать четыре крылатых ракеты и двадцать четыре торпеды, в том числе одна, по-видимому, дефектная. Прощаясь по телефону с матерью перед походом, один из моряков сказал: *у нас на борту смерть*.

Когда норвежцам удастся вскрыть эту консервную банку, станет понятно, что двадцать три человека жили еще двое с половиной суток после взрыва. И, стало быть, их еще можно было спасти.

Спасали собственные задницы.

Обнаруженные записки переворачивали душу.

*Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов похоже нет. %10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает... Всем привет, отчаиваться не надо... Д.*

*Колесников.*

*Милые мои Наташа и сынок Саша!!! Если у Вас это письмо значит меня нет. Я Вас обоих очень люблю. Наташа, прости меня за все. Сашуля будь мужчиной. Я вас крепко целую. Борисов А.М.*

В те дни она, не отрываясь, смотрела новости по телевизору и видела, как ее муж встречался с вдовами и родными погибших моряков. Прямо в лицо ему зареванные женщины бросали, что во всем виновна власть, что, если бы начали сразу спасать людей, а не военные секреты, сейчас их мужья, братья, отцы были бы живы. Он был главный обвиняемый.

Камень лежал у нее на сердце. Ей было смертельно жаль этих несчастных людей. Но ей было смертельно жаль и его, того, кто выслушивал и выдерживал все это.

Она мучила себя, то и дело ставя кассету с гениальным Высоцким:

*Спасите наши души!  
Мы бредим от удушья.  
Спасите наши души,  
Спешите к нам!  
Услышите нас на суше –  
Наш SOS все глуше, глуше, –  
И ужас режет души  
Напополам...*

Откуда Высоцкому это было известно?

Это была первая большая государственная ложь.

За ней последуют еще и еще.

Знаменитый призыв знаменитого Прозаика *жить не по лжи* не подходил этому государству.

Спустя некоторое время ей рассказали о его звонке телеведущему первого канала, показавшему его встречу с вдовами моряков.



Там были не вдовы моряков, сорвался он на крик, а Первый канал нанял шлюх, которые за десять долларов выступили, чтобы дискредитировать президента!

Она задохнулась от дихотомии, раздвоения личности, разрываясь между и между.

Она любила его. Его ложь ее травмировала.

### **Чеширский кот**

Меньше чем через месяц, он, сидя в американской телестудии напротив известного американского телеведущего на вопрос, что случилось с подлодкой, произнес отозвавшееся в целом мире: *она утонула*. И на лице его нарисовалась та самая загадочная улыбка Джоконды, что поразила однажды Дружочка.

Как-то раз, когда он читал девочкам *Алису в Стране чудес* Льюиса Кэрролла, и дело дошло до Чеширского кота, который умел телепортироваться или медленно растворяться в воздухе, оставляя улыбку на том месте, где только что был, младшая закричала и захлопала в ладоши: *наш папка – Чеширский кот!* И все расхохотались.

И сейчас наши, из его сопровождения, уставившись в экран в холле отеля, где жили, все расхохотались и захлопали в ладоши. И она, взятая им в эту поездку, захлопала вместе со всеми и вместе со всеми расхохоталась. Феномен толпы, в которой растворяется личность.

Не Чеширский кот – Джоконда! Улыбка Джоконды. На приеме у Буша она не сходила с его лица, и они оба с Бушем-младшим дружески хлопали друг друга по плечу, так что было ясно: они нравятся друг другу не просто как двое сильных, волевых, оптимистически настроенных мужчин, но и как таких мужчин, на которых лежит ответственность если не за все на этом шарике, то за подавляющую часть всего, и если они, слава Богу, задружились, то остальные, слава Богу, могут спать спокойно.

После приема он, как обычно, спал сном невинного младенца. Она, как обычно, плохо засыпала.

Когда он только появился на мировой политической арене в качестве главы корпорации, иностранцы начали задавать этот сакраментальный вопрос: *кто вы, мистер Джо?* Он только посмеи-

вался. Наши подобного вопроса не задавали. Не потому, что им был известен ответ, а потому что несанкционированные вопросы у нас не приняты.

Да, он очень ловко ответил, что лодка утонула, подумала она, постепенно погружаясь в полудрему. И внезапно села на постели: сна ни в одном глазу, и только жар, заливающий лицо и грудь, как от нестерпимого стыда.

Эти приливы, в каких можно было заподозрить физиологию, на самом деле ни к какой физиологии отношения не имели. Имели – именно к стыду, который возникал едва ли не на пустом месте, но, имея привычку до всего докапываться и додумываться, она докапывалась и додумывалась и до причины стыда. Перед ней вдруг встали лица жен, враз сделавшихся вдовами, и особенно лицо той, чью истерику не могли остановить и, насильно выведя из зала, вкатили ей какой-то укол, от которого она сперва забилась, как птица в силке, а после обмякла, и ее унесли. Дружочек представила себе, как эта женщина видит победительную улыбку на лице человека, обманувшего, обыгравшего своего американского визави, как будто это всего лишь шахматная партия, где фигурки на доске – всего лишь деревяшки, а не люди, которые были, а потом их не стало, к чему он имел самое прямое отношение.

Она стыдилась за него.

### **Ночь (6). Вопрос**

– Ты не передумала? – глядя на нее тем испытующим, проникающим в самое нутро взором, от которого у нее всегда мурашки пробегали по коже, вдруг спросил он.

– Нет, – нашла в себе силы ответить она.

### **Чудодей**

Страна оплакивала своих погибших и радовалась новорожденным, разрушала и строила, клала в карман многомиллионные взятки и нищенствовала, роясь по помойкам, и ко всему он имел самое прямое отношение. Он ли устроил так, что отвечал за все, или таково было именно наше общественное устройство?

Его шеф, когда было невмоготу, отводил душу в беспробудном пьянстве.

Он – не пил.

Он скакал на лошади, шел гулять с любимой собакой, плавал. Изредка она видела, как он вышагивает по своему кабинету или по Новоогаревскому парку, и лицо у него при этом такое, за каким он не следил, хотелось подойти и разгладить его ладонями, но она не смела. И тогда ей казалось, что любой чиновник, который может подойти к нему, ближе ему, чем она.

Она отдавала должное его стоицизму. И когда случилось следующее несчастье, и к нему позвали матерей погибших при теракте детей, он также выдержал все. Их крики, их рыдания, их гнев напрямую в его адрес. Она видела по тому же телевизору, как он говорил с ними, поминутно оправляясь, поправляясь, подсакивая на стуле – о, как она знала это его выражение высшей степени волнения! – и клятвенно обещая, что во всем обязательно разберется.

Минуло несколько дней. Приглашенная в качестве почетного профессора Евразийского университета на научную конференцию, она случайно подслушала чужой разговор. Два голоса, мужской и женский, спорили между собой. В аудитории, построенной амфитеатром, она сидела сбоку и выше двумя рядами, так что собеседники не могли ее видеть. *Так или иначе, он их выслушал, и им стало легче оттого, что он их понял, пусть даже им это всего-навсего почудилось, говорил женский голос. Вот именно что почудилось, подхватывал мужской голос, это всем чудится, он же чудодей, чудодей и лицедей, пообещал прислать прокурорскую комиссию, чтобы проверить факты, которых якобы раньше не знал, хотя уже год работают всевозможные комиссии, год идет судебный процесс, год журналисты пишут, а президент только сейчас собрался проверить, как там все на самом деле, он что, страдает аутизмом, он в ауте, ничего не видит и не слышит?..*

Она почувствовала, как краска заливает ее лицо. Ей, как и говорившему мужчине, было ясно, что он давно во всем разобрался, и не только разобрался, он устроил все это, вынужден был устроить, потому что террористов надо уничтожать, а человеческие жертвы, какие случаются при этом, неизбежны, и неизбежны разговоры с родными жертв, что есть необходимая психотерапия, которая

не может помочь и не поможет этим несчастным, а все равно надо встречаться и говорить, говорить, говорить с ними, так, как умеет это делать он.

Она вспомнила, как он настойчиво допрашивал военных: *ведь вы не первые начали, первые начали они, ведь так, а вам пришлось только отвечать на их смертельную атаку!..* Он говорил это, вовсе не пытаясь узнать, как было, больше того, зная, что было не так, но пытаясь внушить им и всем, что было именно так. И они послушно кивали: *да, так оно и было. И отводили глаза.*

Независимые исследователи не только по минутам – по секундам восстановят детали трагедии. Тысяча сто двадцать восемь заложников плюс тридцать террористов внутри – и окружение бойцов *Вымпела* и *Альфы* снаружи. У кого не выдержали нервы? Кто начал первым? Кто отдал команду начать? Два взрыва прозвучали в 13.04 и в 13.05. Первые оставшиеся в живых описывали как фантастический белый огненный шар, пробивший крышу, после чего *загорелся воздух*. И жуткая подробность: *в нем кишели дети*. Специалисты подтвердят, что именно так срабатывает *шмель* – термобарическое оружие *альфовцев*. Второй взрыв произвела реактивная штурмовая граната. В 13.25 взорвалось самодельное устройство террористов, подвешенное ими в спортзале, где находилась основная группа заложников. Второе устройство не взорвалось. Начался пожар, и не оказалось воды, чтобы его тушить. Горела земля и горел воздух. Погибли триста тридцать четыре человека. Из них – сто восемьдесят шесть детей.

Вывод, к которому придут независимые исследователи: с самого начала готовилась не спецоперация по освобождению заложников, а войсковая операция по уничтожению боевиков.

Огромный боец *Альфы*, в пятнистом камуфляже и с автоматом за спиной, выносящий на руках голого ребенка, девочку, из ада, – до той минуты она смотрела этот фильм ужасов с сухими, воспаленными глазами, а увидев этот кадр, разрыдалась.

*Какие у вас отношения со смертью?*

Горела Земля и горел Воздух.

### Ночь (7). Удача

По знаку Зодиака она была Козерог, он – Весы. Она считала, что влияние разных стихий определяет вектор поведения каждого: его стихия – Земля, ее – Воздух. Оказалось, она ошиблась, все было ровно наоборот: она – земная, воздушный – он.

Ее волновало надмирное. Она складывала какие-то цифры, высчитывая нужный день для нужного начала, смотрела, дождь или ведро на улице, читала гороскопы, изучала совместимость их знаков. Обнаружив, что вместе они обладают громадной силой, торопилась сообщить ему. Он смеялся, если был в настроении: *ракета класса земля-воздух!* И раздражался, если ему было не до этих глупостей.

Когда она однажды сказала ему, что оба рождены под знаком лидерства, выслушал, потрепал по голове и сказал: *а теперь забудь об этом, потому что у нас один лидер, и это – я.*

Она подошла к окну.

– Дождь.

Он не расслышал:

– Что?

– Дождь.

– К удаче.

Когда они выходили или выезжали куда-то в дождь, она говорила: *к удаче.*

– Помнишь, я как-то раз сказала: меня нельзя бросить, меня можно только потерять.

– Не помню.

– У тебя же профессиональная память.

– Я пойду.

– Обожди.

– Тебе нужно выспаться, а то лицо будет как подушка, опухшее.

– Тебе-то какая разница!

– Я хочу, чтобы моя жена хорошо выглядела при любых условиях.

Она хрипло рассмеялась.

## Черный сентябрь

*Черный август* протянул свои щупальца в следующий месяц – получился *Черный сентябрь*. *Черный сентябрь* – называлась палестинская террористическая организация. Одно к одному, думала Дружочек, слушая по *Эху Москвы* новости, каких лучше было не слышать. Человек с бомбой, продолжала она думать, занимает все большее место на исторической арене вместо боевых порядков, тяжелых вооружений и сложной убойной техники, и противостоять ему могут только умные игроки типа ее мужа, они и востребованы историей.

9 сентября 2001 года ее муж позвонил Бушу-младшему и сообщил ему, что убит лидер антиталибского альянса, которого поддерживала Москва. *У меня, сказал Джоконда, тяжелые предчувствия, думаю, что это не единичный факт террора, грядут какие-то серьезные события.*

Чутье входит в природу разведчика. Буш-младший не был разведчиком, он был ковбоем, и потому лишен того чутья, каким обладал коллега. Но, может быть, коллега был хотя бы отчасти в курсе дела? Этого ни Дружочку, ни кому иному ведать было не дано.

По заимствованной у мужа привычке *не думать о секундах свысока*, дальнейшее изучила если не по секундам, то по минутам.

11 сентября борт номер один доставил президента США из Вашингтона в начальную школу имени Эммы Букер в городе Сарасота штата Флорида на встречу со школьниками. Начинался новый учебный год – ничто не могло помешать запланированному мероприятию. Во Флориде было утро, в Москве – ночь. Американский президент читал первоклашкам трогательную книжку *Домашний козленок*, когда в класс вошел чиновник, наклонился к уху президента и что-то прошептал. На часах было 8 часов 55 минут. Президент слегка закаменел. Чиновник удалился. Президент взял себя в руки и снова уставился в книжку. Но вскоре вошел другой чиновник и опять что-то прошептал в президентское ухо. Читать дальше Буш-младший не смог, было очевидно, что он ничего не видит перед собой: событие, о котором его проинформировали, было слишком чудовищно.

Террористическая атака на Америку выглядела так: в 8:46 ком-

мерческий авиалайнер, принадлежащий *American Airlines* и осуществлявший рейс 11, врезался в южную башню Всемирного торгового центра; в 9:03 второй авиалайнер, принадлежащий *United Airlines* и осуществлявший рейс 175, врезался в северную башню; третий врезался в здание Пентагона; четвертый упал в Пенсильвании. Башни-близнецы обрушились в таком порядке: южная – в 9:56, северная – в 10:28.

Установленные там телекамеры навсегда сохранили дьявольское кино, и телевизоры снова и снова воспроизводили его, и зрители от него не отрывались.

Жизнь начинает вести отсчет времени на мгновения с приближением или осуществлением смерти. До того – *делу время, потехе час, счастливые часов не наблюдают* и тому подобные житейские премудрости. Шестьдесят полновесных секунд, составляющих минуту, можно насытить чем угодно. Поздороваться или попрощаться, засмеяться или заплакать. А можно позвонить по бортовому телефону в офис авиакомпании, как это сделала стюардесса 11 рейса Бетти Онг в 8:19, чтобы сказать: *кабина пилотов не отвечает, кто-то ранен в бизнес-классе, я думаю, они применили слезоточивый газ, мы не можем дышать, я не знаю, это выглядит так, как будто мы захвачены...* Или как стюардесса 175 рейса Эми Свини, позвонившая в свой офис в 8:44: *что-то не так, мы быстро снижаемся*. В 8:45 она еще сказала: *я вижу воду, я вижу здания, я вижу здания...* В 8:46: *мы летим низко, мы летим очень-очень низко, мы летим слишком низко...* И в 8:47: *о, Боже!.. Все.*

Неоднократно слышала Дружочек и читала, что бывших гэбистов не бывает. Будучи лицом, близким к ним, она небольшое могла сказать по существу, возможно, как раз в силу чрезмерной близости. Единственное, что примечала, как бы продолжающееся наблюдение за ней. Надо было внезапно обернуться, чтобы поймать этот острый, испытующий взгляд, который тотчас убежал, прятался в веки как в норку, как убегает и прячется в норку зверек, какого застали на опушке леса. Зато она отлично знала, что не бывает бывших стюардесс. Небо не отпускает. Что-то происходит с человеком, отчего его отношения с небом входят в его отношения с жизнью.

Я думаю, что в таком случае у меня будет слишком много работы и времени на испуг не останется...

Холодея от ужаса, Дружочек была там, внутри, в этих дьявольских снарядах смерти, где были Бетти Онг, Эми Свини и все остальные стюарды и стюардессы, и все пассажиры.

В самолетах и в башнях-близнецах будет в одночасье убито свыше трех тысяч человек. Что там испанская Герника времен Второй мировой! Хабрахабр. Язык Ада.

Джоконда был первым из высокопоставленных лиц, кто позвонил в Белый дом. Его фразу цитировали все мировые СМИ: *я хочу, чтобы вы знали, что в этой борьбе мы с вами*. Буш-младший этого никогда не забыл. И Дружочек не забыла. Она знала про счастливо сложившиеся товарищеские отношения между ним и Бушем. *Он к товарищу милел людскою лаской, он к врагу вставал железа тверже*.

Она любила его.

Она любила его в час высокой трагедии, так же, как в час стыда, разделяя его эмоции. А то, что они у него имелись, знала, как никто другой.

### **Собака**

Собака лежала на своей стеганой шерстяной подстилке и плакала.

Из ее темных прекрасных глаз бежали самые настоящие слезы.

Второй день не подходила к миске с едой, только пила. Ее шелковистая

черная шерсть потускнела, сделалась какой-то пегой, и вся она поскучнела и стала никакой. Напрасно девочки приносили ей самые любимые ее лакомства: кусочек куриного мяса в свежесваренном бульоне, сахарную кость из говяжьего бульона, сладкие кусочки дыни, грейпфрута и киви, какие обычно она уписывала за обе щеки. Сейчас она нехотя их нюхала и отворачивалась, как будто это было не лакомство, а какая-нибудь дрянь. Дружочек щупала ей нос – нос был горячий. Пришлось приглашать ветврача.

Джоконда звонил, спрашивал, как собака – он всегда спрашивал про собаку, в этом не было ничего удивительного. Но сейчас ей казалось, он что-то чувствует на расстоянии, и, не желая огорчать его, с преувеличенной бодростью докладывала, что все в порядке, все как обычно, собака его ждет.



В семье любили собак. Их было четыре штуки по очереди. Последняя прикипела к ним особенно. А больше всех прикипела она к нему, своему хозяину.

Врач поставил термометр, послушал сердце, легкие, сказал, что ничего опасного не находит, надо подождать пару дней, может быть, болезнь проявится, а пока во всех случаях последить за стулом, возможно, псина съела что-то плохое. *Что плохое она могла съесть при таком пригляде за ней*, с недоумением спросила она. А врач, в свою очередь, спросил: *давно ваш муж уехал?* – *Пять дней*, подсчитала она. *Возможно, она так скучает по хозяину, что у нее ослаб иммунитет, и к ней могла прицепиться любая зараза*, сказал врач. Дружочек и сама подозревала что-то в этом роде, но вслух не высказывалась: над ее романтизмом и так все подшучивали.

Джоконда позвонил тем же вечером и велел ей включить скайп – он захотел взглянуть на собаку по скайпу. И тут она окончательно уверилась, что между ним и собакой существует особенная связь. *Что с собакой*, спросил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. *Я думаю, она так скучает по тебе*, ответила она и прибавила: *а ты скоро вернешься?* Обыкновенно она ему подобных вопросов не задавала. Ей либо сообщали это по протоколу, либо вообще ничего не сообщали. Она теперь почти не ездила с ним – такая практика сложилась постепенно, но она сложилась, и не ей было ее менять. *Знаешь, я сам как-то уж чересчур по ней скучаю*, неожиданно проговорил он, и голос его дрогнул.

А через час приехал посыльный и сказал, что забирает собаку – ее отправляют к нему спецбортом.

Кастелянша, менявшая постельное белье, не поднимая глаз, сказала: *говорят, ее к нему отправили*. Дружочек решила, что кастелянша имеет в виду суку. *Я не про суку*, покачала головой кастелянша, вкусно вбивая одеяло в хрустящий пододеяльник, *хотя кто она есть, сука она и есть*.

В тот же день кастеляншу рассчитали.

Собака в тот раз выжила.

## Роза и Клара

Пятичасовой чай, ежегодно устраиваемый Дружочком в честь Розы и Клары, прямо сказать, удался. Было не так скучно, как обычно. Обычно круг приглашенных ограничивался номенклатурными женами. В этом году она составила список, куда вошли Кинорежиссерша, Поп-дива, Музыкантша, Художница, Политологиня.

Писательница, маленькая, ледащая, в больших темных очках, скрывающих половину лица и, стало быть, половину морщин, с коротко стриженной седой головой, с преувеличенным чувством собственного достоинства, что-то рассказывала собравшимся. Последним словом, которое уловила незаметно вошедшая Дружочек, было слово *жопис*. *Что-что*, не чинясь, засмеялась она. Все осторожно засмеялись тоже. *Жопис – жены писателей*, объяснила Писательница. *Тогда можно сказать и жоперли*, сообразила Дружочек. Собравшиеся слегка напряглись. Она расшифровала: *жены первых лиц*. Тут уж все зашлись смехом, и атмосфера, потеряв напряжение, приобрела простоту и дружественность. Актрисе, веселой, большой, толстой и, при всей толщине, не лишенной изящества, она сказала, что видела ее в *Линии жизни* на канале *Культура* и глаз не могла отвести, а уж когда та начала читать стихи, и особенно любимые ею *Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король*, у нее глаза сделались на мокром месте. Актриса басом сказала *спасибо* и склонилась в шутовском полупоклоне, смягчая шутовством пафос оценки. Все опять засмеялись. Задержав в своей руке руку Кинорежиссерши, тоже веселой и толстой, Дружочек сказала, что сегодня, в противовес грубой пошлятине, которая насыщает экран, особо востребован тот умный юмор, которым, слава Богу, наделены ее фильмы. *Вы не пишете рецензий*, спросила Кинорежиссерша, делая лукавый глаз, *а то написали бы, право*. И эта реплика вызвала одобрительную реакцию окружающих. Приблизившись к рыженькой хорошенькой Музыкантше, с искренним или почти искренним изумлением Дружочек воскликнула: *Боже, какая вы молодая!* – *От такой слышу*, не задержалась с ответной репликой та. И снова веселый смех раскатился по уютной чайной комнате.

Дружочек позвала всех к столу, сервированному тонким фарфором, хрусталем и серебром. Стали рассаживаться. В хрустальных

розетках скромно поблескивала красная и черная икра, ломтики розовой ветчины нежились на фарфоровом блюде, по соседству на таком же блюде располагался красный ростбиф, сортов пять-шесть всевозможных сыров возлежали на сырнице (салют детству!) глаз дразнило изобилие фруктов и ягод, собственно к чаю предлагались мед, варенье, шоколад, конфеты и птифуры. Никто ничего практически не ел, только аккуратно пригубливали чай с какой-нибудь небольшой клубничкой или конфеткой.

*Нет, правда*, проговорила Дружочек, усаживаясь поудобнее и кладя рядом с собой смартфон, с которым пришла, *вечером включаю ящик, а там реклама: татуаж – стильный атрибут индивидуальности и шика, – то есть индивидуальность в самом пошлом, ну что вы на это скажете!* Сказать на это никто ничего не сказал, только Поп-дива сделала безучастное лицо, а Журналистка охотно чуть не подавилась от смеха.

По сути, тема пошлости *ящика* являла собой такую же пошлость, что и сам ящик. Но Дружочек и не собиралась кормить ею гостей. Предмет годился как заправка к разговору, всего лишь.

*Я тут читала один немецкий источник о Розе и Кларе, предложила она настоящую тему, на самом деле очень интересные дамы.* Все молчали, выжидая. *Две мужеподобные особы боролись за женские права, без улыбки бросила молчавшая до того Художница, сама мужеподобная, с сильными, почти мужскими руками. Не-не-не, отрицательно замотала головой Дружочек, хотите, расскажу?* Естественно, все захотели.

Роза и Клара, называла она слегка иронически, но и дружелюбно двух дам, о которых, конечно, все давно позабыли, что они там наделали, но которые регулярно предоставляли свои имена для спайки женского рода на всех континентах в восьмой день весеннего месяца марта, эти революционные женщины ходили в начале века в длинных платьях и таких же пальто, одна в большой фуражке, напоминающей грузинский мужской головной убор по кличке *аэродром*, вторая в шляпке, фотографировались друг с другом, но и с мужчинами тоже, – если кто-то думает, что они были муженавистницы, отстаивающие исключительно женские права, то это глубокое заблуждение. Там у них по линии мужчин было все очень даже любопытно. Клара, когда ей стукнуло сорок, влюбилась в двад-

цатидвухлетнего студента, которого звали Георг Фридрих Цундель. Он, со своей стороны, влюбился в нее и, более того, позвал ее замуж. Георг Фридрих был неплохой портретист и сколотил некоторое состояние на писании заказных портретов. И если кто-то думает, что, занятые исключительно революционными делами, они бедствовали, то это также глубокое заблуждение. На сколоченные деньги супруги приобрели дом в Штутгарте, видом из окон которого в свое время будет любоваться не кто иной, как Ленин Владимир Ильич. К дому прикупили еще и авто, на котором рассекали в видах распространения революционных идей. Но в 1914 году, как раз к началу Первой мировой, они расстались. На идеологической почве. Клара была против войны, а Георг Фридрих за и даже, назло Кларе, вступил в действующую армию. Он потребовал развода, но не получил. Клара дала ему развод, только когда ей было уже за семьдесят, и он тут же женился на своей любовнице. А двадцатидвухлетний сын Клары от первого брака по имени Константин стал любовником тридцатишестилетней Розы, из-за чего между Розой и Кларой случилась длительная и жестокая ссора. Но когда Клара и Георг расстались, Роза и Константин расстались тоже. И тогда Клара с Розой помирились. Роза была казнена в 1919 году в Германском рейхе. Клара, жившая в санатории в Архангельском под Москвой, умерла в 1933 году и похоронена у Кремлевской стены. Когда она умирала, последнее слово, которое она вымолвила, было *Роза*.

Дружочек умолкла. Все молчали – рассказ произвел впечатление. *Вы не пишете сценариев, опять сделала лукавый глаз Кинорежиссерша, а то написали бы, а я бы сняла кино. И снова все рассмеялись.*

Языки развязались, и даже разыграл аппетит: понемножку пошла в ход красная и черная икра и кое-что остальное.

*Вы хорошо рассказываете, одобрила Дружочка Поп-дива, самая молодая здесь и самая неформальная. Все были так или иначе принаряжены, она одна была в широких неглаженных брюках и пиджаке, надетом прямо на голое тело.*

*Я же профессиональный преподаватель, сказала Дружочек, с симпатией глядя на неформальную девушку. Девушку хотели вернуть именно из-за ее уж слишком неформального костюма, она, со своим колючим характером, заартачилась, дело грозило скандалом,*

но, когда об этом доложили Дружочку, она сказала коротко: *пропустить*. И Поп-диву пропустили. *Я слышала вас только по телевизору, но, если вы позовете меня на свой концерт, я с удовольствием приду*, улыбнулась Дружочек Поп-диве. – *Считайте, что уже позвала*, улыбнулась Поп-дива ответно и стала простой и милой.

Много было произведено позитивной энергии тем вечером.

*А теперь я приведу вам одну маленькую выдержку*, сказала Дружочек и открыла свой смартфон. И вот что прочла собравшимся:

С подавлением свободной политической жизни во всей стране, жизнь и в Советах неизбежно всё более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений, жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится только подобием жизни, при котором только бюрократия остаётся действующим элементом... Господствует и управляет несколько десятков энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее выдающихся людей и только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрания для того, чтобы аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции. Таким образом — это диктатура клики, несомненная диктатура, но не пролетариата, а кучки политиканов.

Дружочек отложила смартфон.

Политологиня сделала стойку. *Что это*, спросила она с охотничьим блеском в глазах. *Это статья Розы, написанная ею в восемнадцатом и изданная в двадцать втором, уже после ее смерти, о том, во что выльется подавление свобод так называемой диктатурой пролетариата*, пояснила Дружочек.

*Вы понимаете, что вы прочли*, осипшим голосом поинтересовалась Политологиня.

*А вы*, поинтересовалась Дружочек.

И опять все засмеялись.

*А он*, раздался голос Писательницы в неожиданно наступившей тишине, *он это понимает?*

*Он понимает все лучше нас с вами*, спокойно ответила Дружочек.

Она знала, что за этим вопросом последует другой: а если понимает, почему ничего не меняет? Но вопроса не последовало.

Она широко развела руки: *вы совсем ничего не едите, ешьте, пожалуйста, а я попрошу свежей заварки.*

Скоро все было сметено со стола.

### **Ночь (8). Истерика**

– Где все будет происходить? – спросила она, стараясь, чтобы голос не дрожал.

– Утро вечера мудренее, – сказал он. – Есть несколько вариантов, завтра с утра уточнят, тебе скажут.

Кефир был выпит. Она держала в руках пустой стакан. И вдруг со всей силой бросила его об стену. Он разбился, осколки разлетелись в разные стороны.

– Только не устраивай истерики, – ледяным тоном проговорил он.

### **Поварское дело**

Когда он впервые привел ее к своим, и после начальных церемоний все сели за стол, она, смущаясь, положила что-то себе на тарелку и это что-то оставалось нетронутым, пока его мать, искоса наблюдавшая за ней, не спросила: *что ж вы ничего не едите, вам не нравится? Нравится*, поспешно откликнулась она и стала тыкать вилкой в тарелку. *Если гости, он сам все готовит*, сказала женщина, кивая в сторону мужа и явно гордясь им.

Немного освоившись, гостя распробовала и селедку под шубой, и винегрет, и холодец, и пирожки с визигой, и ей, действительно все очень понравилось. Женщина сказала, что это у мужа наследственное: отец его был профессиональный повар, готовил для высоких кремлевских чиновников, включая самих Ленина со Сталиным. Когда дело дошло до имен, Дружочек аж поперхнулась. *Что же ваш сын ничего такого не унаследовал*, смело пошутила она, уже знавшая, что готовка – не по его части. *А я устроюсь так, чтобы не мне готовить, а чтобы для меня готовили*, так же смело пошутил он. Дружочек зарделась. Она решила, что он указывает ей на ее грядущее место у плиты. Отец, лучше знавший сына, рассмеялся: *у нас далеко идущие планы.*

В какой-то исторической книжке ей попадет письмо Федора Раскольникова Сталину. Написанное в 1939-м году, оно поразит ее. Она станет читать, и щеки ее вспыхнут, так же, как они вспыхнули за тем ужином тридцать лет назад.

*Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку...*

*Испугавшись свободы выборов, как прыжка в неизвестность, угрожавшего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь себя самого...*

*Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!..*

*Вы растлили, загадили души ваших соратников...*

*С жестокостью садиста вы избиваете кадры, полезные, нужные стране. Они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры...*

*Вы – повар, готовящий острые блюда, для нормального человеческого желудка они несъедобны...*

Нет, речь шла не о сходстве или подобии. Ни в коем случае. Другая историческая ситуация. Другая индивидуальность. Все другое.

А некая рифма бесконтрольно травила душу.

### ***Гуси-лебеди***

Маленькому ему мать рассказывала сказку *Гуси-лебеди*.

Жила-была семья. Двое родителей и двое детей: мальчик и девочка. Девочка постарше, мальчик помладше. Вот раз собрались родители на рынок прикупить провизии и наказывают девочке: со двора не отлучайся, приглядывай за братцем, кабы чего не вышло. И уехали. А чего опасались, то оно и вышло. Отлучилась сестрица со двора, заигралась в свои девичьи игры, а тут возьми, да и налети гуси-лебеди, и унесли они братца за тридевять земель, тридевять морей, в тридевятое царство, в тридесятое государство, непосредственно принадлежащее Бабе-Яге.

Малыш, до той минуты слушавший кое-как, можно сказать, невнимательно слушавший, с появлением гусей-лебедей обыкновенно

вцеплялся в руку матери и просил что-то типа: а вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. И мать всякий раз сочиняла, что там просматривалось под крылом дивных птиц.

Малыш не жалел ни братца, ни сестрицу, ни их папу с мамой, потерявших на время свое чудо-юдо, – он не отождествлял себя с ними, как сказали бы нынче ученые знатоки. Он хотел, он просто жаждал действовать вместе с захватчиками, быть одним из них, и, может быть, не рядовым в стае, а возглавлять стаю.

Стерхи – не гуси. И даже не лебеди. Это такие особенные редкостные белые журавли. Их и осталось всего-ничего, и чтобы сохранить популяцию эндемиков, их выращивают в неволе, в Окском биосферном государственном заповеднике. Но дальше их необходимо вернуть в естественную среду обитания. А как? Они летят на зимовку за вожаком, за старшим, однако в заповеднике старших нет, все одного возраста. Таким вожаком становится человек. Сначала журавликов приучают к человеку как таковому, для чего обряжают последнего в белый маскировочный халат, а в руку дают муляж головы стерха, чтобы маленький подумал, что это такой же стерх, только взрослый. Походило на сказку.

Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Дело сделалось, когда посреди знойного лета в специальном летательном аппарате, мотодельтаплане, с муляжом головы стерха на левой руке, в полет отправился Джоконда, увлекая за собой стаю молодых птиц, и переживание его было сродни тому детскому счастливому переживанию. Никто так до него не летал – летал итальянец Анджело Д'Арриго, погибший в 2006-м году в полете, но тот был ученый-исследователь специально по этому делу, и наши исследователи тоже летали, но вот гражданские люди, а тем более люди столь высокого полета, – никогда.

Стерхи перекликались чистыми, колокольчиковыми, серебряными голосами, как будто пели, и ему хотелось петь вместе с ними.

Он летал на вертолете и в самолете в качестве пилота, он ездил на танке, он мчался на лыжах с вершины гор – он обожал все экстремальное, и вырабатываемые его организмом эндорфины исправно несли свою службу опьянения, – ничего похожего до той поры он не испытывал. Счастье сокрушило его с такой силой, что он мог бы, пожалуй, и умереть.



Она знала за ним это мальчишковое, и влага материнского чувства выступила у нее на глазах, когда увидела его в телеящике – реальный образ грозил окончательно заместиться виртуальным.

Потом сплетничали, что один стерх погиб, попав под крыло мотодельтаплана, что на всю затею потрачены большие деньги, а из затеи ничего путного не вышло.

Вышел триумф мотодельтапланериста. И мотодельтаплан он вроде купил на свои деньги, а что не внес в налоговую декларацию, так это он на другой год должен был внести.

Кто-то из журналистов спросил его, какие чувства владеют им *на троне*. Он ответил, что сначала был сплошной долг, но с некоторых пор он вошел во вкус. *Надо получать удовольствие от процесса*, сказал он, *мы живем каждую секунду, и эту секунду никогда не вернуть*.

Все тот же принцип не думать о секундах свысока. Но это, если думаешь о секундах своей жизни. А чужой?

### ***Ночь (9). Еще вопрос***

– Если ты считаешь, что я делаю это из-за твоей бабенки, ты глубоко ошибаешься, – сказала она.

– Мне глубоко наплевать, из-за чего ты это делаешь, – бросил он и пошел к двери.

– Постой, – сказала она. – Мне надо тебе кое-что сказать.

Он остановился.

– Не слишком ли поздно?

### ***Крошка Цахес***

*Гуси-лебеди* любящая мать ему маленькому рассказывала, *Крошку Цахеса* – нет.

Он прочитал сказку Гофмана уже взрослым, в первую же свободную минуту, узнав, что в облике этого персонажа его покажут на четвертом канале в *Куклах*. Ему потребовался первоисточник, чтобы определить степень хамства этих журналюг.

История про то, как добрая фея Розабельверде, проникшись жалостью к уродцу Цахесу, осуществляет колдовство, в результа-

те которого большинство окружающих перестает замечать его душевное и физическое уродство, а напротив, всячески демонстрирует свою приязнь, – история эта осталась за пределами передачи. Как и то, что уродец обольщал профессора Моша Терпина и его дочь Кандиду, на которой решил жениться. Уродцу противостоял влюбленный в Кандиду студент Бальтазар, вкупе с рядом деятелей культуры, а также чужестранцев. Читая это, Джоконда усмехнулся про себя: студенты, интеллигенция, Запад – все одно и то же. И омерзительный конец: пытаюсь избежать справедливого возмездия за свои злодеяния, герой попадал в горшок с фекалиями и в них тонул.

Слава Богу, ничего этого в программе *Куклы* не было. Был весь политический бомонд – этих журналюги высмеивали в первую очередь. Обидной была только реплика сморщившегося куклы-шефа, склонившегося над детской коляской, в которой лежал кукла-Цахес: *ох, до чего же непривлекательный!..* Скрыл обиду даже от самого себя. Но запомнил, конечно.

Дружочек смотрела передачу одна. Не своими – его глазами. Она слишком хорошо его знала. Она знала, что весь его спорт, все преодоления себя – борьба с глубоко запрятанными комплексами, в том числе связанными с внешностью, и страдала, когда ему наступали на большую мозоль. Еле дотерпев до ночного кефира, она встретила его взволнованным: *нельзя спускать им с рук эту гадость!* Он обратил к ней взор, исполненный равнодушия: *какую гадость?*

И в который раз она поразилась его выдержке.

*Пойдем спать*, сказал он спокойно и зевнул, поднимаясь.

Прозвище Крошка Цахес приклеится к нему.

Он закроет канал через два года, установив контроль и над другими центральными каналами.

Взять почту, телефон, телеграф – ленинские задачи столетней давности.

Ныне довольно было овладеть одним-единственным – телевидением.

## Розовое море

Я сочиняю этот роман из моей жизни в сумасшедшем запале. Исповедуюсь, привираю, фантазирую, ничего не боюсь и всего боюсь. Какая-то струна дрожит во мне, будто я должна успеть все сказать, пока меня не остановили. Кто? Кто может меня остановить? Спецслужбы? Он?

Но я пишу это в стол, как говорили когда-то, когда свирепствовала цензура, и любое вольное слово было под запретом.

Собственно, Россия никогда и не знала по-настоящему вольного слова. Герцен организовал вольную типографию. Но это произошло не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Лондоне.

Лондон – притягательное место для всех русских во все времена. И сейчас там сосредоточились те, кому не нашлось места в нынешней России. Слишком свободолюбивы? Или слишком жулье? Он прищемил им хвост. Каждый действовал из своего эгоистического интереса. Он – исходя из интересов большинства, сам из этого большинства. И он, и я – интеллигенты в первом поколении, и этим многое объясняется.

Я мешаю временные пласты. Я вру сама себе. Я пытаюсь быть следователем, судьей и защитником одновременно.

Я подхожу к зеркалу своей легкой, летучей походкой. Но где там! Надо сказать себе честно: мои ноги отяжелели, мой красивый рот кривится в иронической усмешке, мои щеки в красных пятнах. Отечные ноги, отечное лицо несчастливой женщины.

Если бы на его месте был человек с другим характером, выиграла бы корпорация или проиграла? Когда сумма количественных данных привела к изменению качества?

Я смотрю в зеркало, как в зазеркалье, словно оттуда выскочат ответы на все вопросы.

Мама моя, куда все подевалось? Когда счастье преобразилось в несчастье?

Радиостанция *Серебряный дождь* передает романс Вертинского:

*Над розовым морем вставала луна,  
Во льду зеленела бутылка вина.*

*И томно кружились влюбленные пары  
Под жалобный рокот гавайской гитары...*

*Послушай... О, как это было давно,  
Такое же море и то же вино.  
Мне кажется, будто и музыка та же.  
Послушай, послушай... мне кажется даже...  
Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой,  
Мы жили тогда на планете другой...*

*Люблю романсы.  
Мы жили тогда на планете другой.*

### **День рождения**

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей, дохнул последний хлад.

Он собирался отметить свой пятьдесят четвертый день рождения в Питере. Мужчина в самом расцвете сил, как говорил сказочный Карлсон, живший на крыше.

День был воскресный. Градусник показывал одиннадцать градусов. Давление 749 миллиметров ртутного столба. Северо-восточный ветер, два метра в секунду.

Мальчуган лет четырех в цветных сапожках и пестром дутике бежал за своей поспешавшей мамашей и говорил в детскую книжку, прижатую к уху, как в мобильный телефон: *зайдите завтра в поликлинику, обязательно, мы вас ждем.* Дурно покрашенная парикмахерша красила голову другой парикмахерше, за отсутствием клиентов, и обе обсуждали какую-то Вальку, судя по всему, третью их товарку, которую избил муж, а как не избить, когда та меняла любовников как перчатки. Старик молол в старой кофемолке сухие цветки липы в тщетной борьбе с холестерином. Бешено выскакивавший в час пик из тоннеля метропоезд в нужный момент успевал затормозить, чтобы выплюнуть очередную порцию пассажиров из переполненных вагонов и набрать новую, среди выплюнутых – девчушка с рюкзачком на спине, зажатым пневмодверьми, оттого ехала лицом к толпе, спиной к дверям, а потом двигалась в людском пото-

ке к эскалатору, ни на мгновение не отрываясь от толстой книги, которую читала, на обложке значилось: *Монтень Опыты*. Женщина у себя в квартире смотрела сквозь стекло на ворону, усевшуюся на подоконнике, а ворона смотрела на нее, время от времени важно каркая, словно сообщая некую новость, вполне возможно, что так оно и было, только распознать эту новость мог лишь тот, кто понимал птичий язык и сам разговаривал на нем. Бородатый хирург, растянувшийся в любимой позе на диванчике в своем крошечном кабинете, раскуривал трубку, с удовлетворением вспоминая, как иссекал кусок больной человеческой плоти, и тот шмякнулся в кювету, издав звук наподобие того, с каким шмякается на весы кусок убойны, который продавщица отрезала для покупателя. Юноша в закрытом бассейне ставил олимпийский рекорд, но то была тренировка, а поддастся ли ему олимпийская вода, никто с точностью не мог бы предугадать. Собрал до кучи старые пожухлые листья, загородные жители жгли костры, готовясь к зиме. Китайский гражданин высаживался в аэропорту в Шереметьево по своим китайским делам, но кроме дел в его планах было еще безделье, потому что он учился когда-то в Москве, и у него оставались здесь друзья, и он охотно водил их в китайские рестораны и угощал китайской едой, запивая китайской водкой, как бы дружески готовя их и готовясь сам к общему будущему. Наглый старшекласник впаривал погибающей от насморка училке свое прочтение великого русского романа, которого не читал. Моложавый бомж с физиономией, не лишенной приятности, сидя на решетке метро, откуда шел теплый воздух, здоровался с каждым из редких прохожих, на что одни охотно отвечали, а другие выражали недоумение, а то и неудовольствие. Внучка писала бабушке письмо: ты пришли мне свою книжку, а я пришлю тебе свою, мы ведь ПИСАТЕЛИ! Седой толстяк, пересекая утлую комнатенку по диагонали, бормотал одну и ту же фразу: октябрь уж наступил средь пришлых нас, – так он сочинял стихи, он был поэт.

Жизнь проистекала в миллиардах жизней, дробилась на осколки, мелькала, мельгешила, мельчала, и было невыразимо грустно знать, что и это пройдет не запечатленным.

По гороскопу, с чем частенько сверялась Дружочек и чего терпеть не мог Джоконда, это был 15-й Лунный день – день искушений, день развилки, когда большое значение имела реакция на те или

инные значимые события, из чего проистекал дальнейший путь. Гороскоп предупреждал, что велика вероятность осложнений с ближним окружением.

В Питере все было готово к празднованию, когда пресс-секретарь сообщил, что в Москве в подъезде дома номер восемь по Лесной улице застрелена известная оппозиционная журналистка. Возможно, кто-то таким образом хотел преподнести своему обожаемому лидеру подарок на день рождения, и он даже догадывался, кто.

Ждали его реакции. Она последовала. *Это убийство само по себе наносит действующей власти в России гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации, процитировали его все СМИ.* После того, что говорила о нем журналистка, можно было оценить его великодушие. Так хотелось думать Дружочку. Она читала ее высказывания. Одно: *я часто думаю, человек ли он вообще или железная, мерзлая статуя, думаю и не нахожу ответа, что человек.* Другое: *он, случайно получив власть в свои руки, распорядился ею с катастрофическими для России последствиями, и я не люблю его, потому что он не любит нас, он не переносит нас, он презирает нас.*

Прямо. Грубо. Несправедливо.

В самом деле несправедливо?

В блогах попалась запись:

*Лидер высказался в том роде, что, каковы бы ни были мотивы, это омерзительное по своей жестокости преступление. Я думал: что-то не так в его словах. И понял – что. Между словами: каковы бы ни были мотивы – и последующими есть логический пропуск: даже самые лучшие мотивы. Или: самые понятные мотивы. Лидер не высказал соболезнования, сострадания, он только сказал, что она была оппонентом власти, имела мало политического влияния, и ее убийство нанесло России и государственной власти больший урон, чем ее статьи. Кому он это объяснял? Убийцам? Тем, кто заказал убийство? Сочувствующим им? Я не был готов к тому, что Интернет окажется полон заявлений людей, которые получили удовольствие от этого убийства. Их – большинство! Говорил с А.П., спросил, чем он это объясняет. Он сказал коротко: это и есть его Россия. Мы ретиво движемся в сторону фашизации и изоляции. Может быть, это уже и нельзя записывать.*

Праздника новость не испортила. Исправно, даже слишком исправно, можно сказать, старательно, пили и ели, чокались, поднимали тосты, отмечали достижения, признавались в любви и уважении. Соревнуясь друг с другом в искренности, как всегда, слегка перебирали. Впрочем, кто же на празднике не перебирает. Он улыбался своей знаменитой улыбкой, зная цену каждому. Жена, нарядная, скромная, открытая, стояла в сторонке и избегала смотреть на него. Как бы то ни было, он и в этом случае, как и в случае с подводной лодкой, и в случае с погибшими школьниками, озабочен был, в первую голову, не произошедшей с людьми бедой, а своей репутацией. Да, так, и нечего врать себе, что того требует место, на котором он отныне находился. В человеке должно оставаться человеческое, на любом месте.

Кто-то предложил тост за нее как за верную подругу. Она зарозовела и отмахнулась: *это его, а не мой праздник*. Что-то безнадежное осложняло их отношения, что не поддавалось формулировкам, и только тень печали изредка набегала на ее лицо – он, занятый делами поважнее ее печали, ничего не замечал.

Она сама сделала свой выбор – чего же печалиться.

### ***Ночь (10). Рукопашная***

*Я один, все тонет в фарисействе.*

Строчка из Пастернака не отвязывалась, как пришитая.

– Я задумала свой уход... – начала она.

Он изобразил обидную гримасу:

– Только, пожалуйста, не строй из себя Льва Толстого.

– Никого я из себя не строю...

Она сжала кулаки так, как если бы приготовилась к рукопашному бою.

### ***Федор***

Внешность Джоконды, если честно, не была безукоризненной. Она помнила, каким бесцветным показался он ей с первого взгляда. Что-то произошло с ее зрачками при втором взгляде: проявилась харизма, которая несомненно в нем была, вопрос о том, хорош он или нет, отпал сам собой, она влюбилась.

С появлением в их общем поле зрения Федора вопрос втайне обновился. Не то, чтобы она сравнивала их, таких глупостей она себе не позволяла, не девочка, но Федор объективно был уж очень хорош. Интеллигентное, умное лицо, чистая кожа, яркий румянец, белозубая улыбка, лучистые темно-карие глаза в длинных ресницах – такие, верно, были у княжны Марьи в *Войне и мире*, о чем Толстой не уставал напоминать. У Джоконды тоже было умное лицо, но зловещая тень, какая на нем изредка появлялась, портила его. Когда он только-только возник на экране, муж подружки Дружочка, физиономист, бросил: *с этим парнем мы еще наплачемся*.

Джоконда пару раз перехватывал взгляд, какой Дружочек бросала на Федора, забыв о самоконтроле. Нет, никакому чувству тут места не было – была объективная привлекательность красивого мужского экземпляра, и только. Этого было довольно, чтобы включился инстинкт Джоконды. Речь не шла о ревности. Или, во всяком случае, не о банальной мужской ревности. Что-то более глубинное заворочалось в нем, как в доисторическом животном, и Дружочек это отметила.

Федор занимался нефтью. Как раньше занимался компьютерами, джинсами, алкоголем, банковскими делами и всем таким, чем стали заниматься умные и удачливые люди – подобным занимался в свое время и сам Джоконда.

Когда при дачном пожаре у Джоконды сгорели все накопления, он задумался о своих отношениях с деньгами. Он хотел денег. Он хотел много денег. Не ради них самих, не как скупой рыцарь, перебирающий свои сокровища наедине с собой. А ради статуса. Ради возможностей, какие в них заложены. Он был знаком с людьми, у которых не сложились отношения с деньгами. Эти люди часто жаловались, что деньги к ним не пристаю, не любят их. А дело заключалось в том, что это они не любили деньги, не любили зарабатывать, не уделяли деньгам должного внимания, и те отвечали им взаимностью. Деньги любят ласку. При этом важно, чтобы не они властвовали над вами, а вы над ними. И если так вышло, что вы их потеряли, надо зайти с другого боку, и они появятся вновь. Он любил деньги.

У Джоконды с Федором было немало общего. Оба умны, сообразительны и удачливы. Разница состояла в том, что Федор не был специалистом по человеческим отношениям, а Джоконда был. Фе-



дор хуже понимал людей, считая, что логика может и должна править миром. Джоконда логике не доверял, собственно, как и людям. Симпатизируя внешне друг другу, на самом деле оба, хладнокровные и расчетливые, были настоюще. Деньги и власть, власть и деньги – не было ничего увлекательнее этой мужской игры в крестики-нолики, где ноль было то, во что могло все превратиться, а крест, наградной или могильный, ждал в конце пути.

Случайно Дружочек попала на открытую лекцию, которую Федор читал школьникам. Хотела уйти – и не ушла. Осталась послушать – и заслушалась.

Персидское слово *нефть*, говорил Федор, восходит к месопотамскому *napatum*: вспыхивать, воспламеняться. *Нафта* у народов Малой Азии – просачиваться. Нефть – черная кровь, текущая в жилах Земли. Черное золото, текущие интересы, текущие счета, текущий момент – слова эти нынче в словарном запасе чуть ли не каждой семьи. Кто и что там, в преисподней Земли? Живое или мертвое? Вещество или существо? Красная кровь, текущая в жилах человека, дает жизнь человеку. Черная кровь, текущая в жилах Земли, дает жизнь цивилизации. Говорят, что нефть несет в себе угрозу. Но однажды она уже оказала услугу человечеству: когда праведник Ной просмолил нефтью свой ковчег, и те, кто были в ковчеге, спаслись. Мать будущего пророка Моисея осмолила корзину младенца, и тот не утонул в водах Нила. Древние греки обогревали нефтью жилища. Древние египтяне бальзамировали ею фараонов. В средневековой Европе москательщики смешивали нефть с олифой, чтобы краске лечь ровным слоем. Забавная футурология: в XVII веке прозвучало смелое пророчество, что когда-нибудь чудо-жидкость послужит для смазки тележных осей! Близился нефтяной бум. Уже зажглись на улицах Санкт-Петербурга три тысячи уличных керосиновых фонарей. Уже Менделеев выступил перед русскими предпринимателями с речью: вновь вам указывает на большое наживное дело тот, кто давно следит за судьбой русской нефтяной промышленности, вам, господа русские капиталисты, предстоит осветить и смазать Европу, разделить эту службу с Америкой да по пути превратить четырехкопеечный продукт в пятирублевый, отчего пристанет кое-что и к вашим рукам, и к рукам тысяч рабочих. Уже собралась в аптеку госпожа Бенц, супруга будущего автомобильного короля: ей надо

было прикупить бензина для заправки автомобиля перед дальним пробегом, – бензин продавался в аптеках, им лечили кожные болезни. Будущий основатель всемирно известной Нобелевской премии Людвиг Нобель грузил нефтеналивные суда в Баку, подсчитывая нефтяные доходы. А будущий магнат Джон Рокфеллер заправлял керосином лампы по всей Америке, от дворцов богатей до лачуг нищих эмигрантов. Нефтяной миллиардер Жан Поль Гетти был объявлен в середине XX века самым богатым человеком на Земле.

*Вот чем стоит заняться, решил я и стал этим заниматься,* сказал Федор и улыбнулся своей белозубой улыбкой.

Да он поэт нефти, подумала Дружочек и стала пробираться к выходу. Федор, увидев ее, сделал приветственный взмах рукой – она помахала ему в ответ.

Дома Дружочек открыла тетрадку с гороскопами. Федор был рожден под знаком Скорпиона. Скорпион – самый мощный знак Зодиака. Играя с собой в какую-то детскую игру, посмотрела, насколько они могли быть совместимы, Скорпион и Козерог. Их союз обещал надежность и длительность, при условии, что Козерог сумеет подарить Скорпиону свою нежность, а Скорпион Козерогу – свою страсть.

Смеясь, закрыла тетрадку и отбросила прочь. Никакого практического значения это не имело. Козерог была крепко-накрепко повязана с Весами. Прямо противоположные во всем, они уже составили крепкий союз, и не существовало ни единой причины, чтобы его разрушить.

А далее произошло следующее.

Собирали в парадном месте припарадившихся мужиков. Был рыжий, большой, начавший полнеть, с вечной лукавой искоркой в желтых кошачьих глазах. Был рыхлый, плешивый, с раскатанным в блин невыразительным лицом-обманкой. Был черноусый восточный человек. Был хитрец, бродивший среди прочих с видом простодушного дурачка, которого всяк может обхитрить и который мог обхитрить всякого. Впрочем, все они были хитрецы, себе на уме, народец, какому пальца в рот не клади. Был и наш красавец, предпочитавший любому парадному костюму джинсы, но тут и он нарядился так же, как остальные. Преобладали брендовые марки, прежде всего, *Бриони* и *Китон*. В костюме от *Бриони* был и Федор. Джоконде

с недавних пор костюмы шили на заказ итальянские портные, он выглядел в них ладно и складно. Бродили в ожидании начала встречи, обменивались ничего не значащими репликами, травили анекдоты, каждый открыт и дружелюбен, финансовая и экономическая элита страны. Можно было бы назвать их политической элитой, но Джоконда честно предупредил: мы не интересуемся, откуда взялись ваши миллиарды, вы не вмешиваетесь в политику.

Он появился, и все расселись. Джоконда дал слово для сообщения Федору. Спокойно поглядывая на Джоконду, Федор сообщил, что в корпорации процветает коррупция, и назвал сумму: сумма была велика. Федор назвал две высоко коррумпированные компании, приближенные к Джоконде. Джоконда так же спокойно поглядывал на Федора. А когда стал возражать ему, был несколько не жесток, а даже, можно сказать, мягок. Защитив близких ему людей, он мягко попенял Федору насчет неуплаты налогов его компанией в свое время и почти ласково одобрил то, что нынче все проблемы улажены. Недаром он занимался дзюдо. *Дзюдо* и означает *мягкий путь*, где один из постулатов: поддаться, чтобы победить.

Не вмешиваться в политику – провозглашенный принцип. Не провозглашенные: вообще слушаться, не перечить, не проявлять излишней ретивости и не делать ничего того, что может не понравиться Джоконде. Рыжий, плешивый и остальные послушно играли в эту игру, соблюдая установленные правила. Федор был единственным, кто находил возможным возражать. Остальные считали Федора слишком высокомерным и, пожалуй, не любили. Джоконду высокомерие Федора раздражало и одновременно вызывало в нем уважение. В глубине души он презирал слабаков. Сильный противник повышал его собственный статус.

Выходя со своим бизнесом на мировую арену, Федор должен был отказаться от коррупционных методов ведения дела, сделав деятельность своей компании абсолютно прозрачной. Но этим он бросал открытый вызов Джоконде, не готовому покончить с коррупцией, на которой, собственно, и держался режим. Федор предлагал альтернативу.

Федор был опасен.

Сначала взяли его ближайшего друга и соратника. Он не понял. Вернее сказать, не захотел понять. Он был в это время за гра-

ницей, и ему прямо дали знать, что лучше бы не возвращаться, а остаться там. Он вернулся. Он все еще не верил, что в той шахматной партии, которую они с Джокондой разыгрывали, Джоконда перевернул доску.

*И меня только равный убьет*, могла бы подсказать мужу любительница Серебряного века, но в такие психологические дебри ни он, ни она не забирались. Джоконда молчал о том, что у него внутри. И Дружочек молчала.

Федора арестовали в Сибири, в аэропорту, куда он прилетел в рамках своей предвыборной кампании: собрался баллотироваться в депутаты Думы, чтобы получить мандат, обеспечивавший неприкосновенность. Он чувствовал, что кольцо сжимается. Он не успел. Хладнокровный и мстительный, Джоконда решил раздавить Федора и раздавил: засадил за решетку на десять лет. Компанию Федора раздербанили дружки Джоконды, те самые, кого Джоконда мягко защитил на той знаменательной встрече.

Игра в кошки-мышки приносила кайф. Особенный кайф – когда мышка в клетке.

Он мог бы сказать вслед за *своим другом*, сынишкой Поэта, выразившемся однажды так: *не знаю, какой я друг, но враг я хороший*.

Потом она не раз слышала от мужа, что у Федора руки по локоть в крови. Правды она не знала. Но, зная многое о людях, добравшихся до вершины, допускала все.

В том числе, и в отношении родного мужа.

### **Рейдерский захват**

Занимаясь в свое время западным романом, я сделала для себя маленькое литературоведческое открытие. Персонаж, от имени которого формально или по существу ведется повествование, носит исключительно позитивный характер. Пропущенные через его я факты и события всегда и все в его пользу. Рассказать значит объяснить, объяснить значит понять, понять значит оправдать.

Но я пишу не западный, а восточный роман. Пытаюсь писать. Восток – дело тонкое. Мы думаем одно, подразумеваем другое, говорим третье. Не раз на этих страницах я, может быть, невольно запутывала свои следы, желая предстать более приятной, нежели

была, есть и, наверное, буду. В отечественных традициях – женщине представлять жертвой. Быть не сильной, а слабой. Но все-таки стоит попробовать быть честной с самой собой.

Я рассказывала, как скверно чувствовала себя в шикарных апартаментах многочисленных резиденций, в каких мы теперь останавливались и жили. На самом деле было не совсем так. Или даже совсем не так.

Еще до санатория *Бочаров ручей* в Сочи случился санаторий *Русь* в том же Сочи, где я провела ночь. Этот последний был сооружен в 30-х годах как Дом отдыха Народного Комиссариата пищевой промышленности. Позже он стал называться Санаторием №1. Еще позже – санаторием имени Ленина. И наконец получил наименование *Русь*.

Белоснежное здание с колоннадой в дворцовом стиле, спрятанное в вечнозеленом великолепии среди экзотических деревьев и редких растений в центре Ривьеры, шикарное внутреннее убранство произвели на меня впечатление. Спросила: чье? Ответили: приватизировано компанией Федора. Холодная иголка ревности кольнула сердце. Ревности или зависти? Позвонила управделами: нельзя ли проверить правильность приватизации и вернуть на ваш баланс? То, что я предложила, по сути представляло собой рейдерский захват, то есть отъем собственности. Жестоко? Но я не была агнцем. С волками жить – по-волчьи выть. Или, как свидетельствовал классик, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Я часто была той, о которой сама же говорила, что я *душная*. Что это такое? Не могу точно определить. Знаю только, что *душная*.

За пару месяцев до посадки Федора *Русь* была уже на балансе управделами.

Одни говорили, что Федор был в ярости. Другие – что он этого даже не заметил. По-видимому, ему было уже не до таких мелочей.

Когда его посадили, Джоконда на ближайшем совещании жестко сказал: *попрошу по этому поводу без истерик. Мягкий путь не исключает жесткости. Отнюдь.*

Истерик не было. Все промолчали.

Он вообще мог постучать карандашом по столу и холодно приказать: *не болтать, смотреть сюда, слушать, что я говорю.* И все послушно замолкали, смотрели и слушали – как нижние по чину.

### Таракан в банке

Кортеж Джоконды, состоящий из машины радиоэлектронной разведки, основной машины, называемой *упаковкой*, машины-дублера и машины прикрытия, а также бронированных полицейских внедорожников с вооруженными сотрудниками органов безопасности и полицейских экипажей, прикрывающих кортеж сзади, привычно мчался по столице на скорости около двухсот км в час, оставляя по обе стороны от себя битком набитые улицы и переулки остановленных машин, чьи водители привычно проклинали регулярную напасть, что случалась, когда он был в Москве и ехал из дома на работу или с работы домой. Москва послушно бросалась к нему под колеса, но он ее не видел. Усмехался: сажу как таракан в бронированной банке. Труднее было бы выразить формулу одиночества. Острязычия ему было не занимать.

Когда у него вырвалось, что вот нет Ганди и не с кем поговорить, все эти лихие СМИ не задержались с насмешками в его адрес. А между тем, Дружочек знала, что в этом заключалась всего лишь констатация факта. Не с сынишкой же Поэта делиться сокровенным! Чем выше человек поднимается, тем больший холод одиночества сопровождает его пребывание на этом свете. Невольное презрение к людям, которые остаются ниже, догадка об их мелких интригах, знание их ничтожных расчетов – тяжкий крест. Он пробовал говорить с патриархом – результат был нулевым. Не было в патриархе отказа от мирских благ – и все остальное становилось неинтересным. Декорум соблюдался – душа оставалась ненасыщенной. С младых ногтей у него было хобби: коллекционирование географических карт и марок с портретами выдающихся исторических личностей. Судьба еще не завернула за угол, а что-то уже подавало о ней знак. Географические карты – выход на мировой уровень. Марки – когорта, в какую попадет. Ясность наступает, если отслеживать жизнь от конца к началу. От начала к концу – все неясно.

Если бы она могла проникнуть туда, куда доступа никому не было, чтобы всецело разделить его участь!

Не от нее зависело. Как и не от него.

*Лама-савахвани, воскликнул однажды Иисус. На кого ты меня*

*оставил? Уж ежели Он так остро ощущал свою богооставленность, каково было бедному Джоконде!*

Женская любовь и есть, прежде всего, женская жалость.  
Она жалела его.

### **Си-Айленд**

Летели домой, с саммита в США. Тогда она еще летала с ним. Всего за год побывала в тринадцати странах. Китай, Индия, Франция, Германия, Болгария, Армения, Финляндия, Швеция, Англия, Шотландия, Азербайджан, Таиланд, Италия. Под крылом самолета расстился целый мир, играя всеми красками спектра. Каждая страна в воображении и памяти имела свой окрас. Китай чайного цвета, если жасминный чай только что заварить. Индия – охристая, солнечная. Франция отдавала пейзажами импрессионистов. Швеция – разведенный кобальт. Италия – средневековая терракота.

Сказать, что все это Дружочку не нравилось – сказать неправду. С жадностью впитывала виды улиц, дворцов, фонтанов, музеев, людскую толпу, витрины. Все, что сумели произвести на свет люди за тысячелетия, открывалось ее благодарному взору, и она не уставала шептать слова признательности своим ангелам за щедрые дары.

Примеряла новые платья, меняла стрижку и цвет волос, накладывала легкий грим, возбуждалась от разговоров с первыми леди мира, радуясь, что обходится без переводчиков, – какой женщине это не понравится! Шутя, хвасталась: *ну да, они знают свои языки, а я знаю их языки, плюс русский, а они русского не знают.* Девочкой мечтавшая стать актрисой, теперь она исполняла роль, о какой и помыслить когда-то

было невозможно.

*Гул затих. Я вышел на подмостки.*

Ее снимков в *сети* было не меньше, чем его. Они оба вышли на тот подиум, где их рассматривали страны и народы. Чаще всего вдвоем. И везде она не поспешает за ним, не тянется покорно – а рядом или даже на полшага впереди, смелая, решительная, отдельная. Отношения между ними лучше всего было назвать товарищескими.

Если когда-то товарки по первой загранице обсуждали в узком

кругу ее вкус, посмеиваясь над ним, – теперь этот круг был шире широкого. Любой, кто пожелал рассмотреть ее гардероб, без усилий мог сделать это.

Платье в голубой цветочек, похожее скорее на ночную рубашку, нежели на дневной наряд, воланчики, фестончики, рюшечки, складочки, что-то длинное и бесформенное, что-то короткое и тугое, откуда выпирали телеса, – она ничуть не терялась, спокойно одеваясь во что хотела. Могла посетить дневное мероприятие в блестящем, с позолотой, а вечернее – надев крепдешин в горошек. На один из концертов весь высший свет явился в пятидесяти оттенках стильного серого, от светлого до черного, – она одна пожаловала в ярком лимонном, с мещанским голубым шарфиком на шее, похожая то ли на канарейку, то ли на попугая.

А то была такая история: на торжественное открытие выставки первые леди и оделись соответственно – она прибыла в джинсах. Когда кто-то все же шепнул ей на ухо что-то про протокол, она громко рассмеялась: *ах, как это скучно!* Ей скучно было вспоминать о сгоревшем на пожаре, ей скучно было соблюдать неинтересный протокол.

Ей было интересно то, чем занималась за границей и дома – продвижением русского языка. Инициатор создания Центра развития русского языка, она выступала с публичными лекциями и даже была награждена *Оливковой ветвью* Российско-Армянского университета, стала почетным профессором Евразийского университета имени Гумилева, а также лауреатом конкурса *Комсомольской правды Лица года* в номинации *Просветитель года*.

У дам на острове Си-Айленд был свой дамский саммит, на котором, в частности, как раз и говорили о русском языке и русском мире. Это ей было интересно.

В самолете на обратном пути подбивали итоги, от важных до пустяков. Шерпа Андрей не мог скрыть удивления дороговизной приема. *А что ты удивляешься*, заметил Джоконда, *Си-Айленд – один из самых дорогих курортов Америки*.

Джоконду и Дружочка поместили в бунгало на берегу океана. Простое такое бунгало, напичканное шикарным содержимым. Было влажно, тяжело дышать, зато внутри неопишуемая свежесть. Просили быть осторожными при купании: сильное течение могло быть



опасным. На пресс-конференции Джоконду спросили, удалось ли ему искупаться. Он, улыбнувшись, ответил: *я акул боюсь*.

Вечером был торжественный ужин. Незамысловатая закуска: зеленый салат под белым клубнично-бальзамовым соусом и жареные зеленые помидоры запивали белым *Шардоне* 2001 года. На горячее подали разновидность морского окуня, подкопченного на кедровых углях. Гарнир: сладкая белая кукуруза и копченые сырные палочки. Это запивали калифорнийским вином *Пино Нуар*. На сладкое: теплый рассыпчатый пирог с черникой и мороженое с орехами, вино *Айрон Хорс – Железная Лошадь*.

Дружочек была в сверкающем вишневом в пол, эдакая русская императрица. Впрочем, надо отдать ей должное: в ней не было ничего пафосного, во всех обстоятельствах она оставалась простой и естественной, и это привлекало к ней больше, нежели точное соблюдение ритуалов.

*Он никогда не пытался казаться кем-то, всегда был тем, кем был*, сказала она однажды о муже. Могла бы сказать подобное и о себе.

За ужином и потом все три дня, что пробыли на Си-Айленде, она внимательно наблюдала за тем, кто как относится к ним. Газеты писали, что прием, оказанный Джоконде, нельзя было назвать радужным. Это касалось не быта – политики. Высокая дипломатия состояла в том, что стол переговоров и обеденный стол рознились. За столом переговоров Запад недвусмысленно давал понять, что придуманная Джокондой *управляемая демократия* есть оксюморон. За обеденным столом, дружески улыбаясь, любезно пододвигали соль и соусы, все на равных, все свои.

Шерпа молча делал пометки у себя в блокноте.

Включение корпорации в высшую лигу во многом было дело его рук. Не один год занимался он тем, что убеждал мировое сообщество в важности этого шага. Тоже большой честолюбец. Когда все удалось, скромно отошел в сторону.

Придет день, когда Джоконда единым махом разрушит то, что шерпа строил годы: политические оксюмороны превьсят терпение Запада, и Запад исключит корпорацию из клуба избранных. Шерпа этого не переживет и подаст в отставку, перейдя из рядов пылких сторонников Джоконды в ряды столь же пылких его противников.

Но этот сюжет впереди.

Пока же моторы монотонно гудят, в салоне комфортно и уютно. Джоконда проводит совещание, Дружочек болтает со стюардессами.

Закончив, он подходит и садится рядом. Она вопросительно смотрит на него. По лицу его не понять, удовлетворен он итогами переговоров или нет. Потом она прочтет результаты опроса российских граждан: около сорока процентов скажут, что корпорация стала полноправным участником мировой политики, и примерно столько же – что как была у нее второстепенная роль, так и осталась.

Желая развлечь его, она говорит, что получила от француженки предложение прочесть в Сорбонне лекцию по современной русской литературе. Он никак не реагирует. Проходит мгновение, и вдруг он произносит: *почему бы тебе не сбросить килограмм десять?*

Значит он смотрел на нее и остальных, сравнивал, и сравнение было не в ее пользу. Это было так неожиданно, что она чуть не разрыдалась. Сказала: *я с тобой летаю последний раз.*

И хотя слова не сдержала, и еще летала с ним, и сбросила десять килограммов, это было начало конца.

### **Умники**

*Управляемая демократия.*

Естественно, вокруг Джоконды по штату колготились умники, которые разрабатывали для него направления, рассматривали перспективы, анализировали тенденции, выдвигали гипотезы, просчитывали риски, намечали их преодоление. Одни были на виду, на свету, жили ярко, позволяя себе вольности, ну, например, сочиняя песенки для поп-исполнителей, другие постоянно находились в тени. Странная особенность. Некоторые походили на идиотов. Лысый, с головой горшком, где ручки – уши; всегда с полуоткрытым ртом, из которого, казалось, вот-вот пойдут пузыри; напротив, с поджатыми губами, словно барышня, которая знает себе цену и не продешевит; начавший недавно укладываться у парикмахера, тоже словно барышня, оба в чем-то даже схожи; пустоглазый, щетинка усиков – единственная характерная черта. Но нет, они не были идиотами. То есть ни в каком смысле. Ни в том, что у Достоевского, ни

в медицинском. Наоборот, они-то и были самые умники. Пытаясь открыть их секрет, Дружочек припоминала физиономии прежних, заседавших в президиумах и стоявших на Мавзолее: там было то же самое. Выражение идиотизма являлось выражением угодливости и беспредельной преданности. Только ли советская власть или всякая власть ставит такой отпечаток на лицах приближенных поданных?

Он слушал всех. Но решения принимал сам, один. Притом что не уставал обращаться к демократическим институтам. Лукавил или вбивал в бошки сатрапов то, что должно рано или поздно произрасти на этой неблагоприятной почве?

*Управляемая демократия. Суверенная демократия.* Придумал один из умников. Джоконде понравилось. Записные остряки строили ряд: *суверенная демократия, сувенирная демократия, суррогатная демократия.*

Дружочек не забывала сказанного им в первой загранице, что Советский Союз – страна без законов и надо брать пример с США, где построена идеальная общественная система. Теперь все было ровно наоборот. Возможно, убеждения зависят от местоположения: если ты наблюдатель, а то и оппозиционер – одно, если деятель, отвечающий за деяния рук своих, – другое.

Умники подсказали ему, что нужна духовная скрепа и ею может и должен явиться патриотизм. А точнее сказать, это он и предложил им разработать данную платформу как скрепляющее начало. И понеслась! Управляемая им корпорация пустилась во все тяжкие.

Патриотический угар иной раз заставлял скривиться его самого. Одна дама, выступая на некоем заседании, едва ли не брызгая слюной, выдвинула следующие тезисы: нашей стране от демократии вообще нужно отказаться и чаще говорить не о демократии, а о любви и верности отечеству, дружбе, морали и нравственности; Россия слишком поспешно отказалась от советской идеологии. Еще один умник предложил считать критиков власти *пятой колонной и национал-предателями*, не постеснявшись заимствовать последнее понятие у фашистской Германии. И наконец, кто-то, разбежавшись, призвал вернуть выражение *враг народа*.

Джоконде приходилось притормаживать слишком ретивых, опять-таки напоминая о том, что и демократические институты не-

обходимы. Ретивые подмигивали меж своих, считая это просто фигурой речи. Он не разубеждал их. Его искусство власти заключалось в двойных, а то и тройных стандартах. Он умел преподнести себя собеседнику или группе собеседников, или собранию слушателей так, чтобы им понравиться. Вся политика строилась на тайных операциях, а сам он всегда был ни при чем, и даже не в курсе дела. Его одежды должны были всегда оставаться белыми.

Финал его встреч со слушателями все больше напоминал советское прошлое. Зал вставал и садился, раздражаясь продолжительными советскими аплодисментами.

Как мало понадобилось времени, чтобы советский человек возродился как ни в чем не бывало. Эх ты, Ванька-Встанька!..

### **Сон**

Она уснула, и ей снился сон.

Она говорила кому-то, что хочет, чтобы праздник длился всегда. Кто-то, засмеявшись, отвечал вне всякой логики: всегда вошло в подъезд и взбежало по лестнице, никогда отделилось от стены и село в лифт, всегда поднялось на четвертый этаж, никогда уже поджидало его на лестничной клетке, всегда, отчего-то нервничая, стало открывать дверь, никогда выстрелило, всегда упало и лежало в луже крови, никогда сделало контрольный выстрел в голову и исчезло бесследно, бросив оружие убийства на месте.

Резко проснувшись, она схватила бумагу и шариковый карандаш и записала то, что услышала.

Ее потряхивало.

Непосредственно вслед за этим сном случилась Дубровка.

Второй раз сон приснился ей накануне Беслана.

Третий – перед убийством знаменитой журналистки.

Если бы она не записала, возможно, сон бы позабылся. Но он не позабылся. И ее не позабыл, с регулярностью вторгаясь в мозг как предупреждение.

О чем?

## Любовь

На мюзикл *Норд-Ост* в Театральный центр на Дубровке собирались с воодушевлением. В одиночку, семьями, парами.

Эти двое, гуляя в воскресенье по Москве, проходили мимо афишных тумб. На одной – афиша мюзикла *Нотр Дам де Пари*. Женщина спросила мужчину, не хочет ли он пойти на мюзикл. Ему не хотелось. Около консерватории она спросила: а на концерт? И на концерт тоже. Во вторник она еще раз предложила: может, все же сходим куда-нибудь? Как будто она тянула его, а в нем что-то сопротивлялось. Женщина победила, мужчина согласился. В театральной кассе в метро *Охотный ряд* женщина спросила, есть ли билеты на мюзикл. Были на завтра, на среду, на мюзикл *Норд-Ост*, 22 ряд. Она задумчиво протянула: *хотелось бы, чтобы не последний ряд*. Кассирша сказала: *ничего другого у меня нет*. Женщина колебалась, покупать билеты или нет, но все-таки купила. После оказалось, что на последний ряд.

В среду 23 октября шел дождь. Дружочек сказала бы: к удаче.

На остановке троллейбуса женщина все просила мужчину встать под зонт, а он все не хотел, оставался под дождем.

*За что ты меня так мучаешь? Смотрю на твою фотографию и читаю в твоём взгляде: «ну что же ты, Киселев, как тебе без меня?» Не смотри на меня с укоризной. Не нахожу слов, чтобы сказать, как мне без тебя тошно и жить совсем не хочется. Настроение такое, что прийти в Клайпеду – и к чертовой бабушке паромом. Рассчитаюсь и поеду к тебе. Надеюсь, не выгонишь... Да, расписываюсь в собственном бессилии. Не могу без тебя. Слышишь, не могу уже совсем, хоть волком вой. Чем ты меня к себе притянула? Другие люди как люди. Чем дальше от жены, тем лучше. А я не знаю, что делать... Любимая, любимая моя! Без устали повторял бы эти слова, лишь бы ты почувствовала, как я тебя люблю. Звезды все, что падают в море, провожаю с мыслями о тебе... Нашла бы ты кого-нибудь и сказала мне, может, и стал бы я человеком нормальным, без дома, без семьи, без прошлого и будущего, такому легче прожить. А у меня в ногах слабость. Видишь, не хватило меня больше, чем на стоянку. Без тебя я уже не я. Что я здесь нашёл, на этом море? Могу только потерять... Какое счастье любить, и какое мученье приносит мне*

*любовь. Все чего-то жду, жду, а чего? Ведь ты пришла ко мне, когда я был никем. Так неужели не примешь ты меня сейчас, если я как снег на голову свалюсь?..*

Мореплаватель, ученый, охотник, рыболов, художник, он был моложе нее на девять лет, они были женаты двадцать с лишним, и у них был взрослый сын.

Счастлива та женщина, на которую обрушивается такая редкостная любовь.

С 22-го ряда их согнали в 20-й. Она осталась жива, а он погиб.

И в этом случае большая государственная ложь, можно сказать, действовала заодно с террористами. В зал, где террористы удерживали заложников, был пущен усыпляющий газ – так началась операция по освобождению заложников. Сначала тела находившихся без сознания людей складывали на ступенях театра, затем стали просто бросать на асфальт. В таком же бессознательном состоянии их забрасывали в автобусы.

Продюсер спектакля *Норд-Ост* Цекало объявлял, что заложники устали и просто спят, зато террористы спят сном вечным.

Позже стало известно, что большинство сложенных, как дрова, заложников захлебнулось рвотными массами. Но эту информацию никто не афишировал. В документах причиной смерти называли обострение хронических болезней.

Киселев никогда и ничем не болел.

Состав газа, пущенного в зал, был и остается военной тайной. Неизвестен он был и медикам – оттого они были лишены возможности использовать противоядие. Заложники умирали, не получив необходимой медицинской помощи.

Пройдет год. Давая интервью иностранным журналистам, Джоконда скажет: *эти люди погибли не в результате действия газа, потому что газ не был вредным, он был безвредным, и он не мог причинить какого-либо вреда людям, и мы можем сказать, что во время операции не пострадал ни один заложник.*

И вновь она задохнется от привычной уже дихотомии, завыв, как собака, когда остается одна.

Среди погибших от безвредного газа – он, Киселев.

Дружочек прочтет о нем в журнале, где будет приведено то

письмо, одно из десятков, адресованных любимой, единственной, жене, и надолго застынет над журнальными страницами.

Когда говорят о девятистах шестнадцати заложниках, из которых сто тридцать убиты, – это одно. Когда представляешь себе одно-единственного, каким он был, когда был живой, – совсем другое.

Эта тетка, старше своего мужа, потерявшая его на Дубровке, выиграла жизнь, потому что выиграла любовь.

Она, Дружочек, проиграла жизнь, потому что проиграла любовь.

### Музыка

Масло с нежным хвойным запахом приятно охладило обнаженную кожу. Прохлада сменилась теплом, когда горячие руки плотно легли на тело. У нее стала побаливать спина, и врач прописал массаж. Тихо зазвучала музыка Сибелиуса, она попросила поставить его. Мысли потекли, неуправляемые, легкие – *легкое дыхание* пришло ей на ум, не то, что было у бунинской гимназистки, застреленной в конце концов офицером, которого она влюбила в себя, а взрослое и редко посещающее взрослых. Ей нетрудно было сейчас размышлять о том, о чем чаще всего размышлять было непереносимо. Как будто с нее сняли крест, который она в остальное время жизни вынуждена была нести, тот крест было ее я, в эти минуты избавленное от тяжести я, летящее, летучее, поднебесное. Время жизни – бремя жизни. Оно отпустило, она размышляла о себе как о чужой, без сожалений и укоризн.

Живя бок о бок с Джокондой столько лет, она думала так же, как он, так же, как он, воспринимала ход вещей, так же, как он, выстраивала отношения с людьми и миром. Но разве она стояла каждый раз, каждый день, каждую минуту перед выбором, как поступить, какое выработать решение, понимая, что от этого зависят жизни сотен тысяч, миллионов людей? *Я никогда не жалел о том, как поступил.* Это его свойство изумляло ее, не раз сожалевшую о своих поступках.

Настал момент, когда она больше не могла разделять с ним его намерения и деяния.

Сказав себе это, изумилась: так легко и просто оно вышло.

Она повторила про себя эту мысль, и опять это ничуть не нагрозило ее, словно ничего не меняло в ее мире.

Массажист добавил масла, и кожа откликнулась на свежую порцию с благодарностью, охотно отдаваясь заботливым рукам, как в ребячестве отдавалась заботливым рукам матери после купанья или выздоравливая от простуды, когда мать сильно и нежно растирала ее перед тем, как надеть чистую ночнушку.

Она прошла с ним все стадии его становления. Он менялся ежедневно, поминутно, оставаясь неизменным и становясь тем, чем стал, на ее глазах и с ее участием. Они оба начинали с подножья – теперь та, другая, заполучала его готового, на пике, на вершине. Он уже был такой, и другая знала его только таким и воспринимала таким, смеясь победно-счастливо. И он тоже забыл себя прежнего, зная только себя нового, в собеседники которому годился давно почивший в бозе Ганди, ну, может, еще Наполеон Бонапарт. Когда над ним смеялись, слыша эти сравнения, она всегда оставалась серьезной. Любая выдающаяся личность, художник ли это, ученый или политик, в глубине души сравнивает себя не с кем-то типа дворника Васи, а с кем-то типа Леонардо да Винчи. Кто-то лицемерит, скромничает – он не считал нужным это делать, и в том была его сила.

Массажист накрыл ее тонким верблюжьим одеялом, положил под голову подушку, сказал свое неизменное *подремлите* и вышел.

Сквозь дремоту она вспоминала, как в молодости он расспрашивал друга, что на самом деле должен чувствовать человек, слушая серьезную музыку. Разные там песенки мурлыкал, как все, подыгрывая себе на гитаре. А серьезная музыка не давалась. Терпеливо высиживал на концерте, где игралась *Седьмая* Шостаковича, скучал, смотрел на лица других слушателей, погруженных во что-то. Просил друга объяснить: во что? Вот вышли люди со скрипками, следом дирижер – зачем? Друг честно объяснял: *смотри, заиграла музыка, идет мирная жизнь, люди строят коммунизм, видишь, какой аккорд, та-та, па-па, а сейчас издали появится фашистская тема, вступили медные духовые инструменты, эта тема будет нарастать, и с ней столкнется та, что была в самом начале, где мирная жизнь, и вот эта борьба между ними то тут, то здесь, то тут, то здесь...*

Он вникал, постигал, не чувствовал, но заставлял себя чувствовать.



Дружочку было смешно и одно, и другое. И то, как расспрашивал друга о содержании музыки, и то, как друг описывал содержание.

Теперь знаменитый дирижер, знаменитый скрипач, знаменитая певица были в близких его друзьях. Обучился пониманию серьезной музыки? Или обучился делать вид?

Визит к английской королеве был самым волнующим событием жизни Дружочка. Это был пик ее биографии, который сопровождался Генделем, Сметаной, Прокофьевым, Кабалевским и опять-таки Шостаковичем в исполнении оркестра Уэльской гвардии. Джоконда отпустил тогда какое-то замечательное замечание, какое, она забыла, но королева Елизавета Вторая его благосклонно выслушала.

Как Шостакович мог сочетаться с любимым певцом Джоконды, Дружочек не понимала.

*Не забудутся никем  
Праздник губ, обиды глаз.  
Забери меня в свой плен,  
Эту линию колен  
Целовать в последний раз.*

Джоконда благодарно смотрел на певца, исполнявшего эту бракадабру, – Дружочек готова была заткнуть себе уши.

Роскошный обед, который давала Елизавета их честь, состоял из цыпленка в шампанском с гарниром из зеленого горошка, картофеля и жареных кабачков, медальона из лосося под соусом из взбитых сливок, непонятного, но вкуснейшего велутэ из трюфелей по-луарски и вишневого суфле на сладкое. Из вин поили белым бургундским *Монраше*, отборными красными винами, в частности *Шато Лервиль*, и шампанским *Луи Редерер*. Возле каждого стояло по семь бокалов – хорошо, что не сами наливали, а это делали официанты, можно было не бояться ошибиться. Им подарили на память карты меню с напечатанным на веленовой бумаге королевским вензелем, и теперь она могла сколько душе угодно перебирать все это гурманское роскошество, годившееся, скорее, для какого-нибудь кино, а не для обычной жизни той самой обычной девочки, какой была когда-то.

Все было киношное, начиная с совершенно киношного кортежа из карет: в первой ехала королева Елизавета, пригласившая в свою карету Джоконду, в следующей ехал принц Эдинбургский, пригласивший к себе Дружочка. Замыкал процессию эскорт и конная полиция. В тот раз наряд ее был безупречен. Длинное тонкое бежевое пальто, широкополая шляпа того же цвета и перчатки выглядели едва ли не лучше, чем у самой королевы. Муж королевы сделал гостю сдержанный комплимент, она с достоинством его приняла. Она понимала, что роль, какую играла, сейчас уж точно по праву именовалась исторической, и знала, что не должна ударить в грязь лицом. Кажется, не ударила. Фрак с белой бабочкой на нем и длинное черное платье с блестками на ней украсили вечерний прием.

Карточки меню со всего света она станет коллекционировать – так ей лучше запомнятся места, где перебивалась.

От всего этого она теперь добровольно отказывалась.

### **Ночь (11). Монолог**

Кто-то научил ее смешной молитве, и она, даже стоя в храме, нередко прибегала к ней. *Господи, молю, дай мне: Мудрости, чтобы понимать мужчину, Любви, чтобы прощать его, Терпения к его сменяющимся настроениям, потому что, Господи, если я попрошу силы – то просто прибью его на хрен!*

Вот и сейчас молитва пришла ей на ум, и она усмехнулась.

– Слушай, что я тебе скажу. Я задумала свой уход... – повторила она.

– Ты стала такая душная... – перебил он ее, подобрав самое обидное словечко, ее словечко, каким определяла себя, когда становилась упертой, не хуже него.

– Душная стала атмосфера, а не я, – в свою очередь перебила она его. – Атмосфера душная. И виноват в этом только ты. Это твои тайные операции развратили людей, растлили их души. Ты умен, ты очень умен. И начинал так хорошо. Просто отлично начинал. Все было ради корпорации, ради людей. Ты изменился. Ты был другой. Когда произошло замещение целей? Когда на первый план вышла твоя непомерная жажда личной власти? Ради власти ты устроил так, что ложь, корысть и лицемерие правят бал. Вольница твоего пред-

шественика кончилась, но в ней было что-то глубоко человеческое. А теперь – бюрократическое и холодное, как жаба...

У него играли желваки, он глядел на нее белыми от ярости глазами. Ей невольно вспомнилось, какими глазами глядел он на ту, другую, но сейчас это не имело значения.

Сейчас не это имело значение.

Она поперхнулась, откашлялась и продолжила хрипло:

– Ты придумал этот патриотизм, насаждаемый насильно. Эти духовные скрепы, в которых ни на грош духовности. Ты твердишь о морали, проводя глубоко аморальную политику. Ты твердишь о законах, распространяя произвол и беззаконие. Ты клянешься конституцией, попирая ее на каждом шагу. Ты устраиваешь фарс народной поддержки, свозя народ за деньги для демонстрации поддержки. Фарисейство – твоя идеология. Ты дал расцвести криминалу. Взятки, сфальсифицированные дела стали бытом. Ты установил принцип: друзьям – все, врагам – закон. У тебя не двойные, а тройные стандарты. Ты клянешься в любви народу, неустанно напоминая, что сам из простой семьи, а кругом, с одной стороны – обнищавший народ, а с другой – твои друзья, чиновники и олигархи, сколотившие многомиллиардные состояния. Твои министры врут. Твои депутаты принимают угодные тебе охранительные – охренительные! – законы. Твой телевизор – одна сплошная ложь. Коррупционные сделки насаждаются с самого верха. Федор хотел сделать бизнес прозрачным и честным, ты испугался возможной конкуренции и бросил его за решетку. Ты боишься любого, кто кажется тебе опасным, пусть это мальчишка-студент или седой старик – для каждого у тебя найдется Басманное правосудие. Лояльность – для тебя главное. Тебе надо было уйти вовремя, а ты схватил зубами эту свою проклятую власть, сомкнул челюсти и больше не можешь их разомкнуть... Я не могу и не хочу дальше разделять с тобой ответственность за все. Я не хочу жить в Северной Корее!..

Последние слова дались ей с трудом.

Он сделал шаг по направлению к ней. Она отшатнулась.

Он смотрел на нее жестокими бесцветными глазами. О, она знала этот его зловещий взгляд.

– Хватит сопли жевать, – сказал он тихо. – Ты решила, что во мне скопилось все зло мира? А оно во всех нас. В каждом. И в тебе

тоже. Масштабы разные, потому что разные человеческие масштабы. У тебя – ничтожный. – Он понизил голос почти до полусшепота: – Ты сделала самое страшное, дружок.

– Что? Что я сделала?

Это все были его приемчики.

– Ты предала меня, – так же тихо проговорил он. – Меня от тебя тошнит.

Развернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь .

Она осталась одна, раздавленная, ничтожная, никому не нужная. Даже себе.

### **Странные сближенья**

Бывают странные сближенья.

Странные переключки сопровождали жизнь Дружочка, как они сопровождают жизнь каждого из нас, если мы достаточно внимательны к ней.

В реальности у семейства была коза Сказка и ее козленок.

Домашний козленок из сказки, прочитанной Бушем-младшим в страшный день 11 сентября, был прописан в современной Америке.

Уличная козочка жила во Франции XV века.

В американской сказке козленок, обитавший в семье, отличался непомерным аппетитом, жуя все, что попадет под руку. То есть под ногу. Родители хотели от него избавиться – маленькая хозяйка, их дочка, защищала его как могла. Он стал героем, когда забодал вора, попытавшегося украсть семейную машину.

Во французской истории резвая, веселая белая козочка с глянцевитой шерстью, с позолоченными рожками и копытцами, в золоченом ошейнике, повсюду сопровождала свою молоденькую хозяйку, выкидывая разные фокусы, то есть угадывая месяц, число и час, задуманные собравшейся толпой.

Очаровательная хозяйка была невысока ростом, но казалась высокой – так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалузкам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалузки – так легко ступала она в своем

узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас. Окончив танцевать, она запевала, и веяло от ее песни тем же, что и от ее пляски, и от ее красоты, чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, воздушным и окрыленным.

Девушка плохо кончит. Ее, безвинную, повесят за колдовство и проституцию, а также за убийство красавца Феба, начальника королевских стрелков, который на самом деле не погибнет, а выживет. Соберутся повесить и белую козочку, но бедное животное спасет поэт по имени Пьер Гренгуар.

Девушку звали Эсмеральда.

С романа *Нотр Дам де Пари – Собор Парижской Богоматери* – начнется для Дружочка западный роман. Роковые характеры, роковые события, роковые повороты – западный роман щедро дарил увлеченной читательнице свои волшебные перипетии.

Странные сближенья обернутся тем, что западный роман прорастет в восточный.

### **Ночь (12). Синдром Стендаля**

Он ушел, а она погасила лампу и провалилась в черноту ночи. Бешеный озноб вдруг сотряс все ее тело. Она натянула одеяло на голову, завернувшись в него как в кокон, и завывала, тихо, почти про себя, так, чтобы ее не было слышно.

Бешенство сменилось отчаянием. Вселенская тоска – полным отупением. Потом стало страшно. Она вдруг вспомнила, как кто-то рассказывал о русской туристке, которая, так вышло, осталась в Лувре наедине со знаменитой героиней Леонардо и пережила тот же набор эмоций: отчаяние, тоска, страх. Посетительницу Лувра спасло лишь то, что она внезапно схватилась, с усилием оторвала взгляд от портрета и выбралась на свежий воздух. Улыбка Джоконды едва не убила ее.

*Ускользящий характер улыбки Моны Лизы можно объяснить тем, что она почти вся расположена в низкочастотном диапазоне света и хорошо воспринимается только периферическим зрением.*

Открытие принадлежало ученой из Гарварда.

Дружочек откинула одеяло, подбежала к окну и распахнула его настежь.

Дождь, мелкий ситничек, превратился в проливной – косохлест.

Она стояла у распахнутого окна и, погрузившись в глубокое раздумье, тщательно и подробно перебирала все, что знала о Джоконде.

Несколько веков женский портрет, хранящийся в Лувре, считался портретом 25-летней жены Франческо дель Джокондо, то ли флорентийского монаха, то ли купца. Ее звали Мона Лиза. *Мона* – сокращенное от *мадонна*. До сих пор в каталогах приводят двойное название: *Джоконда. Мона Лиза*. Это ошибка. Ошибся средневековый писатель Джорджо Вазари, оставивший после себя жизнеописание едва ли не всех выдающихся художников Возрождения. Современные ученые раскопали, кто был на самом деле прототипом Джоконды. Не простолюдинка Лиза, а знатная дама Пачифико Брандана, возлюбленная Джулиано Медичи, одного из властителей Флоренции, игравшая судьбами людей, приблизившихся к ней. Летели как мотыльки на огонь и сгорали в нем. *Джоконда* и означает *Играющая*. Она была настоящим энергетическим вампиром, ее портрет *высосал* даже самого Леонардо. Длительное воздействие вампиров вызывает у жертвы серьезные последствия: утечку жизненной энергии, апатию, ослабление иммунитета и в итоге состояние, которое психиатры называют *синдромом Стендаля*.

Это то, что случилось с писателем во время его путешествия во Флоренцию в 1817 году. Он выходил из церкви Святого Креста, когда у него вдруг сильно и болезненно забилось сердце, и ему показалось, что иссяк источник жизни. Шедевры искусства, порожденные энергией страсти, сделали все прочее бессмысленным, ограниченным и мелким. Он спустился по ступенькам, боясь рухнуть на землю бездыханным.

Энергия страсти может быть губительна.

А энергия власти?

Не высасывает ли она так же тех, кто летит подобно мотыльку на огонь и сгорает в нем?

*Синдром Стендаля* – ее диагноз.

## Финал

Она провела ночь, не сомкнув глаз. Утром, с опухшей, в красных пятнах, физиономией, отправилась в ванную, там долго приходила в себя.

К ней пришли и сказали, что вечером он и она будут присутствовать в Государственном Кремлевском дворце на балете *Эсмеральда. Нотр Дам де Пари*. Есть странные сближенья.

Пока ей делали педикюр и маникюр, накладывали освежающую маску на лоб и щеки, подкрашивали и взбивали волосы так, чтобы они выглядели максимально естественно, она репетировала про себя те несколько фраз, что скажет в глазок единственной телекамеры, которую пригласят на балет.

Лицо каждой женщины состоит из сорока четырех мышц, создающих больше десяти тысяч комбинаций, черпай – не хочу. Не обманитесь, когда думаете, что читаете женщину как книгу.

В антракте, нацепив на лицо одно из самых пленительных своих выражений – брови домиком, маска робкой покорности, – она вышла к той единственной телекамере, что была задействована в этом спектакле. Рядом стоял он. На его лице играла еле различимая улыбка Джоконды.

Робко улыбаясь в телевизионные камеры, она сказала: *наш брак завершен*. Как будто это было чем-то вроде основанного ими предприятия, которое выполнило назначенное предписание, и его решено закрыть.

Последовал тридцатисекундный репортаж.

*Исполнение шикарное*, оценил Джоконда балет.

*Кажется, что они порхают*, поддержала его Дружочек.

Все вышло гладко и почти гламурно, как ни ненавидела она это слово.

**Ольга Кучкина** – поэт, прозаик, журналист, драматург. Многие годы работала обозревателем газеты «Комсомольская правда». Член Союза писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра. Академик РАЕН.

Автор более 25 книг. Отмечена рядом премий.

Пьесы, стихи и проза публиковались в различных журналах.

Спектакль «Белое лето» по пьесе О. Кучкиной шёл на сцене театра имени Ермоловой, «Страсти по Варваре» – на сцене театра-студии Олега Табакова и в университетском театре Сент-Луиса (США), «Иосиф и Надежда, или Кремлёвский театр» – на сценах Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии. В театре имени Гоголя несколько последних сезонов игрались пьесы «Мур, сын Цветаевой» и «Мистраль».



**Владимир НЕКЛЯЕВ**

---

**ЛИРИКА**

---

***Грустная мелодия***

Что за грустные песни  
ты поёшь нынче, Белая Русь?  
Как тоскливо во ржи  
васильками они прорастают!  
«Ой, ляцеў белы гусь...»  
А куда ж полетел белый гусь,  
если в небе твоём только серые гуси летают?

С дальних нив дорогих  
долетает печальный напев.  
Но продолжить его  
– даже голос мне дай –  
не возьмусь я.  
И утешусь лишь тем,  
что хотя бы, немножко успев,  
промелькнул над землёй,  
над тобой, Беларусь, белым гусем.

***Ласточка***

Дорогое и есть дорогое.  
А в груди стонет сердце больное –  
Неизбывного горя пурга:  
Бьётся ласточкой береговою  
Беларусь о свои берега.

## **Дым**

Пройдёт земное на земле.  
Как предки, что когда-то жили.  
Мы все растаем в дымной мгле,  
Чтоб искры над костром кружили.

Вселенная, судьбы юдоль,  
Нас в звёздной мельнице размелет  
И в мирозданьи нашу боль,  
Как горькую полынь, развеет.

## **Ночь в Хатыни**

Бил колокол, и звон набатный рос.  
Распятое врагом стонало небо.  
И детский плач, и жжённый запах хлеба, –  
Всё чёрный вихрь клубами к звёздам нёс.

Тот ужас плыл рекой без берегов,  
Над огненной деревней разливался.  
Сам бог войны на небе удивлялся  
Кровавым преступлениям врагов.

\*\*\*

До Бога – тяжкая дорога...  
Я шёл к Нему своим путём.  
Во всех краях искал я Бога  
Во всём: ведь Он и есть во всём.

И в искушеньях билось тело,  
И дух был с телом заодно.  
А небо пламенем горело,  
И проступало в небе дно.

И в яме, в раскалённой жиже,  
Свой лик узрев на дне огня,  
Спросил себя: «Кого увижу?»  
И выдохнуло дно: «Меня!»

### ***Еврейская мелодия***

Ей, столетней еврейке, на «Иле»  
Всё равно: лишь бы к Богу скорей.  
«Перевозим живые могилы!» –  
На мой взгляд мне ответил еврей.

Письма, фото старинное мамы,  
Хлеб, горсть соли и море скорбей –  
В Израиль с собою на память  
Взяты с бывшей отчизны своей.

И летела могила живая  
По-над родиной бывшей своей.  
Над страной, что своих пожирая,  
Чуждых ей изгоняла детей.

\*\*\*

Признать себя виновным без вины –  
Суд дьявола. Не Бога!  
Когда душа – стена острога,  
То стереги её от сатаны.

Не виноват ты в том,  
Что был обмана толстый том...  
Но справедливость всё же сдюжит.  
Ты не с других – с себя начни:  
Разрушь тюрьму и разгони  
Боязни страх – врагов оружие!

### Погоня

Что затужили как будто на тризне?  
Духом слабы, мужики? Воля – в нас!  
Как бы и что б ни случилось с Отчизной –  
Хуже не будет, чем стало сейчас.  
Глянь, Беларусь заблудилась в трёх соснах!  
Маятник мечется... Время несосно  
Носит мой бедный народ как челнок  
Из пасти на Западе – в пасть на Восток.  
Новое племя не знает ущерба.  
Символ родной уж сияет сквозь вербы:  
Призраком древних веков на коне  
Рвётся «Погоня» с державного герба,  
громко копыта гремят в вышине!

*Перевел с белорусского Леонид Зуборев*

**Владимир Некляев** – известный белорусский писатель, общественно-политический деятель, лауреат многих литературных премий. Всего издал более 20 книг поэзии и прозы.

В 2015 году в США вышла книга стихов «Беларусь», перевёл на русский и английский Леонид Зуборев.

Был лидером общественной кампании «Говори правду». В 2010 году выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Был арестован и обвинён в организации массовых беспорядков. Amnesty International объявила его узником совести.

После освобождения из заключения Некляев продолжил общественно-политическую деятельность. 8 апреля 2015 года он заявил о выходе из оппозиционных структур, объяснив это безрезультатностью переговоров оппозиции по выдвижению единого кандидата на президентские выборы и определению совместной программы. Он добавил, что важнейшими ценностями, ради которых он намерен продолжить работать, остаются независимость и демократическое будущее Беларуси.

Эдуард ХВИЛОВСКИЙ

---

ПОЭЗИЯ

---

*Рисунок памяти друга*

На рисунок смотрю тупо,  
нелепо, внутренне, глупо.  
Я не был в нём никогда.  
На нём – только ты. Беда...

Идёшь по городку детства.  
Наше теперь соседство  
на улицах тех осталось.  
Судорожная малость.

Покосившийся дом – твой.  
Рядом такой же – мой.  
Всё это из-за тебя.  
Ты так задумал, любя.

Жил и страдал не зря.  
Реки перетекают в моря  
твоей любви ко всему  
живому. Во свет и во тьму.

Любил до последнего вдоха  
вены разреза. Эпоха.  
Её полоснул бритвой  
любви и судьбы ловитвой.

Давид и Самсон воловий.  
Вскрыл проявление воли

своей и своей только.  
Будет ещё горько.

«Обернись! Обернись! Обернись же!»  
Не оборачиваешься. Вижу  
себя рядом. Кричу.  
Ответа не будет. Молчу.

Час нам такой дан.  
Бей, судьба, в барабан!  
Тебя и меня нет.  
Есть только рисунок и свет.

### **Из путевого блокнота**

*Памяти мамы*

Это крик безродительский твёрдого неба,  
это дерево яблоч без яблок на нём,  
это хлеб из печи без привычного хлеба,  
это жизни без жизней, в которых живём.

Нам в догадках конфетных уже не теряться  
и на гущах кофейных никак не гадать,  
нам уже перед видимым не разминаться,  
но взаправду всей правдою правду имать.

Сами пишем Послания Зевсу и Павлу  
и печатаем сами воззваний листки  
к Антигоне и Сарре, к Моисею и Савлу,  
и абзацы их тяжки и очень легки,

ибо в лёгкость вся тяжесть уже превратилась,  
ибо в тяжесть вся лёгкость ушла сквозь песок  
и на грех, и на счастье, и просто на милость, –  
и трещит однозвучно сверчок-трескачок.

### **Возвращение**

Я вернусь туда в мае,  
когда потеплеют печали  
и пройдут поезда  
мимо кладбищ без белых крестов,  
где любая причина  
моею была и в начале,  
и в огромных архивах  
уже пожелтевших листов.

Там и числа цветут,  
и конверты, и двери, и крыши.

Циркачи за углами.  
Артисты на всех этажах.

И призвания всплеск  
поднимается выше и выше,  
и легенды на сваях  
цветут на нежнейших ветрах.

Приближается взлёт.  
Для разбега готова рулётка,  
и моторы готовы,  
и в крыльях уже керосин.

Мы присели вдвоём  
вместе с тенью моей на дорожку,  
и напутствия слово  
Иисус приготовил Навин.

### **Сочинителю историй**

История должна быть ясной, как Первопричина,  
иначе не примут в редакции, дурачина.  
История должна быть умной, как телёнок,  
который часто бодался с дубом с пелёнок.  
История должна быть чёткой, как вера  
в производство стали по методу Бессемера.  
История должна быть настоящей, как штурм Зимнего  
Дворца,

иначе её могут переписать к началу с конца.  
История должна быть правдивой, как Сказание  
о Китеже Граде, иначе над ней будут смеяться забавы ради.  
История должна быть честной, как известная нам революция,  
иначе это будет не история, а аннексия без контрибуции.  
История должна быть верной, как жена вне подозрений,  
иначе не видать ей многих тысяч прочтений.  
История должна быть чистой, как наша водопроводная вода,  
потому что она пишется раз навсегда.  
История должна быть внятной, как Манифест партии века,  
чтобы прославлять дело и его человека.  
История должна быть понятной, как «Василий Тёркин»,  
а не какой-нибудь там, понимаешь, Махоркин.  
История должна быть твёрдой, как учение Карла Маркса,  
ибо это история, а не вакса.  
История должна быть преданной, как Фидель Кастро Рус,  
иначе возможен историсофский конфуз.  
История должна быть надёжной, как предатель КГБ Поляков,  
иначе всяк от неё отвернётся – и был таков.  
История должна *быть*, потому что её не может не быть,  
ибо если по усам текло, а в рот не попало,  
то придётся ещё раз налить.

### **Выше голову, брат!**

Выше голову, брат, в этом радостном мире печали!  
Ты, я вижу, не рад набежавшей весенней тоске.  
Ты такой же, как я, – нас с тобою уже распинали,  
И родная земля ловко ладила доску к доске.  
Твой простуженный вид воскресенье твоё не украсит.  
Он молчит и кричит на холодном и тёплом ветру.  
Нынче совесть и стыд где-то в море далёком баркасят.  
Не спасу я тебя – завтра сам от удушья умру.  
Мы не первые здесь и не завтра последними станем,  
А соблазны и спесь есть не то, чем нас можно кормить.  
Из самих же себя на самих же себя и восстанем,  
Если сами себе не позволим внутри себя быть.



Неизбежность во всём – от источника до поворота,  
Где и ночью, и днём перелётная носится пыль.  
А ворота в степи – это просто в степи те ворота,  
За которыми вход в изумительный наш водевиль!  
Мы играем с тобой, как положено просто актёрам.  
Мы вдвоём и они! И они тоже с нами вдвоём!  
Драматургом, оркестром, рабочим кулис, режиссёром –  
Будем сами, и сами все песни в спектакле споём!  
Выше голову, брат, я с тобой – до последней минуты!  
Хорошо то что есть! То что будет – милей во сто крат!  
Как Сократ, будем несть свои маски до встречи с цикутой  
И ещё одну песню споём у невидимых врат.

*Эдуард Хвилковский родился в Одессе. Окончил филологический факультет Одесского университета. Работал в школе, в газете. Живет в США.*

*Автор четырёх поэтических сборников. Публиковался в «Новом журнале», в журналах «День и ночь», «Новая юность», «Слово», «Стосвет».*

Борис САНДЛЕР

---

АМЕДЕО И ЕВА

---

*Люблю ли я ее не знаю  
Простит ли мне зима грехи  
На небе шуба дождевая  
Любови прячутся тихи  
И гибнут от Любви сгорая*

Гийом Аполлинер\*

1

В те далекие студенческие дни я пережил свою первую жизненную драму. Я был уверен, что Ева, созданная из моего ребра, станет частью меня. Точнее, что мы будем одним целым, и не только, когда наши тела переплетены так тесно, что не остается ни щелочки, ни трещинки, ни ямочки, не заполненной телом другого... Пот струился по ложбинкам на верхней губе, мы слизывали его кончиком языка, и поцелуй снова накрепко запечатывал наши губы. Это ложь, что поцелуй «сладкий»; поцелуй имеет тот же вкус, что и кровь, разве что еще солонее.

Однажды утром я проснулся и не нашел Еву возле себя. Такое случалось и раньше, но в то утро... Я слотнул горькую кашу во рту, как будто мог насытить этим мой тощий желудок, и вдруг понял, что больше ее не увижу. Она вернула мне мое ребро, видимо, чтобы я снова стал таким как все. Не лучше и не хуже – просто человек. Я лежал и прикрывал ладонью горячее темное пятнышко на груди слева, там, где еще несколько часов назад чувствовал влажное прикосновение Евиной щеки и ее тихое спокойное дыхание. Ева сама превратилась в горячее пятнышко, которому я дал имя «Потерянный рай».

Единственное, что мне оставалось – закрыть глаза и забыться, раствориться в тоске, во сне без начала и без горизонта. Плотные клубки моих снов медленно расплетались, и вот в пространстве повисло прекрасное мужское лицо с красиво очерченными губами и носом – лицо Амедео Модильяни. Однако истинная красота светилась в его глазах – больших и черных, какие бывают лишь у потомков старых благородных еврейско-итальянских семей. Ветер иудейских странствий занес его далеких предков с Ближнего востока в благословенный Рим. Здесь его прадед, полный юношеских надежд, мечтал разбить собственный виноградник. Но Рим, который однажды дал миру цивилизацию, оставил доступным для еврейских переселенцев лишь небо и солнце, – земля была не для них. Вечные скитания превратили евреев в вечных торговцев. Так торговля привела и его деда в Тосканский портовый город Ливорно, где много лет спустя родился будущий живописец.

В Париж Модильяни приехал одержимый мечтой стать великим художником. Я тогда был захвачен чтением воспоминаний Ильи Эренбурга, который в Париже дружил с Модильяни, с Моди, как называли его близкие друзья. Кажется, само его имя, Амедео Модильяни, вносило в мою провинциальную заброшенность шум и карнавальный перезвон европейского большого города. Мы с Моди были одного возраста, но отделены друг от друга долгими кровавыми десятилетиями. Волшебная сила его искусства разбивала барьеры времени и ломала тяжелые врата поколений. Каждый раз, когда где-нибудь в альбоме я наткнулся на репродукцию картины Модильяни, я впиивался взглядом в тонкие извилистые линии его фигур, как если бы мог уцепиться за кончик его карандаша, пока он рисовал новый портрет, и потянуться вслед за его уверенной рукой через белый лист бумаги.

В редкие минуты таких встреч мой мозг сквозь толщу времени улавливал и обрывки пьянящей иностранной речи, и терпкое смешение запахов, разливавшееся над головами веселых завсегдатаев и случайных полуночных посетителей кофеен и кабаре на Монмартре: «У Эмиля» и «Larin Agile»... Я погружался во власть видений, как курильщик гашиша.

Тогда я еще не мог знать, что много лет спустя я сам буду кружить по переулкам Монмартра, потерянный от счастья, одуревший от кричащих туристических вывесок. Я вглядывался в карти-

ны современных художников, выставленных на Площади Тертр. Большинство картин, нарисованных ради заработка, на потребу примитивному вкусу туриста, напоминали увеличенные почтовые карточки былого провинциального городка Монмартра с его двухэтажными домиками, кофейнями и бистро, воспетыми и оплаканными некогда известными именами, а ныне надежно забытыми художниками и поэтами.

Все это вернуло мне романтическую юношескую влюбленность в Моды, завораживающие линии его фигур накрепко засели в памяти, но были подернуты пеленой забвения. Как многие блуждающие здесь туристы, приехавшие сюда со всего света, я мог выразить свой восторг лишь пустой улыбкой восхищения, словно ребенок, который впервые увидев живого слона, радуется, что тот оказался похож на слона, нарисованного в его любимой книжке...

В то далекое лето я бежал от городской суеты. Взяв напрокат брезентовую палатку и спальный мешок, я прицепил их к моему рюкзаку, куда уже были сложены несколько рубашек, две пары плавок, свитер, и, самое главное, две мои любимые книги: «Люди, годы, жизнь» Эренбурга и томик стихов Аполлинера в мягкой обложке. Захватил я и тонкую тетрадку, чтобы записывать свои собственные стихи – на всякий случай; кто знает, может, в этом добровольном уединении в заброшенном уголке где-то на берегу моря проснется во мне уснувшая муза. «Ха-ха-ха» – смеялось мое эго.

Я не принадлежал к племени бородатых певцов, как некоторые из моих приятелей. Они с ума сходили по вкусному запаху леса, по посиделкам вокруг костра в компании остроумных юношей и девушек, опьяневших от долгих сердечных песен под гитару. Видимо, я по своей природе был отшельником, и если бы мог, убежал бы, наверное, и от самого себя.

Разбив палатку под поросшей лесом горой недалеко от лимана, я направился в ближайшую рыбацкую деревеньку под названием Адамовка. Вообще-то, это место трудно было назвать рыбацкой деревенькой, впрочем, как и вообще деревенькой, хотя на самом краю, больше в песке, чем в воде, покоилось несколько лодочек. Десять-пятнадцать маленьких глинобитных халуп, крытых камышом, выстроились вдоль широкой разбитой грунтовки, которая после дождя раскисала и превращалась в сплошную грязь.

В маленьких садиках хлопотали женщины, в легких платках на голове. Оторвавшись от своих забот, расправив плечи, они приставляли ладонь козырьком ко лбу и глядели на меня с нескрываемым любопытством.

На крылечке возле дома сидел пожилой человек с курчавой головой. Он вежливо, без слов мне кивнул. Я искал лавку, чтобы застаться едой, хотя бы на несколько дней – прикупить рыбных консервов, сахара, соли, пакетик чая, несколько луковиц да картошки, чтобы было что приготовить. Я не рассчитывал найти здесь, упаси боже, деликатесов, я отлично понимал, что это не то место, где люди вообще могут знать, что это такое.

Мне не потребовалось много времени, чтобы, прогулявшись от одного края деревни до другого, убедиться, что здесь, в Адамовке, не было не только магазина, но даже и признаков лавки, где можно было бы хоть что-то купить. Возвращаясь ни с чем, я заметил, что несколько мужчин, прежде мирно гревших кости на солнышке, оставили свои крылечки и собрались посреди дороги. Было ясно, что они ждут меня.

Их было четверо – стариков с простыми крестьянскими лицами, выгоревшими на солнце. Ввалившиеся щеки и заостренные подбородки делали их похожими друг на друга. Каждый из них протянул мне руку, и в их рукопожатии еще чувствовалась былая сила. Я чувствовал в их взгляде некоторую напряженность – вероятно, нечасто им приходилось видеть здесь чужаков, особенно юношей.

В свою палатку я возвратился с полным рюкзаком. В домик Федора – он был старостой деревеньки – то и дело заходили все новые соседи с «гостинцами» от хозяек. Брать денег они не хотели и объясняли это тем, что здесь нечего делать с деньгами. Их язык был старомодным и не всегда понятным для моего городского уха. Смысл некоторых слов я так и не разгадал. Позже, засыпая в своей палатке, из обрывков их разговоров, которые все еще носились в моей голове, я пытался собрать по кусочкам историю этого странного племени – забытый осколок былых времен. Сон, однако, навалился и сковал меня своей цепью.

Почти весь следующий день я посвятил налаживанию моего скромного быта. Прежде всего, я разыскал неподалеку от моей палатки два больших обожженных известняковых кирпича, оставлен-

ных моим приятелем, который провел здесь несколько недель прошлым летом. Он же открыл мне великую тайну, что под кирпичами зарыт клад – чугунный котелок и топор. Откопав эти жизненно необходимые вещи, завернутые в дерюгу, перевязанную веревкой, я принялся собирать на песчаном берегу обломки сухих веток и корней для костра, выбеленные, как скелеты созданий допотопных времен.

Подкрепившись запасами, подаренными вчера гостеприимными адамовскими хозяйками, я вооружился двумя прихваченными с собой алюминиевыми фляжками и добытым из песка котелком, и отправился к колодцу, который одиноко стоял в поле у дороги в рыбацкую деревню.

Привычный в этих краях колодец, из-за своего высокого столба с перекладиной получивший название «журавль», видно было издалека. Он и впрямь напоминал огромного журавля с длинной шеей и клювом, который он опускает в колодец, чтобы утолить жажду холодно-сладким глотком.

Тогда, сидя возле колодца и смакуя освежающие глотки, я еще не мог знать, что первый день в этом райском уголке преподнесет мне вместе с закатом еще и благословенный подарок.

## 2

Моди однажды рассказывал Эренбургу, что когда-то в Риме, во время карнавала, еврейская община должна была предоставить для праздника юношу. Тот должен был раздеться донага и играть роль лошади. Под хохот и свист раззадоренной толпы простолюдинов, священников и разодетой городской знати, несчастный должен был три раза обежать вокруг города...

Я лежал, опершись на локоть, возле костра, глядя в глубину небес и размышлял о том, что, возможно, эти мириады звезд были свидетелями множества злодейств и унижений моего народа. В молодые годы я не однажды пытался бежать от своего еврейства, но всякий раз зернышко еврейства пробивалось ко мне и, возвращая назад к моим корням, тыкало носом в мое происхождение – помни, кто ты есть!

Моди, которого все принимали за истинного итальянца, не

раз прямо-таки взрывался, услышав от подвыпивших гостей кофеен и кабаре «антисемитский пассаж». Что же заставляет человека оставаться в лоне еврейства? И какие силы приводят его к раскаянию?

Поглощенный черной глубиной небес, я тогда думал и о других вещах, более близких каждому юному существу – мой разум загнал меня подальше от городской суеты, но душа моя тосковала по девичьим ласкам.

И они мне были ниспосланы. Костер внезапно выхватил из ночи ее силуэт, только на мгновение, как прикосновение губ ко лбу. Я вздрогнул, привстал на колени, и увидел ее уже во плоти, наяву, напротив себя. Она мне улыбнулась как ребенок, который во время игры якобы пугается взрослого. Я сразу вспомнил: вчера, уже собираясь уходить из Адамовки, я заметил, что симпатичная смуглая девушка, возможно, несколькими годами моложе меня, разглядывает меня сквозь полуоткрытую дверь. Наши взгляды встретились, но тут я почувствовал резкую боль в правом глазу, как будто мне в глаз залетела мошка. Я принялся тереть уязвленное око и на мгновение зажмурился. Когда я вновь посмотрел туда, где несколько секунд назад видел девушку, дверь была уже закрыта.

И вот она стоит на коленях напротив меня, так близко, что достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться пальцами до ее лица. Но между нами преграда – огонь костра.

– Я тебе вчера видел, – сказал я, – почему ты так быстро исчезла?

Она молчала. В ее глазах танцевали веселые красные искорки. Я сделал вторую попытку услышать ее голос:

– Как тебя зовут?

На ее губах появилась улыбка:

– Как ты меня назовешь, так меня и будут звать.

Ее ответ показался мне началом какой-то игры.

– Хорошо, тебя будут звать Ева, а я – Адам, – решил я ей подыграть.

Она довольно кивнула.

– Значит, я была создана из твоего ребра.

Ее ответ меня немного смутил. Стоит ли и дальше продолжать игру, или отступить? Она это заметила:

– Это мне моя бабушка рассказала. Она знает сотни таких сказок.

– Мне повезло меньше. От бабушки и дедушки мне досталась только маленькая фотография.

Чтобы вернуться к действительности, я как гостеприимный хозяин предложил:

– Знаешь что, Ева, я собираюсь пить чай, можем попить вместе.

Ей, видимо, понравилось мое предложение. Тут я спохватился, что вся моя посуда состоит из алюминиевой кружки, эмалированной миски, двух фляжек, где я держал питьевую воду, и складного ножика, из которого извлекались ложка, вилка и штопор. Чай я заварил еще прежде, прямо в котелке. Зачерпнув с полкружки, я протянул горячий напиток Еве.

– Извини, сахара нет. И вообще, как видишь, хозяин из меня никакой.

Она осторожно поднесла напиток к губам, сделала глоток и вернула мне кружку.

– Уже?... Видно, мой чай тебе не понравился.

– Неправда... Он хороший, но первый должен пить ты... Так принято у нас в деревне.

Я послушно потянулся к кружке, и тут она заметила, что мой большой палец перевязан тряпкой. Днем, собирая ветки и щепки, я ободрал его до крови. Ухватив мою ладонь свободной рукой, она поставила кружку с чаем на песок. Все дальнейшее она проделала так быстро и ловко, что я и пикнуть не успел. Она бросила на меня быстрый взгляд, как вчера, когда я в первый раз увидел ее, стоящей у двери. Развязав мою неуклюжую повязку, она кинула тряпку в огонь. Наклонившись к порезу, который все еще ныл, она трижды лизнула порез и сплюнула в сторону. После этого она зачерпнула с края костра немного пепла и присыпала мой палец, как солят еду. Несколько секунд она держала мою ладонь и, склонившись к ране, слегка дула на порезанный палец. Ее волосы едва не касались моего лица, точнее, я сам немного приподнял лицо к ее густым волосам и глубоко вдохнул незнакомый девичий запах. Ноющая боль, которая не отпускала меня весь день, быстро отступила.

– Лечить раны тебя тоже бабушка научила? – я едва слышал свой голос.



Она не сразу ответила. Она опустила глаза, глядя в огонь, который то и дело издавал тонкий треск, как будто где-то внутри него лопались струны, каждый раз выбрасывая при этом в воздух горсть огненных мушек. Густая ночь тут же подхватывала их и глотала.

Ева будто специально подарила мне несколько минут, чтобы я мог взглядеться в ее лицо. Так, вероятно, закутавшись в свою неподвижность, сидели модели Модильяни – юные девушки, готовые работать бесплатно, лишь бы остаться один на один с прекрасным итальянцем и ощутить его близость. Они редко узнавали себя на его полотнах, в этих портретах с нарочито уплощенными вытянутыми лицами, длинными тонкими шеями и неестественно гибкими руками. Им было невдомек, зачем он наделяет их такими опустошенными глазами, с сокрытой в них нездешней печалью, какой они никогда в себе не носили. Они искали только его любви, и он дарил ее каждой со всем пылом своего южного темперамента.

Я мог в те тихие минуты только грезить о такой близости с Евой, хотя, как говорила Ева, она была создана из моего ребра.

– Да, – наконец ответила Ева, не отрывая взгляда от огня, – моя бабушка лечит всех в нашей деревне. Никому не отказывает. Только самой себе, бедная, помочь не может...

Ева ушла тихо и внезапно; исчезла в темноте, как искры костра. Я крикнул ей в ночь, чтобы она приходила завтра, я наварю ухи.

Уже засыпая, закутавшись в спальник, я шептал стихи моего любимого Гийома Аполлинера:

*Прочь устремится любовь за водою текущей  
Прочь устремится любовь  
Вяло течение жизни тягучей  
Яростны в сердце удары надежды живучей  
Ночь приходи, здесь тебя ждут  
Дни уходят, а я всё тут*

Когда я проснулся, день был уже в самом разгаре. Попив оставшегося в котелке чая, я отправился в Адамовку. Я неспроста пообещал моей ночной гостье рыбный суп; накануне я свел знакомство со старыми местными рыбаками и один из них, самый молодой, по

имени Моисей, сказал, что он вторую ночь ловит рыбу, и что на мою долю тоже хватит.

Я еще ни разу в жизни не готовил ухи. Моим наибольшим достижением в кулинарном искусстве была жареная картошка, приправленная яйцами. Я даже не был уверен, что вообще стоит идти в деревню за «моей долей»; но я уже пообещал Еве. Обещание вырвалось из меня так легко, потому что мне очень хотелось увидеть ее снова. Я отправился к Моисею, чтобы расспросить, как это рыбное блюдо делается. Старый рыбак, он наверняка знает и имеет собственный рецепт. Так оно и было: я получил от него с десяток рыбешек песочного цвета с черными крапинками, которых он называл «бычками», и он принялся подробно разъяснять весь процесс их приготовления. Уже заканчивая инструктаж, Моисей вдруг предложил:

– Знаешь что, давай-ка я лучше пойду с тобой и уже на месте покажу, что и как.

Я его поблагодарил, но от помощи отказался, сославшись на поговорку моей мамы: «Пока сам не попробуешь, вкуса не узнаешь».

Завернув рыбок во влажную ветошку, – быть может это был старый платок, оставшийся от его умершей жены, – он протянул мне впридачу несколько лавровых листиков.

– Без них рыбный суп – не рыбный суп. Брось их в котелок, когда вода будет уж как следует булькать... – это был его последний совет.

Однако, я задал старику еще один вопрос. Этот вопрос так и вертелся у меня в голове, пока я выслушивал кулинарные наставления старого рыбака. Я только ждал подходящего момента, чтобы его задать. Уже стоя во дворе у калитки, я, как бы между прочим, спросил:

– Я тут девушку видел... Как она попала в ваш заброшенный уголок?

Старик не сразу понял, чего я от него хочу. Оглядевшись, как будто рассчитывая увидеть девушку, о которой я говорил, он с готовностью ответил:

– А, видать ты про внучку Серафимы... Мать привезла ее еще ребенком, а сама в городе живет. Она здесь и выросла, – и добавил, – дикая лошадка...

Пытаясь приготовить рыбешек как учил меня старик Моисей, я провозился до наступления темноты. Я никак не осмеливался отдать свое блюдо, хотя и был голоден. Да, пахло мое варево совсем не плохо. Наконец, я извлек из моего универсального ножичка ложку и попробовал. И снова вспомнил поговорку моей мамы: «Есть нельзя, но и отравиться трудно!».

Ночь быстро спустилась на песчаный берег, поглотив влажные окрестности; только пламя костра и слабый свет луны высвечивали островок в этом темном мире. Я ждал Еву, которая, конечно же, не знала, что мое ребро то и дело напоминало о себе жгучей тоской и слабой надеждой, что она снимет и эту боль. Я вспомнил слова старого Моисея, который ясно дал мне понять, в своей простецкой манере, какого он мнения о Серафиминой внучке. Очевидно, так думали они все, эта горстка стариков. Так бывало уже не раз, что того, кто выделяется своей инакостью, начинают считать диким созданием или сумасшедшим, или записывают в ведьмы...

Впрочем, я и сам вчера заметил некоторую странность в поведении Евы: эти внезапные перемены настроения – то вдруг взрывы веселья, блеск в глазах, а мгновение спустя – беспомощный, потерянный взгляд. Зачарованный тогда искусством Модильяни, я увидел в необычной внешности Евы что-то совсем иное – отражение его женских портретов. Модель, которую большой художник просто не успел нарисовать: его жизнь оборвалась рано, и потребовалось много лет, прежде чем эта красивая девушка из Адамовки явилась в мир. Такое искривление времени и пространства сделало ее фигуру столь же странной, сколь и притягательной, как это произошло и с рисунками Модильяни после его трагической гибели.

Я не слышал, как Ева приблизилась к костру. Я заметил ее лишь в последний момент, когда она переступила порог темноты, и красный свет от огня осветил ее фигуру. Я аж подпрыгнул.

Прежде чем я успел что-либо сказать, Ева встала на колени и заглянула в котелок с моим рыбным супом. Потянув воздух ноздрями, она повернула ко мне голову и удивленно произнесла:

– Адам, ты это сделал для меня?!

Я не ответил. Тихо наполнил мою единственную миску густым варевом и протянул ее Еве. Она взяла ее из моих рук вместе с ложечкой, которая торчала из раскладного ножа. Рассматривая его с

любопытством, как ребенок незнакомую игрушку, она начала есть.

Я сидел рядом с ней и думал, что еще вчера днем мне бы точно не пришла в голову такая фантастическая мысль – самому что-нибудь сготовить, особенно рыбный суп. Видимо, это – сон, и я не хочу, чтобы он заканчивался. Ева повернулась ко мне с миской и поднесла полную ложку к моему рту.

– Однако, вкусно, поешь со мной.

Я тихо повиновался движению ее руки от миски к моему рту и проглотил, не ощущая вкуса. Я не знаю, что она этим хотела показать, то ли готовность делить со мной хлеб, то ли это был благородный способ, чтобы поскорее избавиться от моей продукции. В конце концов, еда закончилась. Она отставила пустую миску в сторону и сказала:

– Когда я была маленькой, в доме у моей бабушки по вечерам собирались женщины; они читали молитву, а после пели длинные печальные песни. Я думала, что их песни тоже были молитвами, но в них Бог не упоминался. Некоторые из них я запомнила и сейчас хочу тебе спеть одну.

Ева устремила взгляд в огонь, как будто оттуда должен был слышаться тон, выпускаемый натянутой струной в пылающих недрах костра. Сначала раздался тонкий протяжный звук, рожденный где-то в глубине. Звук вытекал с силой и превращался в слова. Я не все слова понимал, но они, соединяясь с напевом, воплощались в любовную балладу о казаке, который уехал биться с турками, а его любимая осталась одна. Прошли месяцы и годы, и ее сердце от тоски и печали превратилось в кусочек холодного сапфира...

Мелодия внезапно оборвалась, как будто захлебнулась в темноте. Ева поднялась со своего места и легким движением скинула свое простое выцветшее платьишко. Она осталась стоять нагая, похожая на модель, которая позирует художнику. Огонь костра еще рельефнее обозначил выразительные изгибы ее тела, и я, смутившись от неожиданности увиденной картины, принялся жадно читать таинственные линии ее девичьей красоты.

Она протянула мне руку, как бы желая предложить мне запретный плод. Схватив мои пальцы, она потянула меня к воде, к узкой блестящей дорожке луны.

## 3

Ева стала приходить каждую ночь. Как ни настраивал я уши, я никогда не мог слышать ее шагов. Она словно рождалась из ночи, и только огонь костра, как краски на кисти художника, был способен сделать ее всамделишной, живой. Она любила огонь и могла долго вот так сидеть на коленях без движенья, вглядываясь в горящие ветки, которые я подбрасывал в костер. Тогда мне казалось, что она шепчет что-то в него – то ли молитву, то ли девичью клятву, то ли колдовские слова.

Я читал ей стихи моего любимого Аполлинера, и каждый раз, когда я заканчивал читать, она переводила взгляд с огня на меня и тихо говорила одно единственное слово: «еще»... Был ли я уверен, что Ева понимает, что я читаю? В те ночи я об этом не думал. Я просто читал наизусть для нее одной, а она просто вслушивалась в мой голос, как я в ее пение. Вероятно, так создается настоящая близость между двумя душами.

Однажды ночью я рассказал ей про моего Модя. Это произошло как бы само собой, как рассказывают детям сказку на ночь, чтобы ребенок заснул; как читают больному у постели, чтобы он немного забылся в своей боли. Эренбург писал, что про Модильяни нередко говорили, будто он спился, одичал, умер... Сколько в этом правды и сколько лжи.

Он был бедным и бесприютным, как и полагается настоящему художнику. Целый день он работал в своей студии, а ночи проводил в веселье и шуме кофеен, вместе с друзьями, такими же бедными, но талантливыми поэтами и художниками. У Модя не всегда было чем платить за ужин. Тогда он тут же, на месте, на листке бумаги, на салфетке рисовал портрет посетителя, чтобы тот покрыл его долг. Часто он заходил в маленький ресторанчик, где хозяйка, сама бывшая модель, имела слабость к красоте и гордости итальянца, и выносила ему что-нибудь поесть. В качестве платы Модя каждый раз оставлял ей несколько рисунков. Хозяйка имела большое сердце, но в искусстве мало что смыслила. Его рисунки она складывала в подвал. После смерти Модя к ней пришел торговец-коллекционер, и спросил, нет ли у нее рисунков или набросков Модильяни. Странный гость пообещал ей за каждый рисунок по 1000 франков. Тут-то

хозяйка и вспомнила о пачке бумаги, которая должна была лежать у нее в подвале. Она бросилась в подвал и увидела, что все рисунки съедены мышами...

Это была моя последняя ночь, проведенная с Евой. Рано утром я проснулся и не обнаружил ее рядом. По утрам, на заре, прежде чем покинуть палатку, она притрагивалась к моему лбу своими влажными губами. Открыв глаза, я короткое мгновение вглядывался в ее глубокие черные зрачки и снова засыпал, как бы погружаясь в их пучину. Так было и в то утро, но, как я вспоминаю теперь, я не стал вглядываться в ее глаза; я просто был не в силах это сделать. Мои глазные яблоки как будто застыли, и сон не отпускал меня. Тогда я подумал, что это был не сон, а чары, насланные Евой. Я увидел ее сидящей у костра, как обычно, она вглядывалась в огонь. Она что-то шептала все громче и громче, пока до моих ушей ясно дошел каждый звук. Нет, она не пела свои протяжные печальные песни; это были стихи Аполлинера, которые я ей никогда прежде не читал:

*И бледность их лица покрыла,  
И разбились рыдания их...  
Как руки, что ты уронила,  
Как снег, что задумчив и тих,  
Так падали листья уныло.*

Я помню это как сейчас: я бегу в Адамовку, держа в руках мои летние сандалии. Мне казалось, что босой я добегу быстрее. Так оно и было, потому что песок, накалившийся на солнце, жег мне ступни, будто тысячи змей жалили мои пятки, изгоняя из райского сада. Я влетел в домик старосты и, едва переводя дыхание, одними губами выговорил:

– Где Ева?

Старик на меня так посмотрел, будто меня и в самом деле только что покларал Всевышний

– Какая Ева? – переспросил Федор, как спрашивает глухой, когда не уверен, что правильно расслышал вопрос.

– Я хотел сказать, внучка Серафимы!

Федор покачал головой, давая мне понять, что кричать не надо, он хорошо слышит, и уже на свой манер поведал мне последние

новости Адамовки. Старая Серафима, бедняга, позавчера умерла. Проводить ее в последний путь приехала ее дочка из города.

– После похорон, – подвел итог староста, – дочь покойницы и внучка уехали в город.

Он тяжело вздохнул и сам себе добавил:

– Да, Адамовка пустеет...

На другой день я сложил мою палатку. Топор и чугунный котелок я зарыл под двумя кирпичами, на том же самом месте, где нашел их двенадцать дней назад. Это выглядело, как если бы я наспех заметал следы, пытаюсь скрыть последние улики, подтверждающие реальность мною прожитого здесь отрезка времени. Вероятно, мне все это приснилось.

*Перевод с идиш Юлии Рец*

**Борис Сандлер**, известный еврейский прозаик, родился в 1950 году в молдавском городе Бельцы. Был профессиональным музыкантом, а после окончания Высших литературных курсов при лит. институте им. Горького (Москва, 1981-1983), работал на Молдавском телевидении, где вел программу на идише «На еврейской улице».

В 1992 году Б.Сандлер репатрируется с семьей в Израиль. Работает в Еврейском Университете (Иерусалим); возглавляет издательство «Лейвик-фарлаг» и издает единственный в мире детский журнал «Кинд-ун-кейт».

С 1998 г. по 2016 главный редактор старейшей еврейской (идиш) газеты «Форвертс».

Издан 15 книг прозы и стихов. Книги и отдельные произведения писателя переведены на русский, английский, немецкий, французский, иврит и другие языки. Лауреат ряда престижных премий в Израиле, Канаде и США. Живет в Нью-Йорке.

---

\* Стихотворение Гийома Аполлинера в переводе М. Яснова.

Слава ПОЛИЩУК

---

## КОГДА КОНЧАЕТСЯ НОЧЬ

---

*Памяти отца и матери*

### ***Тайм-Уорнер-Центр, Коламбус Сёркл***

Смесь запахов и звуков, слетающихся ко мне из дальних и ближних углов огромного аквариума Коламбус Сёркл. Сефора (Sephora) нашёптывает свои секреты полутёмным дверным проёмом, манящим россыпью помадных цилиндров в рост человека. Я и помада – мы одного роста, но только до того момента, пока из цилиндра не выкрутится мягко срезанный под углом стержень. За ними баночки с кремами и втираниями, делающими кожу неотличимой от глянца рекламных плакатов, пластмассовые ящички с охрами пудры, тенями и румянами.

Лёгкий звон посуды, новогодняя музыка колокольчиков, шорох упаковочной бумаги, бережно разделяющей фаянс тарелок от неожиданного соприкосновения друг с другом в руках продавщиц кухонного рая Вильямса-Сономы (Williams Sonoma).

С детства любимый тяжёлый, навозный, лошадиный запах кожи из дверей за моей спиной – конюшни Дизела. Лучшие художники вложили свой талант в эти певучие линии, мягкие углы, дважды простроченные швы, соединив холодную, знающую себе цену «лицевую» с тёплой «изнаночной». Вещи кроили, прощупывали, мяли и опять распрямляли негнущиеся пальцы мастеров из Мольены, что на севере Италии.

Лёгкий, негромкий разговор в комнате магазина «Арт оф Шейвинг» слева от меня. Разговор с полуслова понимающих друг друга продавца и покупателя о мягкости, но и одновременно упругости волоса в помазке, висящем на серебряном крючке, ввинченном в подставку дорогого дерева. О нежном, но не назойливом аромате крема



после бритья, сделанном из водорослей, за которыми ныряльщики ныряют на безумную глубину где-то в изумрудных водах. Сверху доносится лёгкая музыка и негромкий смех сидящих за столиками французского кафе. Маленькие кофейные эклеры, корзинки, наполненные малиной, покоящейся на кремовой воздушной подушке, хрустящие круассаны, цилиндры шоколадного мусса, пропитанного ликёром.

Если смотреть вниз, на первый этаж, где эскалаторы, как в топку, увозят покупателей под землю, видна витрина с рядом манекенов. Хуго Босс. Манекены в витринах на трёх этажах. Взгляд пустых глазниц прямо перед собой в зал. Когда-нибудь мои картины купят «задорого». Надев что-нибудь от Хуго Босса, я почувствую, как плечи расправятся, мешки под глазами исчезнут как в юности, и волосы в ушах перестанут расти. Дочь не скажет, вылезая из машины перед школой рано утром: «Ты только не выходи, выглядишь как... shit. Love you!»

### ***Тайм-Уорнер-Центр, первый этаж, Хуго Босс***

Поразительное внимание к каждой детали 180-ти частей мужского костюма. Для того, чтобы придать больше твёрдости лучшим мягким итальянским тканям, вплетают шерстяные нити из волоса верблюда и лошади. Если хотите, выстрочат ваше имя. Стоя перед витриной, я ни секунды не сомневаюсь, что так было всегда.

Когда выбираешь пиджак, самое главное обратить внимание на плечи. Плечо пиджака должно быть совершенно той же длины, что и ваше плечо. Нельзя, чтобы плечо пиджака свисало. Это первое. Второе, важно, чтобы на плече пиджака не было «булок». Далее, чтобы размер груди соответствовал размеру брюк на поясе. Хорошо подогнанный пиджак делает ваш торс одним сплошным монолитом. Примеряя, поднимите локти, разведите их в разные стороны, не тесно ли на спине или под мышками, но и не слишком ли свободно на груди... это важно! Далее, длина пиджака и длина рукавов. Для слегка зауженных пиджаков от Босса характерно, что полы пиджака чуть длиннее чем рукав. Это существенно. Далее – лацканы. Не стоит их делать слишком узкими и острыми. Талия. Никаких обобщений! Эта часть пиджака определяет весь ваш силуэт и должна быть скроена в полном соответствии с вашей фигурой, какой бы фигурой вы ни обладали! Пиджаки Босса дают желаемую иллюзию более широких плеч и более тонкой талии.

Ну и брюки. Конечно, здесь больше возможностей подогнать брюки под вашу фигуру, и портные Хуго Босса в этом непревзойдённые мастера. Но даже если ваши ноги большую часть дня в сапогах, до блеска начищенных, туго обтягивающих икры, обратите внимание на то, чтобы сукно не висело мешком, начиная от ягодич. Хотя здесь причин для беспокойства немного, вы в галифе, которые скроют всё, что надо скрыть. И, конечно, цвет. Только чёрный скрадывает недостатки фигуры.

Приталенный пиджак и чуть зауженные брюки делают вас мужественным. Португеза, стальные пуговицы, кресты, тонкой работы рукоять парадного кортика офицера СС и другие точно подобранные аксессуары завершат дело, начатое художником, полковником СС Карлом Дибичем и дизайнером Вальтером Хекком. И знающий толк в хорошо выстроенном мужском костюме Рейнхард Гейдрих, музыкант и бывший морской офицер, не ошибся, обратив внимание на скромного, работающего владельца небольшой швейной фабрики. Хуго Босс только шил. Быстро, аккуратно, безукоснительно следуя предоставленным ему лекалам. Вот только один недостаток был у формы, производимой Боссом. От группы офицеров СС из Аушвица поступила жалоба: очень жарко стоять летом в дневное время на платформе, долгими часами принимая «груз», потеет. Чёрный цвет не отражает солнечных лучей. Но и эти претензии не к нему.

### ***Централ Парк Ист, Коламбус Сёркл***

Стоя у толстого стекла парапета балкона, я смотрю прямо перед собой, в сторону Централ Парк Ист. Именно за этим я и прихожу сюда. Вечереет. Передо мной огромная стена-окно, собранная из сотен квадратных стёкол, с тонкими чёрными линиями соединений. Стена и есть фасад всех трёх этажей торговой части, над которой остальные сорок восемь жилых этажей. Стена от балкона довольно далеко, поэтому, когда смотришь через сетку окна на прямую Ист Централ Парк, чувствуешь себя Дюрером, эту самую сетку и придумавшим для построения идеальной перспективы. Перспектива улицы идеальна. На всю длину взгляда нет ни одной помехи, ни одной преграды. За окном далеко от меня внизу сверкающая вечерними огнями воронка Коламбус Сёркл, в которую стекают машины со всех впадающих улиц, 8-ой Авеню, Бро-

двея, Вест 59-ой. Машины, блестя огнями, бесконечно, ни на минуту не останавливаясь, летят вокруг жёлтой колонны с почти невидимой снизу свечой Колумба и вливаются в Централ Парк Вест. Если прищуриться, то это похоже на раскручивание драгоценной пращи, бесшумно выбрасывающей золотые камни машин поперёк Манхэттена в сторону реки. Скрываясь за Восточной стороной острова, поток золотых камней неизменно возвращается по левой стороне Централ Парк Вест, чтобы опять влиться в большие и малые улицы вокруг колонны. Чем темнее становится за окном-стеной, тем драгоценнее круги, описываемые пращой и тем богаче пригоршни золотых россыпей.

Перспектива улицы дробится, бесконечно повторяя на стекле отражения внутренностей всех трёх этажей, рекламы магазинов, столиков ресторана, меня, стоящего у парапета, людей на всех этажах, витрин, отстрелянных помадных гильз, помазков для бритья, манекенов Хуго Босса с белыми лицами, радостных вкладчиков «Капитал Уан», бегущей строки «What in your wallet?» на стекле барьера. Отражения, сокращаясь в перспективе улицы, множатся, становясь частью слепящего, бесконечно разматывающегося вдоль тёмной стены Центрального парка клубка, многократно повторяясь в сотнях, тысячах стёкол разбегающихся по городу машин.

Иногда на балконе ставит торговые павильоны какой-нибудь ювелирный или кондитерский магазин. Привозят диваны, раздают кофе и сладости. Однажды здесь расположилась галерея. Обычный набор имён, которые должны быть в каждой приличной квартире. Безразмерные тиражи бронзовых текущих часов Дали, одалиска Маттиса, кентавров с девушками Пикассо, геометрических упражнений Вазарели и прочей продукции, безмолвно висящей в ваннах, прихожих и спальнях жилой части Тайм-Уорнер-Центра. Но на этот раз глаз куратора дал непростительный сбой. Под персональной подсветкой в золотой раме с розовым паспарту висела литография портрета матери Арчила Горького\*. В короткой аннотации было указано: имя – Возданиг Адоян, место рождения – деревня Хорком, Турция.

### **36 Юнион Сквер, Гринвич-Виллидж**

Я буду звать тебя Пайцар, Светлая, ты же знаешь, я даю всем имена, возьми меня за руку, у тебя тёплая рука, держи меня так же

крепко, как тогда, когда мы бежали из Вана, я помню, ничего не забыл, мы шли восемь дней, было страшно, ты успела надеть на меня пальто, днём было жарко, а ночью холодно, мы почти не спали, мы ничего не взяли, днём они нагнали нас, всадники на лошадях, женщины бросились бежать, тащили за собой детей, там были большие камни, под откосом, ты споткнулась и мы упали, бежать было страшно, дети кричали, лошади кружились над нами, почему-то я помню уздечку, серебряный набор, офицер в феске, они старались оттеснить молодых женщин от откоса, мы лежали за камнем, я всё видел, они не убивали нас, брать было нечего, всадники спрыгивали на землю и гонялись за женщинами, хватали их за волосы и опрокидывали на спину, я никогда никому не рассказывал, у меня две дочери, дочери, это очень хорошо, Пайцар, один намотал косу на кулак, орал, чтобы девочка замолчала, а она кричала, было больно, тогда он наступил коленом на её лицо, вдавил в траву, она только мычала, другой запрокинул её ноги за голову и прижал их к земле, остальные по очереди наваливались на неё спереди, она больше не кричала, а всадники подходили по очереди, пока тот в феске не крикнул, они сломали ей шею или позвоночник, они долго наваливались, она просила убить её, и один полоснул саблей по животу, они вскочили на лошадей и ускакали, мы шли дальше, до Еревана, потом много всего было, а в 19-ом году ты умерла от голода, ты совсем ничего не ела, да и нечего было есть, мы жили в комнате почти без крыши, ты лежала, пыталась что-то говорить мне, но сил не было, я видел, как ты умерла.

### **36 Юнион Сквер, Гринвич-Виллидж**

Несколько раз он начинал портрет матери. Малейшее движение его пальцев находило отклик в движении кисти по холсту. Но сейчас этого не происходило, кисть мешала, удлинённость руки не сокращала расстояние между ним и холстом, а бесконечно отдаляла. Тепло от холста не шло обратно к руке, как это было всегда. Он не чувствовал рук матери, сложенных на коленях. Он посмотрел на стену. Это всё, что осталось, фотография, мама отвела его к фотографу в Ване, чтобы послать снимок отцу. Положил кисть на палитру. Дотронулся до фотографии на стене. Подошёл к холсту. Сжал и разжал кулаки, тщательно вытер ладони и пальцы чистой тряп-

кой... и прижал их к горке краски на палитре. Краска чавкнула под его ладонями. Прижал сильнее и резко отнял. Палитра, прилипнув на мгновение, зависла и сорвалась на стол. Посмотрел на ладони, покрытые толстым слоем с острыми вершинками краски, и закрыл своими ладонями руки матери на холсте. Холст прогнулся, он ослабил давление. Чуть сдвинул, провёл ладонями по рукам матери, как тогда в 19-ом в Ереване в последний раз. Он оторвал свои ладони от холста. На коленях матери лежали её руки.

### ***Шерман, Коннектикут***

В доме душно. Он остался один. Шея болела. Расстегнул проклятый «ошейник», скинул. Стало легче дышать. Спустился в сарай. Подтолкнул ногой ящик ровно под балку. Хотелось пить, но он торопился всё закончить. Поднялся в мастерскую, взял грифель. Взглянул на холсты, вернулся в сарай. Уголь плохо ложился на деревяшку, крошился. Всю свою жизнь он пытался отодвинуть, загнать, завалить память тряпьем ежедневных событий, чужим именем Горький, трупы на улицах Вана, разорванный рот девочки, молчание матери, её иссохшее лицо. Встал на ящик, одной рукой накиннул петлю и оттолкнул ящик ногой. Дом был пуст. Обычно в это время они выходили. Собака ждала. Обнюхала ящик и легла возле. Она хотела пить, было жарко. Миска была пуста. Наверху в мастерской раздался телефонный звонок. Сухая палитра лежала на стуле возле мольберта. Высохшие за лето холсты.

### ***Дэд Хорс Бэй, Бруклин***

35-ый автобус медленно тащится по Флатбуш, часто останавливается, пока, достигнув Кингс Плаза, набирает скорость и уже почти без остановок несётся до моста Марин Парквей. Пустая будка остановки. Справа у дороги начинаются заросли мёртвого кустарника, сухих безжизненных деревьев, высокой жёлтой травы. От дороги тропа к заливу. Серый песок, рваный откос на полтора метра возвышается над пляжем. Несколько брошенных разбитых лодок, ржавый катер. Сильный ветер. Весна, но холодно.

Возле воды сухое дерево с редкими ветками, к которым при-

вязаны пустые бутылки, позвякивающие на ветру. Когда-то здесь делали удобрения из лошадиных костей, потом рыбий жир из рыбки менхэден, что-то вроде селёдки, которую ловили прямо здесь, а потом это место использовали как городскую свалку. Когда и свалку закрыли, то засыпали всё строительным щебнем, смешанным с песком и глиной.

Отливы и приливы постепенно размывают насыпь, обнажая слои раздробленных костей и мусора. Сухая трава цепляется корнями за острое стекло, чуть прикрытое мёртвой землёй. Отступая, вода тащит за собой пустые бутылки времён расцвета производства рыбьего жира начала прошлого века с клеймами фабрик на доньшиках. Если повезёт, то можно найти лошадиный череп или ржавый пистолет, но это редкость. В дни отливов мокрый песок засыпан кожаными обувными подмётками, кусками железа и битым стеклом, но попадаются и целые маленькие и большие бутылки. По пляжу бродят коллекционеры старых бутылок.

*Слава Полищук родился в городе Клинцы Брянской области, Россия. Окончил Московское художественное училище памяти 1905 г., Бруклин колледж университета Нью-Йорка (бакалавр искусств, магистр искусств).*

*С 1996 года живет в США.*

*С 2003 года работает вместе с Асей Додиной.*

*Их картины находятся в собраниях различных галерей и музеев.*

*Известный художник Слава Полищук в последние годы приобретает все большую популярность в качестве литератора. Он выпустил несколько книг рассказов и эссе.*

---

\* **Арчил Горки (Горький)** – американский художник армянского происхождения, один из основателей «абстрактного сюрреализма». Считается одним из влиятельнейших американских художников XX века, его картины выставлены во всех крупнейших галереях США, а также в лондонской галерее Тейт. Последний год жизни Горки был полон трагических событий: у художника обнаруживается рак, он попадает в автокатастрофу и, сломав руку, лишается возможности рисовать, а жена покидает его, забрав с собой ребёнка. В возрасте 44 лет Горки совершает самоубийство, повесившись.

Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ

---

## НОВЕЛЛЫ

---

### *Вокзал на двоих*

Я вышел из здания на привокзальную площадь. Впереди в серой мути высилась спина каменного Ленина, за ним припаркованные грязные машины, дорога, серые пятиэтажки. Чтобы не мешаться на выходе, я отошел вправо, не нашел близко никакого козырька и накинул на голову капюшон, по которому тут же закрапал мелкий дождь. Опять дождь. Я закурил, стараясь прятать сигарету под рукавом. Стало уютно.

Я находился в малознакомом мне городе, где меня никто не ждал, но я полностью располагал собой: мог посидеть в кафе, мог гулять, взять номер в гостинице, а мог взять билет на поезд и уехать обратно. На часах было около девяти утра, не холодно. Сыро – но не холодно. Я выкурил одну сигарету, бросил окурочок в лужу, закурил новую. Сколько я так буду стоять? Затем пошел бродить по площади: к памятнику и куда-нибудь в сторону. Так я ходил минут десять, наслаждаясь бессмысленностью своего приезда.

– Тимур! – окликнул мужской голос.

Я вздрогнул и поднял голову. Прямо передо мной возникла фигура в плаще и улыбающееся рыжеватое небритое лицо.

– Андрей?!

Мы пожали друг другу руки и даже чуть приобнялись как очень хорошие приятели. Не знаю, кто был больше удивлен встрече: я или он? Да и как мы вообще узнали друг друга? Наше знакомство состоялось с месяц назад на этой же площади. Ко мне подошел человек и попросил сигарету. Я дал ему одну закурить и еще пару-тройку про запас. Помню, что он зачем-то оставил мне номер своего телефона, а я зачем-то его записал. Спросил, кто он? Ответил: пиши Андрей, да и все. Позвони, если надо будет. И вот я снова его увидел.

Посыпались вопросы: как я поживаю, зачем опять приехал, чего стою просто так?

– Нет, надо же! – воскликнул Андрей, не получив от меня внятных ответов, – ну, как я тебя узнал, а! Это нельзя просто так пропустить, это надо в смысле пропустить. То есть отметить, никак по-другому нельзя, Тимур.

– Андрей, подожди – я снова достал сигарету, – меня ждут, понимаешь, должны подъехать.

– Да ты уже сколько тут стоишь! Я наблюдал за тобой: ты – не ты? Никто не подъехал, может, и не подъедет никто.

– Дай еще полчаса. Потом пойдем, посидим.

Его лицо радостно раскрылось.

– Ты не волнуйся, мы немного посидим, и придут твои, все будет отлично, со мной всегда так. Но как я тебя увидел! И как ты меня узнал! – он не мог сдержать изумления. – Иди, иди уже, ладно, походи, я тебя не буду отвлекать, а через полчаса заберу. А то ты замерзнешь.

Я согласно кивнул и пошел себе дальше ходить по площади.

Полчаса прошли. Я сам нашел глазами Андрея.

– Где здесь лучше посидеть? – спросил я.

Андрей сделал серьезное лицо, задумался и указал пальцем в сторону какой-то будки.

– Вон там.

– Что это?

– Нормально там, – сказал он уверенно, – и свое разлить можно, у меня есть!

– погоди, свое, – остановил я его порыв, – у меня тоже есть. – Расстегнул молнию сумки и вытащил бутылку водки. Она произвела впечатление.

Мы пошли к будке. Зашли. Внутри оказалось несколько столиков со стульями, таких же грязных, как и вся площадь. Мы были первыми посетителями. Официантка, серьезная женщина лет пятидесяти, нам обрадовалась и сразу ввела в курс дела.

– Значит, так, ребята, платите за бутерброды, а спиртное можно свое. Если и мне нальете. Понятно объяснила?

Я развел руками.

– Разумеется, полный стакан.



Она поставила на столик три стакана и на тарелочке два бутерброда с сыром, за которые я сразу рассчитался. Я наполнил стаканы. Женщина взяла один, сказала «со здоровьем», выпила до дна и довольная бросила:

– Ну, вы отдыхайте, а я пойду, помечтаю, – и ушла за прилавок. Мы выпили. Белое тепло разлилось по телу. Посидели немного.

– А кто должен за тобой приехать-то? – спросил Андрей. – В окошко можешь смотреть.

Я повернул голову влево. Там действительно было окно. Маленькое мутное окошечко. Я снаружи его не заметил.

– Женщина.

Андрей понимающе кивнул.

– Договорились? – Да. – А что же не идет? – Давно договорились. Могла забыть, – сказал я и снова наполнил стаканы.

– Ты ешь мой бутерброд, я не хочу. – Андрей почесал небритое лицо. – Тимур, извини, но так нельзя мужику. Надо есть. – Он подвинул ко мне тарелку. – А как давно договорились встретиться? – Месяц назад, вот когда мы с тобой познакомились, тогда и договорились.

– Ну, это срок небольшой, чтобы забыть.

– Но мы сразу поссорились, – сказал я, – не общались.

Андрей удивленно вскинул брови.

– Не понял, погоди, так она подумала наверняка, что ты не приедешь, ты что!

– Знаю, – ответил я вяло – водка начала размягчать организм. – Давай уже выпьем. – мы чокнулись. Второй стакан пошел еще лучше первого. Появилось чувство великого безразличия.

– Не совсем, – сказал Андрей, – не безразличия, а свободы.

Я удивился его ответу, так как был уверен, что сказал про безразличие про себя. Значит, вслух.

– Пойдем, покурим?

– Таня, мы курить, вернемся еще! – Да идите себе, – раздался сонный голос из-за прилавка.

Мы вышли под дождь. Закурили. Стало еще лучше. Андрей глубоко затянулся, выпустил дым и сказал:

– Не простая, значит, женщина, да, не просто баба?

– Ну, наверное, как сказать...

– То есть вот так ты решил: вспомнит, приедет, а не приедет, значит, не вспомнила. Так?

– Неважно. Просто приехал и все. Зачем об этом говорить? Лишнее это. И не смотри на меня с состраданием.

Курить больше не хотелось. Мы вернулись в будку.

– Теперь я угощаю, только ты доешь свой бутерброд.

Я подчинился.

Андрей подошел к прилавку. Таня спала на стуле и сопела. Андрей открыл холодильник, в котором хранилось съестное, достал два бутерброда, завернутые в тонкий пищевой полиэтилен, и положил перед Таней сто рублей.

– Да, – сказал он, сев за столик, – странный ты, вот так взял и приехал. Куда, к кому, зачем? Может, сходил бы еще, посмотрел?

– Да нет, позвонила бы. Номер знает.

– Да это же баба! – воскликнул Андрей, – она могла в ярости стереть, а теперь не знает, что делать, ждет тебя! Давай по стакану и пошли ее искать. Он был настроен решительно.

Выпили и вышли на улицу. Мы ходили с полчаса. Андрей едва ли не через каждый пять-десять шагов указывал мне на случайную женщину и говорил уверенно: она! Я мотал головой, даже не глядя. Не она. Андрей отошёл от меня, поняв, что со мной искать бесполезно. Он подходил к женщинам любого возраста, среди которых попадались почти бабушки, и спрашивал: «Женщина, я прошу прощения, вы не его ждете?» Мне уже надоело ходить. Я махнул Андрею рукой. Он подошел. Мне показалось, что мы единственные здесь трезвые и духовные. А вся людская привокзальная площадь поголовно пьяна.

– Пока не нашли, но найдем, ты не переживай.

Мы вернулись к себе. Налили.

– Ты где живешь? – спросил я. – Нигде. Ночую, где придется, но я не бомж. – Это как? – мы выпили. Водка начала дурманить. – Я свободный человек. Видишь, и деньги есть и одет прилично. – Да, – подтвердил я, – лучше меня.

Из-за прилавка раздался недовольный мык Тани.

– Тсссс! – Андрей приложил палец к губам. Мы налили еще. Моя бутылка 0,75 почти опустела.

– Нет, а все же? – Я не удовлетворился его ответом, – где ты ночуешь хотя бы?

– Да забудь, – отмахнулся Андрей, – а то еще жалеть начнешь. Да где угодно, сказал же, я свободный дух, вот как. Могу в любом подъезде заснуть.

– Хорошо, – сказал я, – принято, а зачем живешь? С каким смыслом внутри? – остатки трезвости сдавались.

– Людям помогаю.

Я уважительно покачал головой.

Мы допили и пошли снова гулять. Андрей решил показать мне город. Он махал руками, что-то рассказывал, указывая на деревья, канавы, лужи, грязь, слякоть. В какой-то момент он остановился и зарыдал.

– Брат, не плачь, – сказал я, – ты ранишь мне сердце.

– Я только сейчас понял, – сказал он сквозь рыдание, – она не придет, и ты зря приехал.

Мы побрели обратно. Дошли до нашей будки.

– Андрей, мне надо уезжать. Я пойду, возьму билет.

Тот грустно кивнул головой. Я обернулся за несколько минут – вышел с билетом в руке.

– Через час поезд. Пойдем еще выпьем?

– Нет, не хочу. – сказал Андрей.

Мы стояли этот час на одном месте и мокли под дождем.

– Я пошел, – сказал я.

– Вот так приехал. Из Москвы сутки трясся ради того, чтобы ничего, просто так. Доказал себе, что все это ерунда. Что у тебя в душе осталось-то теперь?

– Не знаю. Я никого не ждал. Я ради тебя приехал. Думал, выйду на площадь, буду стоять и ты подойдешь.

Я ушел. Из здания вокзала посмотрел в его сторону. Андрей уходил, шатаясь, и скоро затерялся.

### **Узбеки и мировой кризис**

*Чем объяснить внезапное смятение  
и лиц растерянность? И то, что улицы  
и площади внезапно обезлюдели,  
что население по домам попряталось?  
– Тем, что смеркается уже, а варвары  
не прибыли. И что с границы вестники  
сообщают: больше нет на свете варваров.  
– Но как нам быть, как жить теперь  
без варваров?  
Они казались нам подобьем выхода.*

**К. Кавафис (Пер. Г. Шмакова  
под редакцией И. Бродского.)**

Узбеки появились неожиданно и колоннами с нескольких направлений вошли в Москву. Неожиданность появления узбеков была тем удивительней, что об их скором пришествии стали говорить на улицах города еще несколько месяцев назад, а потом и по телевидению, в газетах, журналах, по радио – непрерывным потоком шла информация, что узбеки близко, что они уже пересекли экватор, или что колонны узбеков движутся по черноземью, проходят поля подсолнечников Краснодарского края, а иные сообщали, что узбеки преодолели арктические льды и скорым маршем движутся от Архангельска в направлении Золотого Кольца. Но все это были лишь слухи, много спекуляций и всякого нездорового интереса, так как время шло и жизнь не менялась.

Разумеется, что после такого, ничем не подкрепленного информационного напора, в определенный момент настал период грубого отрезвления, даже безразличия, и когда в популярном телевизионном шоу ведущий N. с решимостью заявил, что узбеков вовсе не существует, он этими словами не вызвал в аудитории уже никакого оживления, только один профессор заметил ведущему ток-шоу, ссылаясь на достоверные источники, что все не так просто, как тот утверждает, однако аудитория осталась настороженно глуха к мнению ученого мужа.

И вдруг они появились! Узбеки вошли в столицу, и жители, не сговариваясь друг с другом, позабыв о своем прежнем глупом неверии, наскоро высыпали из домов, раскинули во дворах палатки и переселились в них со всем скарбом, зная наверняка, что узбеки разрушат все ветхие строения и построят хорошие новые дома. Это знание горожан, их уверенность в своих действиях были сродни древнему инстинкту, подобно тому как, например, только проломившие скорлупу детеныши морских черепах бегут к океану.

Ожидания горожан оправдались: узбеки взялись за дело, а люди в палатках ждали окончания работ.

Жилые здания росли с ошеломительной быстротой в самые небеса. Горожане потирали от предвкушения чуда руки, обзванивали родню, рассказывали, как они вот-вот заживут в удобстве и неге.

Вскоре дома были построены, и настал черед приведения их в надлежащий вид, время для покраски, побелки и всяких прочих дел, нам неведомых, а ведомых одним узбекам, вроде установления сантехники, проведения электричества и т.п. И тут-то в один из дней узбеки пропали, исчезли, будто их никогда и не было.

Прошли первые томительные часы полной неизвестности, после чего оторопевшие москвичи стали спрашивать друг у друга, куда подевались узбеки? Но никто не мог сказать на это ничего вразумительного, и тогда повсюду начались стихийные митинги.

На одном из них некий оратор высказал мнение, что, возможно, во всем виновато глобальное потепление, что узбеки пропали из-за озоновых дыр...

Другой оратор парировал тем, что потепление ни при чем, а все намутил Запад, что из секретных американских лабораторий утек опасный вирус, который и привел к исчезновению узбеков.

Третий, зло ухмыляясь в сторону предыдущих докладчиков, убежденно доказывал, что дело в генной инженерии, что узбеки питались модифицированной колбасой, оттого и ушли... Но сей оратор был зло освистан, так как всякому известно, что узбеки ничем не питаются – такова их природа.

А между тем за выступлениями и сходами народа подошла осень и вечерами стало холодать. В минуту отчаяния жители решили призвать священников, чтобы те совершили молебен. Долго священники произносили молитвы и обходили дома, не достроен-

ные узбеками, окропляя их святой водой, всматриваясь в пасмурное небо, но узбеки все не появлялись.

В ноябре посыпал снег. Люди стали терять надежду, и палатки охватил огонь семейных неурядиц. Назревала катастрофа. И когда горожане приготовились к худшему, родители стали оплакивать бедных своих детей за то, что с талантом родились не там и не в то время, а дети оплакивали самих себя – узбеки появились вновь так же неожиданно, как прежде пришли и ушли. Буквально за сутки они сдали квартиры под ключ, унесли весь строительный мусор и опять исчезли. А горожане переселились в благоустроенные жилища и успокоились – сыто и бессмысленно.

Но тема узбеков не исчезла из умов москвичей вместе с тревогами, она заняла их настолько, что и в нашем микрорайоне (а что уж говорить о районах больших!) раз в неделю проходили дискуссии на тему: узбеки и люди. Мне это доподлинно известно, так как я лично присутствовал на одной такой дискуссии, и даже задал ведущему вопрос: «Являются ли узбеки просто узбеками или они сверхузбеки, и еще, приходят ли они к нам сами или направляются на землю высшим разумом в кризисные моменты жизни человечества?» Этими вопросами я сорвал аплодисменты, а ведущий глубоко задумался и говорит, спустя месяц-другой издал брошюру под названием «Цикличность появлений и исчезновений узбеков», на чем заработал солидный капитал, сильно возомнил о себе и уехал на ПМЖ в Лондон искать скрытый в тесных кварталах от постороннего взгляда мифический город Tashkent.

## Мирный договор

Весь день с редкими перерывами шел сильный дождь. От близкого грома, казалось, разрушатся и нависший покров темных облаков, и дома под ними – такой стоял треск. И еще тяжелые ослепленные молнии проходили по небу – разрывали наглухо закрытый тесный мир. Всего на мгновение можно было заглянуть в зигзагообразный разлом, и пасмурные своды с шумом захлопывались, и лил дождь. В ту минуту, когда Гиндзаэмон хотел остановить машину, дождь особенно усилился, и мутные огоньки автомобилей, ползущих по шоссе, были едва различимы.

Гиндзаэмон отступил от бордюра несколько шагов назад, где, как показалось ему, было меньше воды, провалился по щиколотку и небрежно махнул в дождь рукой. Серая «Волга», освещенная молнией, возникла как из другого, нереального мира. Стекло передней двери опустилось: из глубины кабины показалось лицо водителя. Нагнувшись в полсалона к Гиндзаэмону, щурясь от дождевой пыли, тот спросил отрывисто:

– Куда?... – Услышав адрес и цену, согласно кивнул.

Гиндзаэмон, промокший и продрогший, забрался в салон, сел в кожаное кресло, захлопнул за собой дверцу «Волги» и поднял стекло. Удивленный дождь остался снаружи.. Сразу стало тепло и надежно.

– Ну, поехали...

Водитель произнес фразу отвлеченно. Это был мужчина лет семидесяти, но довольно бодрого вида. Он закурил сигарету, переключил на дальний свет и двинул машину как танк, сквозь сумеречную пелену дождя.

– Вот поливает! – проворчал он, делая затяжку. Сигарета захлебнулась блеснувшим огоньком.

Непрерывно работали дворники, стирая, как со лба, со стекла серую воду. Кабину заволокло дымом. Водитель приопустил боковое стекло, оставив дыму узкую полоску свободы. Узкую, как смотровую щель. В салоне пахло дождевой пылью – пугающей еще минуту назад влажностью, но красные и зеленые точки на панели все равно светили уютно.

Только вид построек вдоль дороги был тосклив и уныл. Торго-

вые приезжие люди разбегались под навесы ларьков и просто куда-нибудь.

– Вот! – сказал водитель. – Дождичка боятся, небось, чище станут.

– Не станут, не в ванной, – отчего-то грубо ответил Гиндзаэмон.

– А! Вот и я говорю, вот смотри... тебя как зовут?

– Гиндзаэмон.

– Как? – водитель повернул к Гиндзаэмону тяжелое лицо. В этот момент «Волгу» слегка трянуло.

– Гиндзаэмон, из японцев.

Очередной раскат грома словно примял тучи к земле. Сверкнула молния, обнажив, несмотря на сигаретный дым, каждую деталь в салоне, особенно коричневую, непросохшую кожу куртки пассажира. И снова сумрак. Лишь мутные огоньки автомобилей неслись навстречу.

– Из японцев? Мать, что ли, отец? ... – удивился водитель. – А непохож... разве волосы темные, ну, что же... он как-то болезненно улыбнулся, – понимаю, сакура, самураи, а я так скажу, для меня все люди равны, конечно (это было такое знакомое «конечно»), только чего они тут... эти, торгуют... я не люблю их. Не обижайся, да и японцы – это совсем другое! даже – не как мы.

– Да нет, – ответил Гиндзаэмон, – японцы такие же.

– В каком смысле?

– Тоже никого не любят, только себя.

– Хочешь сказать, что мы никого не любим?

– Ну.

– Зря ты так! Мы-то любим, да вот нас никто не любит! А чего тогда мы любить должны! А?

– Вы извините, я со старшими не спорю, хотя то, о чем вы говорите, мне непонятно.

– И как с вами после этого! И «не спорю», и вроде как я дурак, так, что ли, получается?

– Нет, я этого не сказал, не сердитесь. – Гиндзаэмон пожалел, что ввязался в ненужный разговор.

– А чего так далеко едешь? На дачу собрался? – водителю хотелось поговорить. – В непогоду? – он неодобрительно покачал головой.



– Надо побыть несколько дней... некому, кроме меня, родня боится дом оставить – воруют...

– Времена-то какие настали! При Сталине разве так было! Украл – расстрел не расстрел, а несколько лет на благо родине поработал бы! Верно я говорю?

– При Гитлере тоже был порядок.

– Ты сейчас не путай, не путай! Что ты о Гитлере знаешь!

– В книжках читал...

– В книжках! – перебил его водитель. – Ты в книжках, а я... – он досадливо махнул рукой.

Минут двадцать ехали молча.

Шоссе пролегало уже в довольно пустынном месте. По очертаниям в округе, кроме дальнего темно-серого леса, ничего не было. Лишь непонятно где-то там горели огоньки нескольких частных домов, будто тяжелые самолеты с обломанными крыльями, навечно застрявшие под дождем в бездорожье.

– Вот говоришь, из японцев, – вновь оживился водитель. – И все у вас есть, а добра настоящего мало. Добро-то только у нас, на Руси-матушке, а у вас все деньги, про Америку я уж не говорю! У них – сразу привет, человек стоит столько-то долларов.

– А у нас рублей.

– Нет, ну как с вами! – водитель нестрого покачал головой. – А потом рубли – это у нас, а у вас – иены.

– Вы с чего вдруг про добро заговорили?

– А с того! Ты, к примеру, о чем думаешь, что мог бы мне меньше иен дать, если бы не дождь? Верно? Я старый человек, мне можно и нужно говорить правду – ну так как? То-то!

– Оставьте, пожалуйста. Я о деньгах не думаю и сразу предложил вам вдвое больше положенного. Это вы сейчас сами про деньги сказали. Вообще-то я русский, Гиндзаэмоном приятели зовут, я про Японию читать раньше любил, самураи, как вы сказали, сакура...

– Ага, видал я таких русских, – водитель усмехнулся. – Русский! Что жизнь с людьми делает...

– Правда, я неудачно пошутил, извините.

Дождь усилился. Теперь сплошная завеса воды была перед ними, и стало темнеть.

– А дали мы вам тогда под Халхин-Голом!..

– У меня в роду все русские, говорю же...

– Русские? А чего ж мирный договор не подпишете? Островов захотели? Ничего не получите.

Гиндзаэмон тихо засмеялся.

– Смешной вы... какие там острова, лучше на дорогу повнимательней глядите, ничего не видно.

– Я шестьдесят лет за рулем, сынок! Меня отец за руль еще пацаном посадил, чтобы в жизни пригодилось.

Машину слегка подбросило на ухабе и в лобовое стекло плеснуло мутной воды.

– И пригодилось?

– Пригодилось. Видишь, вожу!

Он выбросил дымящийся окурок в окно и закурил новую сигарету.

– Ладно, не обижайся, зато вы тоже задали нам у Цусимы, да и американцам в Перл-Харборе...

Гиндзаэмон устало повернулся к собеседнику вполоборота, но машину вновь подбросило, и в лобовое стекло снова плеснуло воды. От сигаретного дыма в глазах защипало, и Гиндзаэмон вытер едва появившиеся слезы – потер глаза.

– А! Глаза заслезились. То-то! Это слезы мщения! Это ты им Хиросиму забыть не можешь, оккупацию, – водитель кинул одобрительный взгляд на собеседника и протянул ему грубую ладонь.

– Николай Степанович.

От старика было не отвязаться. Гиндзаэмон пожал протянутую руку.

– А слез этих не стесняйся, и от своей нации не надо отказываться, сынок. Нельзя забывать, кто ты есть! Я вот русский был, русским и умру. Понял? А на меня не обижайся, я поначалу всегда такой, всегда наговорю лишнего, меня моя жена крепко ругала за это, пока жива была... Я ведь ко всем ровно отношусь, по-советски, а ничего поделат с собой не могу, характер такой у меня, зато уж потом – если полюблю человека... – он сделал в воздухе неопределенное движение указательным пальцем, что, вероятно, должно было означать что-то очень хорошее.

– Я тебе больше скажу, нам острова ваши не очень-то и нужны, но флот не может без выхода в океан! Понимаешь? Он, тихоокеан-

ский наш, заперт будет, как в Черном море, ни то ни се, что есть, что нету. Проблема! А ты как думал, мы упертые болваны? Нам земли не хватает? А!

– Вы позволите, я тоже закурю.

– Кури, молодой, кури, только стекло опусти. За то, что спросил, – молодец. От наших олухов не дождешься, а у вас воспитание, я это знаю. – Слово «знаю» он произнес очень выразительно, как и «воспитание».

Гиндзаэмон хотел было еще раз возразить старику, сказать, что тот заблуждается, что никакой он не японец, но дальний свет фар идущей навстречу машины резко полоснул по глазам как луч прожектора.

Гиндзаэмон прищурился. В памяти мелькнули фотографии японских самолетов времен Второй мировой войны, которые он в детстве рассматривал в военных журналах. Эти самолеты после долгих просмотров ему снились. Черно-белые – в цветных снах. От вспышек фар и от странных разговоров Гиндзаэмону представилось, что он сидит в кабине истребителя «Рейзеки» и пытается уйти от плотного зенитного огня с американской военной базы. Чувство странного восторга овладело им. Мурашки побежали по телу, и Гиндзаэмон скосил глаза на водителя. Тот был невозмутим.

Уже подъезжали к нужной развилке. Гиндзаэмон всмотрелся в темноту. Мелькнул столб с наименованием поселка.

– Вот он! Сейчас проедем метров... помедленнее, пожалуйста, вот, вот здесь остановите, пожалуйста, здесь, точно.

– Есть, молодой командир, останавливаю, – сказал Николай Степанович. – Ну и глухомань, Россия-матушка.

Гиндзаэмон протянул водителю тысячерублевую бумажку.

Дождь лупил по машине наотмашь. Николай Степанович включил свет внутри салона, достал из бардачка красный фломастер. Вид у старика был теперь торжественный. Он положил купюру себе на колено и что-то написал на ней.

– Держи, – сказал он Гиндзаэмону. Тот взял деньги и из-за плохой видимости поднес близко к глазам. Надпись на тысячерублевке гласила: «Два острова можем отдать, но чтобы был выход для Тихоокеанского флота».

Гиндзаэмон прочитал вслух эту мистическую надпись.

– Теперь и ты напиши что хочешь!

Гиндзаэмон обреченно взял фломастер и задумался. Что написать старику, мысли которого роятся глубоко и не могут успокоиться? Он вывел на оборотной стороне, держа фломастер как кисточку для иероглифов:

*Чужих меж нами нет,  
Мы все друг другу братья  
Под вишнями в цвету.*

– Это Исса. – сказал Николай Степанович, прочитав стихи.

– Вы про нас много знаете. – Удивленный Гиндзаэмон заставил себя произнести «про нас».

– Да, Кобаяси Исса. Мои любимые.

Дождь шел не переставая, и воздух в салоне автомобиля стоял чистый и свежий. Дым от сигарет давно развеялся. Глаза старика величественно блестели.

– Это, сынок, вот что... – сказал он мягко, – это ты возьми с собой. Мне денег не нужно, а бумажку ты сохрани. Я нарочно так придумал, еще когда ехали. Это как бы наш с тобой мирный договор, мы его подписали.

Капли ливня замедлили падение и замерли: повисли в воздухе. Стало тихо.

Возражать не было никакой возможности.

– Я знаю, – Николай Степанович предупредил мысли Гиндзаэмона, – ты сейчас мне не тысячу, а все отдал бы, такие вы, но и ты знай наших. Да это и не деньги теперь, а документ! Храни его.

– Я понял, спасибо вам. Я не забуду.

– Тебе аригато, сынок, тебе, ступай уже. Сайо нара!

Гиндзаэмон уже хотел покинуть машину, но на последних словах Николая Степановича резко обернулся.

– Что, удивил? Я в самой Японии-то не был, зато квантунскую бойню прошел, понял? В 6-й гвардейской... танковой... из Праги, значит, представляешь – и на Забайкальский фронт. Так-то, родной, ну, прощай, помирились, значит!

Внутри салона, на автомобиль, на дорогу, на Гиндзаэмона и на всю ночную округу разом обрушился ливень. Гиндзаэмон вышел и

захлопнул за собой дверцу. От грохота непогоды он едва расслышал, как водитель ему прощально просигналил. «Волга» уехала, и стало чудовищно мокро и темно. Гиндзаэмон взглянул через дорогу на освещенный метрах в ста от него вход в закрытый продовольственный магазин, который из-за дождя казался золотистым сетчатым забралом, и побежал к нему.

Уже стоя под козырьком магазина, промокший, он вдыхал полной грудью и смотрел в черное небо небольшой лампочки, откуда, словно принесенные божественным ветром, на него неслись капли дождя, бесперебойным барабанным шумом подтверждая вечный мирный договор всех ушедших, всех живых и всех тех, кто еще родится, – из открывшихся на краткий миг створок ослепительного разлома.

*Теймураз Твалтвадзе родился в 1963 году в Сухуми. Его отец Александр Григорьевич – писатель и дипломат, братья стали журналистами.*

*Публиковался в журналах «Дружба народов», «Поэтоград», «Радиус города», в электронном журнале IT book, его рассказы звучали в литературном радио «Звукотек РФ», печатался в финском русскоязычном еженедельнике «Спектр» («Московский уголок»).*

*Издal книгу «Стихи из белой кожи. Проза» в издательстве «Аспект-пресс» в декабре 2016 г.*

*В литературные объединения и писательские союзы не входит.*

*Живет в Москве, работает начальником отдела российской и зарубежной корсетки Дирекции информационных программ Первого телевизионного канала.*

Валерий СКОБЛО

---

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

---

\*\*\*

Та женщина, которую любил  
давным-давно и, кажется, напрасно,  
живет теперь в Париже,  
у нее семья, и все – прекрасно.

Я счастлив за нее. Она бывает здесь  
с детьми и мужем в августе на даче.  
Не совпади француз, "разрядка" и любовь,  
могло быть все иначе.

Не то, чтобы жилось ей без забот,  
заботы есть, но, скажем осторожно,  
их уровень существенно иной,  
хотя со стороны судить довольно сложно.

И пусть любовь к той женщине прошла  
лет семь назад, когда в кино я вижу  
Париж и все такое, я грущу,  
и все такое... И тоскую по Парижу.

Что, впрочем, точно связано не с ней,  
но и не с тем, что мне живется туго,  
поскольку при желании и я  
мог оказаться там, где бывшая подруга.

Я счастлив за нее, что мне не повезло  
и что другой ей оказался ближе...

И счастлив за себя, что я несчастлив здесь.  
...Что я несчастлив здесь, а не в Париже.

### **Боре и Алле**

#### **1**

Под медный шум листвы  
И яблонь блеск зеленый,  
Где мы с тобой теперь  
Не встретимся вовек,  
Ни здесь, ни там, нигде...  
И, временем сожженный,  
Ненужный никому,  
Истлеет наш ковчег.

Ступив на берег тот,  
И прах земли суровой  
На землю отряхнув,  
И слезы отерев,  
Ты встретишь тот же шум  
И блеск, и в жизни новой  
Нет ни других плодов,  
Ни трав и ни дерев.

И только тишина,  
Что свыше нам дается,  
Связует нас, пока  
Продлятся в тишине  
Два голоса, и тот,  
Кто с нами растается,  
Останется на той –  
На этой стороне.

И в предвкушенья дня  
Во мраке ветвь лепечет –  
Мне б только повторить,

Когда бы мог посметь, –  
О том, что многих нет  
И многие далече,  
Но всех и так и сяк  
Уравнивает жизнь.

## 2

Пройдя и этот путь  
До некой середины  
И ощутив вполне  
Бессмысленность его,  
Что видишь впереди?  
Ты видишь только спины  
Стоящих впереди  
И больше ничего.

Тоска, что каждый день  
Высасывает душу,  
И ночью не оставь,  
Но лишь даруй взамен  
Клочок земли родной,  
Спасительную сушу,  
Где в скалы бьют прибой  
И ветер перемен.

...Полоска синевы  
Становится все уже,  
Сливается совсем  
С поверхностью морской...  
Ковчег не может плыть:  
Он тяжело перегружен  
Любовью и тоской...  
Любовью и тоской.



## 3

С грустью и нежностью...  
Ибо не может быть речи о встрече,  
И расставанье ложится навечно,  
Как камень, на плечи,  
Я обращаюсь к тебе  
Не за помощью, но за советом.  
Ты промолчишь, ибо знаешь,  
Что надо помедлить с ответом.

Время имея,  
С отказом на выдачу визы,  
Запоминал, как толпятся на Невском  
Балконы, лепные карнизы.  
Запоминал – мы живем с тобой  
В мире жестоком, –  
Всякое в жизни бывает,  
Но нет возвращенья к истокам.

В утлой ладье,  
Что прапрадед назвал бы ковчегом,  
Ты увезешь этот город  
Под солнцем, дождем или снегом.  
Город, что мы с тобой  
В юности так исходили,  
Что набрались, пригодились теперь  
Эти дюймы, и футы, и мили.

С грустью и нежностью  
Шепчешь прощанья, прощенья слово...  
С частью жизни своей расстаемся,  
Частью сердца живого.

Коллекционная серия  
Медали, блин, из серебра,

А сверху позолочены!  
И с ликом Сталина – ура!  
Без всякой червоточины.  
Пусть собиратели страны,  
Пополнивши коллекции,  
Спокойно ночью видят сны.  
Зачем им чьи-то лекции?

Зачем нам знать кровавый счет?  
«Вчера» прошло навеки.  
Другая «вертикаль» придет,  
Другие псы и «зэки».

Нет, мы не жаждем перемен -  
Стабильность – наше знамя!  
Страна опять встает с колен...  
На четвереньки – с нами.

\*\*\*

Сначала один мой приятель  
оставил меня в беде.  
Такое случается часто...  
десять раз на день... везде.

Потом другой мой приятель  
решил, что я полный подлец.  
Я вывод не сделал печальный,  
что жизни моей конец.

Потом они так сокрушались,  
что я их обоих простил.  
Не думать об этом старался...  
не думать, по мере сил.

Потом... когда все позабылось,  
я взял, написал этот стих.

Но мысль неотвязная гложет:  
А сам-то я лучше их?

**Валерий Скобло** – поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 г.

Окончил ЛГУ.

Автор нескольких сборников стихов. Публиковался в российской и зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, Эстония и др.) литературной периодике.

Лауреат премии им. Анны Ахматовой (Москва, 2012), финалист международных конкурсов стихотворного перевода «С севера на восток» (Хельсинки, 2013 и 2016).

*Лариса ИЦКОВИЧ*

---

## НАСТРОЕНИЕ

---

### ***Слово о словах***

Слова, слова, слова – везде слова,  
И весь наш мир в словесном обрамленьи.  
Без слов цивилизация мертва,  
И нет ни созиданья, ни стремлений.  
А слово утоляет нам печаль,  
Из слов слагают песню и молитву,  
Без слова не найдёт душа причал,  
И войско не поднимется на битву.  
В словах для нас история жива,  
Красивым словом может ложь одеться,  
От слов порой кружится голова,  
Порою слово разрывает сердце.  
И если нам понятно всё без слов,  
То прежде словом выверено строго.  
Слова лежат в основе всех основ –  
Недаром в Библии назвали слово Богом!

### ***Я помню***

Я помню, улетали журавли,  
И всё, что было ярко, буйно, живо,  
Застыло, словно церковь на Нерли,  
И даже обещанья стали лживы.  
Нам не дожидаться нового тепла  
И не дойти до мартовских проталин...  
Вчерашняя позёмка замела,  
Что мы с тобой друг другу не сказали,

Не пробудили в душах, не зажгли –  
Союз наш был почти из «не» изваян...  
Ты видишь – улетели журавли,  
И лист сухой на ветке неприкаян.  
А лето между пальцев утекло...  
Мне синей лапой машет можжевельник,  
И я смотрю сквозь льдистое стекло  
На серый бесконечный понедельник.

### **Романс**

Золотистые листья кленовые  
Драгоценным ковром расстилаются.  
Что грустить – по весне будут новые,  
Им по осени так полагается.  
Ты меня, как принцессу с горошины,  
По застеленным водишь тропиночкам,  
Где под ноги алмазами брошены  
От холодного утра росиночки.  
У природы нарядов неношенных  
Всем сезонам хватает без зависти,  
Только нас белизной припорошила,  
Что не тает ни в мае, ни в августе.  
Но в природе прекрасно и брэнное,  
Коль согрето любовью и ласкою,  
И кленовые листья осенние  
Ты мне даришь, как ландыши майские.

### **Любовное**

Ты душу мне свою не предлагай,  
Она нужна мне только вместе с телом.  
Для душ уже давно устроен рай,  
Где их архангелы встречают в белом.  
А я в исподнем. И неровен час,  
Его я тоже сброшу, если надо...  
Мы убежим от любопытных глаз

На волю, в ночь под яркие Плеяды,  
Взнуздаем жарко-огненный болид  
И долетим, где кто-то знает в белом,  
Моя ль душа в твоих объятьях спит  
Или твоя мне зажигает тело.

### **Элегия**

Когда мне будет много-много лет,  
И мир земной сожмётся до овчинки,  
Когда тобою сложенный сонет  
В моей аорте не растопит льдинки,  
Когда, моих едва коснувшись вежд,  
Сон отлетит, не подарив покоя,  
А кружева несбывшихся надежд,  
Как платья допотопного покроя,  
Ненужным хламом загрузят в углах,  
В альбомах, что лежат на пыльных полках,  
Когда не встретят в зреющих хлебах  
Меня полдненным пенъем перепёлки,  
Когда повтором утомит сюжет,  
Когда движенье станет плоти мукой,  
Тогда скажу я здешней жизни «Нет!»,  
Не огорчившись вечною разлукой.  
А тени, что собой закроет свет,  
Покорно сердце я отдам и руку.

### **Ностальгия**

К родным пенатам мне не возвратиться –  
Истлели стены и прогнил порог,  
Там брошенный альбом, где чьи-то лица,  
И сохнет чуть надкушенный пирог  
Надежды и наивных ожиданий...  
Фундаментом тех давних начинаний,  
Как выяснилось, был простой песок...  
Лишь домовой, взобравшись на шесток,

В своём углу всю ночь альбом листает  
И вспоминает, вспоминает, вспоминает...

### **Призрачное**

Угомонилась суета сует,  
И сетью по паркету лунный свет  
С надеждою пополнить свой улов  
Несовершенством четырёх углов,  
Нескромностью измятых простыней,  
Неприбранностью, ставшею видней,  
Несхожестью пугающих теней,  
Неповторимостью давно ушедших дней...

### **Сокровенное**

Ещё моя рука лежит в твоей,  
И грех на нас в смешении кровей,

Ещё один в смешеньи грешных снов,  
В молитвах из почти неслышных слов,

В смешении случившихся разлук  
И пепла от костров душевных мук,

Судьбы непредсказуемых затей...  
И нет смешенья этого святей.

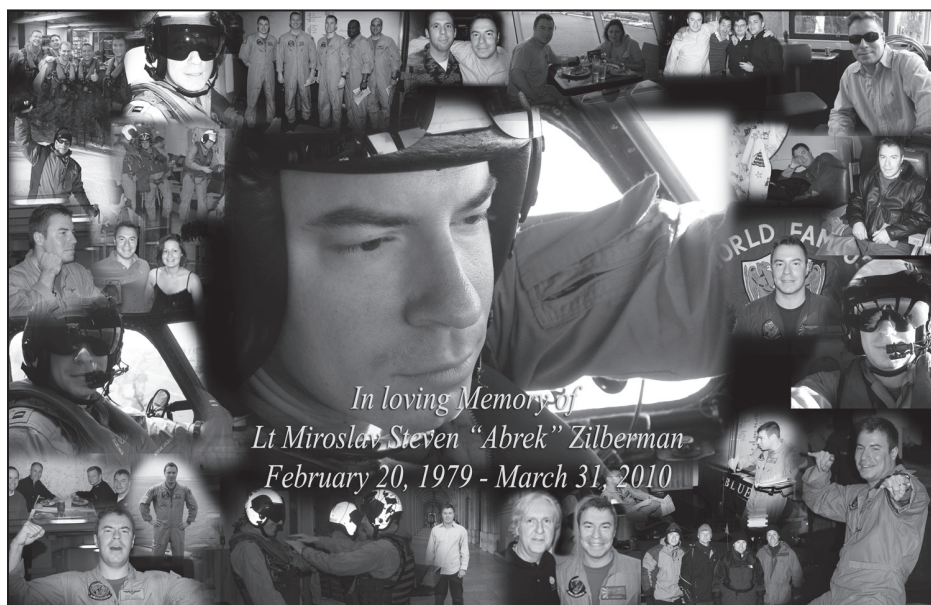
*Лариса Ицкович* родилась в Азербайджане, выросла в Украине, зрелые годы провела в Белоруссии. В Одессе и в Минске получила университетское образование. Специализировалась в физической химии, работала научным сотрудником и преподавателем в Белорусском политехническом институте. С 1994 года живет в Чикаго.

Писать стихи стала в основном во второй половине прожитых лет, публиковалась в русскоязычных газетах и журналах Америки, Германии и Израиля, в поэтических сборниках. Издала две поэтические книги.

Давид ГАЙ

## ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ «АБРЕКА»

Окончание. Начало – в № 1 (2017)



### Глава 6. ВОЗМУЖАНИЕ

Вот и завершена учеба в Bexley High school. Славика принимает университет в Огайо. Родители собираются оплачивать учебу сына. Единственного. В ком все чаяния и надежды. Он знает, что это ляжет бременем на вовсе не богатых отца и мать, и это гнетет. Можно взять студенческий заем, как делает большинство юношей и девушек, однако внезапно совсем иное, не связанное с университетскими занятиями, овладевает мыслями Зильбермана-младшего.

Самодостаточный, самостоятельный, независимый, Славик ре-



шает круто изменить планы. Еще во время его учебы в школу пришли рекруты, агитировавшие за поступление на армейскую службу. И он отозвался первым – и единственным в классе. Сработал девиз «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД».

А почему, собственно, не пойти служить? Интересно, почетно, многообещающе. Настоящее мужское занятие. И с материальной точки зрения выгодно – после окончания контракта бесплатное обучение в любом университете Америки.

Нетрудно представить реакцию родителей. Эмигрировала семья Зильберманов в том числе и потому, что только в кошмарном сне Анна и Борис видели сына в рядах советской армии – с «дедовщиной», издевательствами, антисемитизмом. Они были правы – армия имела чудовищную репутацию. И что же удумал Славик – стать американским военным. Да, конечно, это совсем другие вооруженные силы, пользуются уважением и поддержкой общества, и тем не менее...

В семье начался разлад.

Рекруты пришли к ним домой, уговаривали, рисовали радужные перспективы. Родители ни в какую.

– Мы только что купили дом. У тебя есть все. Тебя ждет университет. Зачем тебе, нашему единственному сыну, рисковать жизнью? Армия есть армия..., – говорили Анна и Борис, обращаясь к упорствующему Славику.

– Мой дед Гриша был летчик. Чем я хуже?

Григорий Герасимович держал нейтралитет – открыто поддерживать желание внука означало создать проблемы в отношениях с дочерью и зятем, отговаривать внука – не соответствовало его внутреннему состоянию. Нет, лучше не вмешиваться. *(В разговоре со мной Анна сказала, что дед был против решения Славика идти в армию. Смею думать, что не все выглядело так однозначно – Авт.)*

Три недели шла нешуточная борьба. Мэрилин Рофски и приятели Анны по университету из добрых отношений к семье пробовали воздействовать на Славика – тщетно.

– Я хочу это сделать! Почему вы стоите на моем пути? В конце концов, это моя жизнь. Если вы, мои дорогие и любимые родители, будете продолжать меня терроризировать, я уйду из дома...

Это был железный аргумент. И родители скрепя сердце согласились. «Это его жизнь».

Знакомые ребята из пиццерии, где Славик подрабатывал, поддерживали его и сами подписали контракты.

*(Забегая вперед, отмечу: попав в тренировочный лагерь близ Чикаго, они не выдержали нагрузок и попросились назад. – Авт.)*

А Славику устроили торжественные проводы. Сын новой соседки Зильберманов – Пэтти – оказался военным, в высоком чине, он помог организовать церемонию. Пэтти спекла необыкновенный торт. Гуляла вся улица...

Местная газета Columbus Dispatch опубликовала статью о Славике и его деде Григории – в прошлом военном летчике, о преемственности поколений, хотя ни о какой летной карьере внука речь покуда не шла.

Среди провожавших его в армию была и юная красавица, которую многие знали как девушку Мирослава.

История первой и единственной любви Славика заслуживает особого рассказа.

С Катей Юрчак он познакомился, еще учась в школе. Она эмигрировала с родителями из Донецка в январе 1995-го. Ее бабушка и дедушка по материнской линии познакомились после войны. Дедушка был из Новосибирска, бабушка – из села Александровка Херсонской области. В Донецк они приехали восстанавливать шахты и промышленные предприятия, разрушенные войной. У них родились две дочери – старшая Татьяна и младшая Светлана.

Младшая вышла замуж за еврея по национальности Михаила. 20 апреля 1980-го у них родилась Катя, шестью годами позже – Александр.

В США выехали как беженцы по вызову тети Михаила, уже жившей в Америке. Обосновались в Колумбусе.

Для Светланы произошедшее на юго-востоке Украины в результате агрессивных действий путинского режима стало душевной болью. Сестра Татьяна с семьей переехала в другую область республики, но в Донецке остались родственники, которым Светлана помогает.

15-летняя Катя стала учиться в частной еврейской религиозной Torah Academy. Родители приняли такое решение еще и потому,

что находившаяся недалеко от их дома школа показалась совсем не такой, где бы стоило учиться девушке-иммигрантке.

Катя познакомилась со Славиком меньше чем через год после ее приезда в Колумбус. Парень поначалу стеснялся подойти к высокой стройной девушке, соединившей яркую еврейскую и славянскую красоту. На нее многие невольно обращали внимание. С помощью друзей Славик нашел возможность познакомиться. Молодые люди понравились друг другу.

Славика окружали американские сверстники, а Катя, моложе его на год, жила в «русской деревне», как часто называли этот район Колумбуса. Он начал навещать новую знакомую. И прошло немного времени, когда он начал испытывать к девушке не только дружеское расположение. Это была любовь, притом взаимная.

Катя нравилась его родителям, Анне и Борису, подобные чувства к Славiku испытывали и родители Кати.

Катя присутствовала на торжественной встрече по случаю окончания Славиком школы. Его стремление связать свою жизнь с армией не вызвало в ней внутреннего протеста. По натуре спокойная, уравновешенная, умеющая сдерживать эмоции, она с пониманием отнеслась к принятому им решению.

Вспоминает Светлана Юрчак:

*«В один из воскресных июльских дней, ранним утром, в дверь нашей квартиры постучали. Я открыла. На пороге Славик.*

– Можно Катю?

– Славик, еще очень рано, она спит.

– Разбудите ее, пожалуйста. Это очень важно.

Пошептавшись о чем-то, они уехали. Через некоторое время дочка вернулась и показала обручальное кольцо. Рассказала, как в парке Славик опустился на колени и попросил у нее руки и сердца, подарив кольцо. Она приняла его...»

Кольцо он купил на заработанные развозкой пиццы деньги. Купаясь в родительской любви и платя близким и дорогим людям ответными чувствами, он, тем не менее, поступал сообразно своим взглядам и желаниям, будучи самостоятельным и в известной степени юношески своевольным. Родительская опека воспринималась им как в некотором роде диктат. Споры по поводу службы в армии стали для него своеобразным испытанием, и он решил не волновать

родителей, ничего не сообщив им о подаренном Кате обручальном кольце.

7 августа 1997-го Мирослав Зильберман поступил в распоряжение Recruit Training Command близ Чикаго, в Great Lakes.

Первая неделя – тщательный медицинский осмотр, включая стоматолога, стрижка, военная экипировка. Следующие семь недель – занятия в классах и тренировки, сгонявшие семь потов. Новобранцы изучали основы малого стрелкового оружия, судовождения, выживания в воде, борьбы с пожарами. Интенсивное обучение оставляло немного свободного времени.

Славик услышал афоризм, заключающий в себе правила поведения рекрутов: «Я не буду лгать, обманывать или воровать и терпеть среди нас тех, кто это делает».

Его школьный друг Аллен Голдберг позднее вспоминал: *«В то время как многие друзья Славика, и я в том числе, только обдумывали свой дальнейший жизненный путь, он уже знал, что будет делать. Он рано возмужал...»*

Было непросто, но письма домой и невесте шли оптимистичные. Не только для успокоения по-прежнему пребывающих в тревоге родителей – ему действительно нравилось ощущать себя мужчиной, который готовится к ратному труду.

Но, конечно же, Славик тосковал по Кате. Урывая минуты отдыха после тяжелых занятий и тренировок, почти ежедневно звонил ей, слышал любимый голос, и от этого на душе становилось легче...

Сколько бы ни был удачен выбранный путь, человек редко минует ухабы и рытвины. Крайне редко у кого избранный путь гладок и не таит открытых и скрытых препятствий. Так случилось и со Славиком.

С октября 1997-го по август 1998-го он проходил подготовку в Servscolcom (Service School Command) там же в Great Lakes, близ Чикаго. Его готовили как специалиста-электронщика.

Его навестили приехавшие все вместе родители, Катя, сестра Бориса, любимая учительница Мерилин Рофски, бабушка Гриша с цветастой колодкой орденских планок. Награды фронтовика произвели впечатление на начальство Славы, они специально встрети-

лись с семьей курсанта. Как вспоминает Анна Соколова, «начальство подчеркнуло особое расположение к Мирославу Зильберману и его близким».

А дальше произошло вот что.

Обучение, согласно контракту, должно было занимать два года. В связи с высоким уровнем знаний Мирослава Зильбермана решили отправить на корабль служить и совершенствоваться в избранной специальности. Его такая перспектива не устраивала – он хотел полностью закончить двухгодичную учебу.

Через некоторое время он позвонил и огорошил родителей сообщением: «Программа обучения, на которую я записался, не выполняется. Я хочу уйти...»

«Славичек, ты просто так уехать не можешь, ты же подписал контракт, – заволновалась Анна. – Если ты все бросишь, у тебя возникнут неприятности...»

Сын все понимал. И пошел по инстанциям, собирая нужные подписи, разрешающие покинуть Servscolcom. Аргумент был железный – условия контракта не выполняются.

Наконец, все нужные подписи собраны. Осталась последняя – у самого высокого чина. По сведениям Славика, тот подписывает такие бумаги не глядя, сводя к простой формальности. «Адъютант вынесет мне бумагу, и я возвращаюсь в университет в Огайо», – обнадеежил родителей. Но не тут-то было.

Адмирал беседовал с Зильберманом без малого час. Интересовался его семьей, жизнью в иммиграции, интересами и пристрастиями курсанта. И сделал вывод – сидящий перед ним очень приятный, умный молодой человек прав в своих претензиях. А далее последовало вовсе неожиданное – адмирал рекомендовал его для поступления в военно-морскую академию.

«Я остаюсь!» – ликующе сообщил Славик родителям.

Его настрой Анна и Борис не разделили – они уже было свыклись с мыслью, что скоро увидят сына дома, студентом университета. И вот снова – крутой вираж. В этом был весь Славик, его несколько не пугали перемены, он был готов к ним. Новое всякий раз манило его, и он смело шел навстречу вызовам только начинающейся взрослой жизни.

Верный себе многое решать быстро, без мучительных разду-

мый, натура цельная, отнюдь не рефлексирующая и не колеблющаяся, Славик совершил еще один шаг, впрочем, вполне разумный, логически объяснимый. Он в одночасье женился. «Мама, ко мне приехала Катя, мы идем расписываться», – объявил он по телефону. – «Как это, тебе только девятнадцать...», – Анну ошеломило сообщение сына. Он никак не отреагировал...

Свадьбы как таковой не было...

И опять тот самый ухаб, преследующий путника. Выяснилось, что Мирослав Зильберман не может поступать в Академию, так как... женат. Туда принимают только холостых. Он не знал об этом жестком требовании. Делать было нечего.

И тогда он решил продолжить учебу в калифорнийском Сан-Диего, где находился Training Support Center, сокращенно Trasuppcen. Предстояло совершенствовать свои знания в области электроники. Катя, закончив школу, захотела ехать с ним.

Женитьба в данном случае оказалась даже необходимой – Катя могла жить на военной базе на легальных основаниях – как жена, никаких проблем с допуском, пропусками и прочим не должно было возникнуть.

В стиле Зильбермана-младшего происходил переезд в Калифорнию. Самое простое – лететь самолетом, но это так банально и просто. «Я куплю мотоцикл, и мы с женой совершим незабываемое путешествие по Америке», – придумал Славик.

«Это же огромное расстояние. Умоляю, не езжай на мотоцикле, это опасно, – взмолилась Анна. – Если не хочешь лететь, возьми уж лучше нашу машину».

Незадолго до этого Зильберманы купили подержанную «Мазду».

На ней Славик и Катя совершили переезд в Сан-Диего.

Город потрясал красотой и климатом, наверное, лучшим в Америке. Калифорнийские холмы после заката солнца напоминали спящих верблюдов. Здесь пропадало ощущение смены времен года: весна походила на лето, лето – на зиму, постоянное ровное тепло, вечнозеленая трава гольф-полей, вечноцветущие растения, пальмы и какие-то незнакомые экзотические деревья создавали иллюзию остановившегося движения природы. Дневная жара сменялась

вечерней прохладой. Купаться в Тихом океане, источавшем запахи йода и водорослей, можно было девять месяцев в году, а то и весь год – нашлось бы только свободное время. А поблизости – песчаные пляжи с мелким песком, почти пудрой возле построенного сотню лет назад без единого гвоздя отеля «Коронадо» (знаменитый фильм *Some like it hot* с Мэрилин Монро снимался именно здесь). Ведущий к гостинице из города изящный мост напоминает изгиб лука с туго натянутой тетивой...

Молодые снимали небольшую квартиру в расположении Центра (жилье оплачивалось военным ведомством). Приспосабливались к совместной жизни, притирались, лучше узнавали друг друга. Конфликтов не было – сдержанность и самообладание жены подкреплялись природным чувством юмора мужа.

Родители Мирослава и Кати приезжали в гости и тоже изумлялись открывающимся красотам. Но куда более их интересовали взаимоотношения в молодой семье, планы Мирослава на ближайшее будущее. Он твердо вознамерился продолжать службу и учебу в офицерской школе в Ньюпорте, расположенной в маленьком штате Род-Айленд. Там существовала программа BOOST (Broadened Opportunity for Officer Selection and Training). Ради нее Мирослав готов был покинуть город-рай, в котором провел девять месяцев, с сентября 1998-го по май 1999-го.

Не так-то просто попасть в эту офицерскую школу. Нужно собрать кучу документов, подтверждающих высокую подготовку кандидата, пройти строгий отбор. Как и при подаче документов в колледжи, требуется написать эссе – объяснить, почему молодой человек хочет избрать карьеру морского офицера, чем она его привлекает.

Мирослав написал такой текст и приложил к собранным бумагам.

*«Я до сих пор вспоминаю, как в первый раз отдал честь морскому офицеру. Я провел в военно-морском тренировочном центре в Great Lakes всего пять дней. Он был в чине лейтенанта и быстрым шагом проходил мимо. Я был не уверен, что мне следует сделать, поэтому замедлил движение, чтобы обдумать как действовать. Мы приблизились друг к другу, и я отдал честь лейтенанту, произнеся «Добрый день, сэр». Он, в свою очередь, отдал мне честь, и мы продолжили свой путь.*

*Почему я отдал ему честь с такой гордостью? Что на самом деле сделало его офицером? Я обдумывал эти вопросы и пришел к выводу, что то, что делает индивидуум отличным офицером, связано с качествами его личности. Офицеру надо быть лидером и быть профессионалом. Ему надо стать примером на своем корабле. Офицер знает, как принять правильное решение в в любой ситуации и любой обстановке. У меня не было сомнений: этот лейтенант и каждый другой офицер, которого я встретил и кому отдал честь, имеет такие качества; но эти качества надо развивать путем образования и тренировок. Я уверен, что смогу приобрести такие качества.*

*И если я смогу пройти программу BOOST, то смогу развивать себя во многих направлениях. Сконцентрировав внимание на изучении математики и компьютерных наук, я подготовлю себя к колледжу. Я приложу усилия быть лучшим в учебе и постараюсь показать пример другим».*

В Ньюпорте семья Мирослава (его называли на американский манер Стивенем) пробыла ровно год. Встал вопрос, в какой колледж поступать. Стивен мог выбрать любой, даже Гарвард. Анна и Борис нацеливали сына именно на Гарвард, но сын поступил по-своему. Он остановил выбор на Политехническом институте в городе Трой, что рядом со столицей штата Нью-Йорк – Олбани.

Выбрал не случайно. Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) основан в 1824 году. Старейший технологический университет Америки дает глубокие знания в различных профессиях. Здесь преподают известные ученые, профессора, в том числе лауреаты Нобелевской премии. Полученные в этих стенах компьютерные знания высоко котируются. И Стивен выбрал именно эту специальность.

Четырехлетнюю программу обучения он сумел пройти за три года.

Катя не отставала – она поступила и успешно училась в State University of New York, расположенном в Олбани. Два образования они получили практически одновременно.

Колледж стал местом, где определилось будущее Стивена Зильбермана как военного летчика.



Каким образом? Ведь он изучал компьютерные науки, к авиации это отношения не имело. А вот каким. В колледже училось немало офицеров флота. С одним из них, подводником, Стивен подружился. Его новый друг увлекался авиацией и являлся инструктором по обучению новичков. Он и подвиг Зильбермана научиться летать.

Небо оказалось для Стивена родной стихией. Он получил удостоверение пилота-любителя. Обучение стоило 3 тысячи долларов. Стивен не стал просить деньги у родителей, занял эту сумму и оплатил свою страсть к небу.

Остановиться бы на этом... Летай себе на здоровье по выходным, получай порцию адреналина от пребывания на высоте, управления послушным самолетом... Однако надо знать Стивена – везде и во всем неистребимое желание, как сказал поэт, «дойти до самой сути – в работе, в поисках пути, в сердечной смуте...» И еще – быть во всем первым.

Он подает документы в школу военных летчиков. Конкурс сумасшедший, чуть ли не сто человек на место. И он выдерживает испытание и зачисляется в школу! Кстати, его товарищ, учитель-инструктор, не смог попасть, а ученик попал!

Пример деда Гриши сыграл в неумном желании летать не последнюю роль.

Любопытно, что сам Григорий Герасимович не выразил восторга по этому поводу. «Рискованная, опасная профессия», говорил он внуку. Ну, а родители и вовсе пребывали в шоке...

Зильбермана хотят оставить на кафедре и предоставить возможность получить степень магистра – **Master's Degree**. Он отказывается. «Я хочу летать!» Катя разводит руками в ответ на призывы повлиять на мужа: «Я не могу его заставить...»

## **Глава 7. «ДЛЯ НАС ЧЕСТЬ ИМЕТЬ ОФИЦЕРА ТАКОГО КАЛИБРА...»**

Итак, в июне 2003-го Стивен Зильберман прибыл на базу ВВС в Пенсаколе, штат Флорида, для прохождения летной подготовки.

Неожиданно выплыл странный и даже колючий вопрос, достаточно давно заданный любимой учительницей Мэрилин Рофски: «Славик, ты стал военным и, предположим, получил приказ воевать

на территории страны, где ты родился. Что будет твориться у тебя на душе?» – «Я как солдат принесу присягу Соединенным Штатам, чьим гражданином являюсь, и останусь ей верным всегда и везде», – ответил после некоторого раздумья.

Событием стало присвоение Стивену Зильберману звания офицера авиации ВМС.

Через некоторое время его родители получили письмо от командира авиаподразделения номер 5 (Training Air Wing Five).

*«Дорогие мистер и миссис Зильберман!*

*Ваш сын Стивен Зильберман представлен к почетной грамоте в знак признания его выдающихся достижений в начальной академической подготовке во время обучения в авиаподразделении номер 5 военно-морской авиации. Его превосходные характеристики позволяют включить Стивена Зильбермана в число 10 процентов лучших студентов, проходящих здесь подготовку.*

*Этим личным достижением Стивен и вы можете с полным основанием гордиться. Для нас честь иметь офицера такого калибра.*

*С уважением,*

*Т. Джонс, капитан американских военно-морских сил.*

*Пенсакола, Флорида*

*7 октября 2004 г.»*

Лейтенант Зильберман получил назначение в авиаподразделение авиабаз Корпус-Кристи, а затем Кингсвилл в Техасе.

Это уже был другой уровень летной подготовки. На авиабазе Корпус-Кристи Стивен налетал 140 часов на двухмоторном самолете TS-2А «Трекер». На авиабазе в Чейз-Филд или Кингсвилл он освоил необходимые навыки взлета и посадки на учебный авианосец. Это оказалось самым сложным.

После одного подготовительного и одного тренировочного полета с инструктором он выполнил самостоятельную посадку на полевую модель посадочной палубы авианосца, которая представляла собой обычную аэродромную взлетно-посадочную полосу, оборудованную тормозной системой. После нескольких тренировочных посадок на такую ВПП требовалось совершить посадки на учебный авианосец «Лексингтон». Первоначально проводятся два учебных

полета с выполнением маневра «касание-взлет» («touch-and-go»), то есть самолет, идя на посадку, касается посадочной палубы авианосца и вновь взлетает (на форсаже). На следующем этапе подготовки выполняются посадки на палубу с использованием системы торможения (летчик выпускает посадочный крюк, который зацепляется за один из тормозных тросов).

Стивен отработывал посадку «с прямой», отчетливо осознавая сложности, которые его ждут, – это глиссада, скорость и точка выравнивания. Необходимо выдерживать глиссаду с учетом того, что авианосец в своей стихии, то есть движется, есть качка и необходимо постоянно корректировать траекторию снижения. Высокая посадочная скорость может стать причиной повторного взмывания самолета после касания и лишит возможности зацепиться за авиафинишер. Низкая же скорость вынудит увеличить тангаж, а это только усилит потерю скорости и снижение, а это куда серьезнее: самолет начнет просаживаться и в итоге лишь «поцелует» корму авианосца.

Заключающий этап захода на посадку с кормы – точка выравнивания и касание. В точке выравнивания самолету необходимо задать посадочное положение, которое исключит взмывание и обеспечит зацеп за аэрофинишер. В этот момент палуба скроется за капотом двигателей.

Главное – выравнивание и касание, размышлял Стивен. Чем больше скорость, тем мягче должно быть касание. Убрать обороты двигателя только после того, как самолет зацепится за авиафинишер. Если зацепа не произойдет, то придется уходить на второй круг, а это трудно сделать с падающей скоростью и только раскручивающимися двигателями. А так время выхода двигателей на максимальные обороты гораздо меньше, и значит, не будет дефицита скорости...

Посадка с помощью аэрофинишера порой снилась. Он автоматически повторял свои действия, видя всю картину в целокупности. Да, придумавший аэрофинишеры – гениальный человек. Как, в сущности, просто! Система тросов, размещённых на палубе и связанных с тормозным механизмом. При посадке самолёт специальным тормозным крюком (по-морскому – гаком), расположенным в хвостовой части под фюзеляжем, цепляет один из приёмных тросов

и в результате при пробеге вытягивает за собой трос из тормозного механизма. При этом тормозной механизм создаёт значительное усилие «на тросе», это усилие и вносит существенный вклад в торможение самолёта, делая пробег минимальным.

... И вот экзамен. Лейтенант Зильберман должен сдать его только на «отлично» – такова внутренняя установка. По-иному просто быть не может. Стивен выдерживает глиссаду, снижает скорость, выравнивает самолет – вот уже палуба, сейчас произойдет захват крюком троса... Но что это? Захвата не произошло, самолет касается палубы и не останавливается. Стивен вынужденно отправляет машину на второй круг...

После посадки на «сухопутный» аэродром выяснилось – крюк не вышел. Технический дефект. К летчику никаких претензий. А на Стивене лица нет. Его успокаивают, объясняют, что он ни в чем не виноват и завтра-послезавтра в новом полете с посадкой на авианосец докажет свое мастерство, но он переживает так сильно, что никто – ни друзья по авиаподразделению, ни жена не в силах его успокоить.

Внутренний баланс восстановился после сдачи экзамена, когда все прошло хорошо и крюк не подвел.

\*\*\*

А молодую семью тем временем ждало пополнение. 16 февраля 2006-го родился Дэниел. Днем раньше, но в 2008-м, – Сара.

Рассказывает Светлана Юрчак:

*«Рождение первенца ожидалось на несколько дней позже. Поэтому я прилетела в Кингсвилл, когда Дэниел уже появился на свет. Три недели я провела с дочерью, помогала ей. Катя и Славик выглядели абсолютно счастливыми, но немного испуганными – все-таки первый ребенок.*

*Я высоко ценила моральные качества зятя, он был чистый и светлый человек, абсолютно честный, не зря пользовался таким уважением и любовью сослуживцев. Но то, каким сумасшедшим (в хорошем смысле слова) отцом он стал, для меня было откровением. Вообще, семья для него всегда была на первом плане. Он говорил, что хочет иметь троих детей.*

Накануне рождения Сарочки я уже находилась в Норфолке. Мы с Катей поехали в госпиталь. Славик в этот момент готовился к очередному вылету. Командир сообщил ему: «Твоя жена рождает!» В кабине E2C «Хокай» его сменил другой пилот, а Славик помчался в госпиталь.

Еще воспоминание. Я прилетела к внукам в Норфолк в 2009-м. Славик был дома. Я предложила ему и Кате: «Я побуду с детьми, а вы идите и поразвлекайтесь». Они отказались. Домоседы, они предпочитали проводить свободное время дома, а не в барах-ресторанах.

Наутро я услышала громкие детские крики. Спустилась со второго этажа, прошла в кухню и вижу сцену: внук и внучка неистово бьют ложками по столу. Спрашиваю у дочери: «Что они хотят?» – «Хотят есть, а каша не остыла. Я положу немного льда, как они просят...»

Славик в это время делал вафли с помощью специальной машинки. «Я так счастлив, у меня замечательная семья!» – сказал он...»

Славик очень серьезно относился к воспитанию детей, вырабатывая определенную систему. Я не раз видела, как он и Катя читают сыну книжки, обсуждают прочитанное. Они всячески старались развивать Дэниела...

Перед глазами умилительная картина: Славик и малышка Сара вместе смотрят телевизор, отец нежно кладет ей руку на плечо, через несколько минут убирает, и Сарочка тут же возвращает руку на прежнее место...

В 2010-м авианосец «Эйзенхауэр» некоторое время находился в Персидском заливе близ Дубая. Офицерам разрешили определенное количество дней жить в роскошном отеле. Коллеги Славика осматривали достопримечательности города, а он преимущественно находился в номере, общался по скайпу с женой и детьми, шутил, развлекал сына и дочку показом смешных видеофильмов про себя на корабле, прыгал, скакал, дурачился, словом, веселил Дэниела и Сару. Он очень скучал по семье...

\*\*\*

Вернемся в 2006-й год, когда Зильберман уже нес службу в эскадрилье VAW-120 самолетов-радаров «E-2C Hawkeye», имеющей кличку «серые ястребы» («greyhawks»).

С каждым новым полетом он обретал все большую уверенность. Его наставником был лейтенант Мэтт Уолш. Наступил очень ответственный этап – получение сертификата о соответствующей летной квалификации – carrier qualification (CQ). Уолш готовил Стивена к самостоятельной работе в небе, по сути, вводил его в состав эскадрильи.

В этот период Стивен и познакомился с будущим командиром радарной группы Эдом Пойнтоном.

*«Я прибыл в эскадрилью на несколько месяцев раньше Стивена, – рассказывает Эд Пойнтон. – Мы оказались двумя новичками, и еще и поэтому потянулись друг к другу, стали друзьями. Меня поражала его невероятная энергия, он словно заряжался ею от невидимого, находившегося внутри него аккумулятора. С ним было интересно говорить, он на лету поддерживал и развивал любые темы разговора, причем хорошо разбирался во всем, будь то компьютеры, автомобили, обустройство дома, музыка, фитнес и пр. У него была масса интересов и увлечений.*

*Он был взволнован и, я бы сказал, воодушевлен перспективой зачисления в новое подразделение VAW-121, с нетерпением ждал этого момента, показывая хорошие результаты полетов.*

*Ему и мне предстояло прослужить в новой эскадрилье 36 месяцев. Тем не менее, однажды Стивен заговорил на тему, поначалу показавшуюся странной – он сказал, что мечтает поскорее вернуться домой к жене Катрине и сыну Дэниелю (Сарочка еще не родилась). Проведя с ним немало времени, я понял суть разговора: он настолько любил свою семью, что просто пытался подсчитать, сколько часов он сможет проводить с ними, когда служба закончится».*

В апреле 2007-го Стивен перешел в авиаэскадрилью VAW-121 «Синие хвосты» («Bluetails»). Семья по-прежнему жила в Вирджинии (Норфолк). Анна, специалист в области недвижимости, помогла сыну купить дом.

Рассказывает Эд Пойнтон:

*«Стиву и мне вначале были определены наземные рабочие места в административном отделе. Стив стал офицером подразделения АДФ (автоматизированная обработка данных), то есть ответ-*

ственным за компьютеры, компьютерные сети, принтеры и т.д. Я отвечал за состояние здания и того, что находилось вблизи нашего помещения. Ни его, ни мои рабочие часы не были слишком загружены, поэтому нас часто использовали, как говорится, на подхвате, давали различные задания, непосредственно не связанные с летной практикой, но необходимые. Обычно это касалось встреч всего личного состава (Рождественская вечеринка, дни рождений, юбилеи и пр.) или организации масштабных мероприятий, таких, как барбекю или спортивные соревнования. Эта, так сказать, бытовая сторона жизни эскадрильи тоже была весьма важна.

Как правило, следовало очень мало указаний начальства, что делать и как делать, а это означало, каждый из нас двоих должен был проявить инициативу. Всякий раз, когда Стив или я получали очередное задание, мы помогали друг другу.

Через некоторое время, используя наш опыт успешной организации встреч, нас стали загружать более серьезными заданиями, скажем, планировать переброску офицеров на авиабазу для обучения и тренировок. Эти задания предполагали гораздо более активное наше участие. Нагрузки возросли. Но всякий раз, когда я получал новую задачу и вникал в прежде незнакомую ситуацию, я знал, что не останусь один и Стив поможет мне.

Помню, мы должны были напечатать для всех летных экипажей значительное количество пакетов с информационными материалами. После того, как подобрали всю необходимую информацию и вложили в пакеты, Стив создал логотип (он был удивительный художник-график, талант). Логотип мы приклеивали к передней части каждого пакета. Он выглядел в виде черепа и скрещенных костей и был похож на пиратские флаги с очень популярным темно-синим дизайном. Но вместо черепа между скрещенными костями Стив поместил деньги. Мы в шутку называли логотип «Вонючая обезьяна» (игра слов с использованием позывного Стива – «Abrek Russian Space Monkey» и моего неофициального позывного «Stinky Finger» (мой реальный позывной был просто Finger («Палец»)). Мы ставили наклейки на все, что выпускали вместе...

Ну а потом мы приступили к летной работе...»

«Ястребиный Глаз», находясь в районе боевых действий, собирал разведывательные данные в ходе операции коалиции союзников в Афганистане, наводил истребители-бомбардировщики на различные наземные цели, вел корректировку огня, помогал в ориентировании самолетов при дозаправке....

На «Хокаях» этого типа были установлены два мощных турбовинтовых двигателя, приводящие в движение два восьмилопастных пропеллера, расположенных на крыльях по обе стороны от фюзеляжа. Хвостовое оперение состояло из четырех килей. Позади кабины возвышалась огромная тарелка радара, придающая самолету непривычный вид. За один полный поворот радарной антенны просматривалось пространство объемом в шесть миллионов кубических миль, а воздушная или наземная цель обнаруживалась на расстоянии до 400 миль (160 миль – крылатые ракеты). Усовершенствованные ЭВМ и программное обеспечение позволяли обнаруживать одновременно множество объектов и целей для уничтожения.

«Хокай» был оснащен мощным комплексом пилотажно-навигационного оборудования...

Месяцы летели незаметно. Товарищи поздравили Зильбермана с рождением дочери. Тяга к семье усиливалась, он думал о жене и детях постоянно, в своем воображении он играл с сыном в мяч, рассказывал ему разные смешные истории, качал малышку Сару, целовал в розовые щечки.

Он и Эд Пойнтон служили в этот момент на авианосце «Джордж Вашингтон». 7 апреля 2008-го корабль с ударной авиагруппой покинул Норфолк и взял курс на Южную Америку. Во время южноамериканского транзита «Джордж Вашингтон» и боевая авиагруппа участвовали в совместных военных учениях с бразильскими и аргентинскими военно-морскими силами.

*«Мы жили вместе в каюте, предназначенной для четырех человек, – вспоминает Эд Пойнтон. – Один из офицеров был направлен на учебу, так что мы находились в каюте вдвоем. Это было большое комфортабельное помещение по меркам авианосца. Полетов во время учений было относительно немного. Стивену по возвращении домой предстоял отпуск, и он использовал появившееся свободное время на поиск подходящего круиза с женой по случаю десятилетия*



их брака. Интернет в открытом океане подключался медленно, Стивен, верный себе, искал лучший вариант и, наконец, найдя, обрадованно сообщил мне об этом и посоветовал сделать то же самое, преподнеся таким образом подарок жене.

22 апреля авианосец прибыл в порт Рио-де-Жанейро. Я помню, нескольким нашим офицерам, и мне в том числе, поручили организовать береговой патруль. Рио не без оснований считался городом повышенной криминогенной опасности. В наши функции входило наблюдение за моряками, сошедшими на берег: как себя ведут, все ли с ними в порядке, не нуждаются ли в помощи, нет ли непредвиденных ситуаций...

Стив по каким-то причинам не вошел в команду патрулирования. Нам были предоставлены номера в отеле «Мэрриотт» на знаменитом пляже Копакабана. Своего рода штаб-квартира корабля на берегу. Стив нашел меня, на отдыхе ему особенно хотелось общения. В нашем номере имелись две односпальные кровати, которые, естественно, были заняты. Стив захотел остаться. «Парни, я вас не стесню, я лягу на пол между кроватями», – неожиданно предложил он.

В общем, проблему ночлега мы так или иначе решили. Я с удовольствием вспоминаю часы наших душевных бесед в гостинице с видом на Копакабану».

Через некоторое время авианосец, находясь в водах недалеко от берега, на ночь бросил якорь. Адмирал и несколько высоких чинов на катере отправились в город на официальный прием. Стив и Эд поднялись в верхнюю часть корабля и вышли на взлетно-посадочную палубу. Они сфотографировали друг друга и отправили снимки домой близким. Это фото Стивена Катрина и его родители потом использовали для мемориальной доски в Вирджинии-Бич и во время церемоний поминовения героя – лейтенанта Зильбермана...

\*\*\*

...Исполнилось желание Стивена – он получил долгожданный отпуск и отправился с женой в круиз по Карибам. Отплыли они из Майами, сюда же возвратились. Сарочке исполнилось полгода, ее и Дэниела перед путешествием привезли из Норфолка в Колумбус.

Детьми занимались мать Кати и родители Стивена. Помогал младший брат Катрины – Алекс.

Ежедневно с корабля шли электронные сообщения в адрес родителей. Иногда по два-три, как, например, 19 августа. Стивен и Катрина сообщали о том, как проходит путешествие, а главное, интересовались, все ли в порядке с детьми, особенно с малышкой Сарой.

### **Глава 8. «СИНИЕ ХВОСТЫ»**

В конце 2008-го эскадрилья VAW-121 получила приказ готовиться к боевому развертыванию для участия в операциях в Афганистане.

Рассказывает Брайан Эбботт:

*«Я впервые встретил Стива, когда он был принят в VAW-121. Я служил здесь уже в течение года, и он был новый парень, встреченный с добродушным одобрением других авиаторов. Мой позывной – «Vandcamp», Стив почему-то решил, что я, должно быть, поляк, поэтому добавил в мой позывной окончание «ски» на польский лад и всегда называл меня «Бэндкемпски».*

*Вынашивая какую-нибудь идею, он загорался желанием попробовать новое, которое для меня выглядело диковато. И я обычно говорил: «Я не уверен, «Абрек», это звучит немного непонятно...» Он обычно отвечал с улыбкой уверенного в себе человека: «Поверь мне!»*

*Я не помню точно, когда это было, но где-то около 2008-го или 2009-го. Стив позвонил мне однажды и спросил, может ли он использовать мой грузовичок, чтобы забрать качели, которые купил для Дэниела. Я сказал: «Разумеется, возьми». Мы смонтировали качели вместе в его дворе. Стив был так взволнован, стремясь закончить работу пораньше, а Дэниэл не мог дождаться, когда это произойдет. Как только качели установили, Дэниэл опробовал их, довольный и счастливый. Стив разделил его радость и смеялся, как ребенок; смех и улыбка нон-стоп.*

*Я сказал Катрине: «Я не знаю, кто больше возбужден, Дэниэл или Стивен!» Она рассмеялась и сказала, что тоже не знает...*

*Также помню момент, когда Стив и Катрина выяснили, что она ждет девочку. Стив был невероятно горд и безумно рад! Он имел сонограмму (ультразвуковое исследование беременности – УЗИ) и го-*

тов был без конца показывать друзьям: «Смотрите, что я сделал!»

Также не забуду смешной эпизод: мы остановились в Рио-де-Жанейро во время похода 2008 года и намеревались пообедать в шарукарии (бразильской закуской с огромным количеством мяса). Стив начал делать отжимания в холле отеля, чтобы заработать аппетит!

Я – морской офицер, член радарной группы и всегда чувствовал себя в безопасности летать со Стивом, потому что он был очень профессиональным пилотом. Он любил шутить, хохмить, но когда дело доходило до полетов, становился подчеркнуто серьезным».

В рамках подготовки к операциям в Афганистане Зильбермана и Пойнтон направили на авиабазу в городе Фэллон (Невада) для учений под названием «Air Wing Fallon». Это были не просто тренировки – перед экипажами ставились сложные задачи, требовавшие высокого уровня тактического мастерства, глубокого исследования и разработки планов полетов с учетом конкретных условий. На это уходили долгие часы.

...Вскоре они начали готовиться к выполнению порученной миссии на борту авианосца «Дуайт Эйзенхауэр». Пойнтон хотел делить каюту со Стивом, но это было не положено – пилоты должны жить отдельно от военно-морских офицеров (NFOs – Naval flight officers). Это не мешало Стиву часто приходить в каюту Эда, которую шутя прозвали «норой крота». Кроты живут под землей в темноте, а члены радарной группы сидят в самолете E2C «Хокай» тоже в темноте, чтобы лучше видеть компьютерные экраны, отсюда и прозвище. «Нора крота» на авианосце на самом деле была достаточно велика – два смежных отдельных помещения, одно для сна, другое для работы. Именно здесь разворачивались баталии любителей видеоигр, когда выпадало свободное время. Самыми популярными видеоиграми были Halo и Call of Duty. Едва Стив приходил в «нору», коллеги Эда набрасывались на него с предложением сыграть. Он никому не отказывал, хотя, может, и не всегда хотел тратить время на игры. Таков был его характер – он всегда стремился быть в гуще людей, создавать окружающим приятную ауру, чтобы все вокруг испытывали радость общения. Игры помогали этому.

...Кабюта Стива не была такой просторной, для видеоигр не приспособленной, тем не менее, Пойнтон, в свою очередь, часто захо-

дил к нему и обычно видел его читающим. У «Абрека» было огромное количество электронных книг. Он всегда возбуждался, когда читал что-то очень интересное, настаивал, чтобы Эд обязательно прочитал. Одна из книг особенно потрясла его воображение. Речь идет о романе-бестселлере Кена Фоллета «Столпы Земли» (Pillars of the Earth). Эд предпочитал чтению телевизор и видеоигры, к тому же не хотел занимать его «киндрл» – устройство для чтения электронных книг. Но Стив не оставил идею «заставить» друга прочитать бестселлер.

Уже позднее, в самом начале 2010-го, когда корабль зашел в порт Дубая, он в день рождения Пойнтонна нашел книжный магазин в торговом центре и купил ему в подарок «Столпы Земли». В Дубае все недешево, книга стоила, наверное, 25 или 30 долларов. Эд прочитал этот фолиант, на что потребовалось несколько недель, ибо более тысячи страниц были набраны мелким шрифтом. По его признанию, это, возможно, не лучшая книга, которую он когда-либо читал, но это была хорошая книга и он стал поклонником Фоллета, познакомился с другими его романами. Эд отметил изощренную структуру «Столпов Земли» и богатый язык. Он знал, что Стив изучал английский почти с нуля и был впечатлен его оценкой книги – большинство американцев, закончивших колледжи, по мнению Эда, не в состоянии прочитать и оценить это издание.

Кроме чтения, Стив большую часть свободного времени посвящал записи видеофайлов, которые посылал по электронной почте домой Катрине. Подключение к Интернету на корабле неважное, он не мог отправлять и получать большие видеофайлы. Однако Стив нашел способ сжимать такие файлы и превращать в достаточно небольшие, годные для отправки.

...Летные будни оставались главным делом лейтенанта Зильбермана. Теперь он взлетал с палубы и садился на палубу «Могучего Айк» (Mighty Ike). Почему Айк? В детстве мать Эйзенхауэра так называла сына. Прозвище настолько прижилось, что и в более позднем возрасте так называли его друзья, окружающие и, наконец, вся Америка. Неудивительно, что неформальное наименование появилось и у авианосца, названного в честь прославленного генерала.

В свободные минуты Зильберман с неизменным восхищением наблюдал за парнями в желтых жилетах, выполнявшими едва ли не

самую опасную среди палубной команды работу. Они обслуживали катапульты и аэрофинишеры. Их называли «шутерс» (shooters – «стреляющие»). Большинство «стреляющих» – морские летчики или входившие в экипажи самолетов авиации ВМС. Как правило, «стреляющими» становятся добровольно.

Air Boss на мостике авианосца напоминал Стивену своеобразного факира, мага, фокусника, управлявшего действиями расчета катапульты красным, желтым и зеленым огнями. Зажигается зеленый – есть готовность к катапультному старту. «Шутер» подает сигнал быть в готовности к закреплению самолета на катапульте, а самолет заруливает на дорожку катапульты. Расчет крепит носовую опору шасси к челноку катапульты. Летчик запускает двигатели. «Шутер» получает информацию от летчика о взлетной массе самолета. С учетом поправки на ветер, плотность воздуха и длины разгонного участка вычисляются установочные данные для катапульты. После ввода данных, проверки правильности установки и крепления самолета, отсутствия посторонних объектов на палубе в районе старта, отдается команда на взлет самолета с авианосца.

Используются два способа катапультного старта: с края палубы и ниже палубы. В первом случае «шутер» стоит на коленях непосредственно на палубе, во втором – находится в небольшом помещении, прозрачная крыша которого несколько возвышается над полетной палубой. Обычно способ «ниже палубы» используется в непогоду. «Однако я предпочитаю «ниже палубы» и в прекрасную погоду – ниже палубы есть кондиционер!» – улыбается «шутер» в разговоре со Стивеном.

Возможны ли аварии и неисправности? Крайне редки, однако списывать их со счета нельзя. Во-первых, могут быть технические дефекты, во-вторых, человеческий фактор. Люди не роботы, им свойственно ошибаться. Зильберману известно: 25 января 1987 года, находясь в районе побережья Ливии, самолет радиотехнической разведки EA-3В «Скайуорриор» доложил на авианосец о критической неисправности, делающей невозможной посадку с использованием аэрофинишера. На «Нимице» срочно убрали в стороны лишнюю авиатехнику и натянули поперек палубы т.н. «баррикаду» (эластичную сеть) для торможения аварийного самолета. «Скайуорриор» пробил баррикаду и упал за борт. Экипаж из 7 человек погиб.

Что бывает, если катапульта отказывает непосредственно перед стартом? В этом случае «шутер» с помощью электроники отключает катапульту и отсоединяет самолет от челнока катапульты. Сигнал о прекращении процедуры взлета он подает перекрещенными над головой руками. А взять непогоду, особенно сильный ветер, из-за которого в отдельных случаях приходится прерывать подготовку к для Аравийского моря сочетание жары и сильных ветров держит «шутеров» в постоянном напряжении.

«Почему бы и мне не попробовать научиться так же ловко управлять взлетами и посадками? – задает сам себе вопрос Стивен. – В самом деле, почему? Основной работе на «Хокае» это не повредит, ведь я буду этим заниматься в свободное от полетов время. Зато приобрету еще одну специальность...»

*(Забегая вперед, скажу, что упорный, умеющий преодолевать преграды Зильберман «по совместительству» стал-таки сигнальным офицером – LSO (Landing Signal Officer). Поскольку на дежурстве в руках офицеров цветные манипуляторы, флаги или палочки, их (сигнальных офицеров) неофициально называют paddles – «веслами». Они используют 13 стандартных сигналов, чьи названия говорят сами за себя: cut, wake off, high, low, fast, hook, slow и так далее.*

*Более того, Стивен обучил этому мастерству нескольких новичков. В этом он весь: умеешь сам – научи других. – Авт.).*

...С конца января 2010-го «Могучий Айк» находился в Оманском заливе. Стивен летал много, в пилотской кабине рядом находился Джереми Арнотт, с которым Зильберман жил в одной каюте.

*«Помещение было очень маленькое, с двумя двухъярусными кроватями, – вспоминает Джереми. – Телевизор с плоским экраном я прикрепил к книжной полке. В свободное время вечером мы смотрели телесериалы. Видеоиграми заниматься в такой тесноте можно было только вдвоем – если мы хотели расширить аудиторию, то спускались вниз в одну из просторных кают на шестерых и там, что называется, отводили душу. Стивен рассказывал о своих планах стать врачом военно-морского флота, а потом открыть частную практику, чтобы постоянно быть с семьей. Он читал учебники по органической химии, физике, загодя готовясь к экзаменам, я помогал ему...*

...Каждые пару месяцев все летное подразделение авианосца собиралось вместе на вечер отдыха и развлечений. Коньком было создание пародийных видеofilьмов, которые вызывали хохот всего экипажа. Например, в одном из его фильмов был показан поход в туалет во время полета на боевом самолете. В другом – посадка самолета задом наперед на палубу авианосца; в третьем, самом смешном, был показан оператор радара, который во время полета увлеченно играл в видеоигры, а два пилота, сидевшие спереди в рубке, вели самолет, думая, что выполняют боевое задание».

Ротация авиагрупп в этом регионе происходила каждые четыре-шесть месяцев. Одни пилоты и специалисты-электронщики, обслуживающие радары, уходили, другие приходили им на смену. Стивен ожидал, что вот-вот последует приказ принять новые экипажи, помочь им как можно быстрее войти в курс дела. Он всегда с удовольствием занимался этим, передавать свой опыт и знания было у него в крови. Одновременно не скрывал своих намерений готовиться к поступлению в медицинскую школу по программе ВМФ.

Эд Пойнтон, тоже готовящийся к уходу, в связи с этим известием немного расстроился – он надеялся, что в результате обязательной ротации оба займутся тренировками экипажей эскадрильи в Пенсаколе, однако у Стивена на сей счет были свои планы. Любя небо, он готовился сменить штурвал «Хокая» на учебную аудиторию. Что ж, рано или поздно все кончается и планы меняются. У него эта перемена связывалась с истовым желанием быть с семьей, женой и маленькими детьми.

Обмен лаконичными электронными сообщениями с близкими дает некоторое представление о мыслях Стивена в эти зимние месяцы, его желании успокоить родителей.

6 февраля, суббота

*«Привет, мама и папа! Все у меня нормально. Не волнуйтесь. У меня есть много времени, чтобы заниматься, и я имею возможность отдыхать. Еще не так жарко, 75 градусов, но я уверен, жара наступит через месяц. Хороших выходных. Хватит волноваться относительно работы и хватит работать так тяжело. Отец уже вышел на пенсию, как хотел в эти дни, или все еще каждое утро ездит на работу? Люблю, Стивен»*

**10 февраля, среда**

*«Привет, мои дорогие родители! Большое спасибо за подарки в связи с моим днем рождения. Я очень признателен. Но, пожалуйста, не тратьте деньги, посылая мне вещи. У меня ничего особо нового. Много летаю. Это хорошо так много летать и зарабатывать летные часы. Надеюсь, дома все хорошо. Люблю, Стивен»*

**14 февраля, воскресенье**

*«Привет! Рад слышать вас! Поздравляю с Днем влюбленных (который, я думаю, станет для людей днем траты денег...). У меня все в порядке. Летаю. Будьте здоровы. Люблю, Стивен»*

В начале марта командир эскадрильи объявил Зильберману и Пойнтону, что они, согласно плану ротации, покинут подразделение ровно через месяц.

...Вместе с Зильберманом и офицером оперативной службы Пойнтон присутствовал при обсуждении плана завтрашнего полета. Эд устал и не имел особого желания лететь рано утром (требовалось проснуться в пять часов). Офицер оперативной службы собирался поставить кого-то другого, но Стив уговорил Эда полететь вместе: «Это наш последний шанс вместе выполнить задание перед уходом...»

Это происходило 30 марта, а накануне Стив отправил и принял несколько сообщений от родителей.

*«Привет! У нас состоится встреча Пассовера. Раввин специально прилетел на корабль. Я дам вам знать, как все пройдет. Я планирую быть дома в конце апреля. Хорошего дня и не волнуйтесь. Люблю, Стивен».*

*«Наш дорогой сын, любовь всей жизни! Мы собираемся к Дебби (Эйзенстайн – Авт.) отметить Пассовер. Мы всегда счастливы быть с этой семьей, и каждый еврейский праздник мы с ними. Это традиция для них и для нас. Сара очаровательна, нет слов, чтобы описать сладкую девочку. Всегда в хорошем настроении, обожает Аню. Плачет, когда та уходит, и спрашивает: Аня, когда ты придешь? Славик, ты знаешь точно дату возвращения домой? Мы приедем повидаться даже на один день. Мы не станем докучать тебе. Не волнуйся... С любовью, родители».*



«Я полагаю, Сара начинает говорить все больше. Это прекрасно! Я не дождусь услышать ее разговор. Итак, я пошел на первый Седер... Люблю, Стивен».

«Дорогой сын! Мы в Интернете. Как хорошо... Мерилин пришла увидеть Сару. Они провели час вместе как два друга. Дебби и Бенни пришли к нам тоже и сказали, что Сара – вылитый Славик. Вы две родственные души. Сара очень умная девочка. Борис принес ей апельсин, разрезанный на дольки. И я сказала Саре: «Я люблю Бориса. Он очень хороший». И она ответила: «Я тоже люблю». Сладость, сладость, сладость... Родители».

«Привет, мама! Я нашел риэлтера в Пенсаколе. Она работает с военными, волонтер в военном офисе. Она живет в городе 13 лет. Ее имя Донна Ривес, и она связана с компанией по продаже недвижимости в Пенсаколе. Я сказал ей, что моя мама – тоже риэлтер... Вот имэйл и телефон Донны...

Она сказала, что может помочь нам найти дом *в рент* или для покупки. Позвони и поговори с ней относительно этого... Спасибо. После твоего разговора Катрина позвонит ей и начнет подыскивать дом... Люблю, Стивен».

Это было последнее обращение сына к родителям. Время отправки имэйла – 29 марта 2010 года, 4:31 пополудни.

Увы, что нашего незнанья  
И беспомощней и грустней?  
Кто смеет молвить: до свиданья!  
Чрез бездну двух или трех дней?

**Федор Тютчев**

\*\*\*

30 марта во вторник евреи всего мира отмечали праздник Песах. Отмечали его и на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр».

Вспоминает капеллан-раввин Нил Крейслер:

«В этот знаменательный день я уже был на борту корабля. Прилетел я немного раньше. Обратил внимание, как соответствующий персонал загружал боевые ракеты и бомбы на борт реактивных истребителей. F-18 совершали вылеты каждый день, обеспечивая поддержку войск коалиции, воюющих в Афганистане. Хотя я бывал на борту авианосца и раньше, но прежде не видел, как идет загрузка...

Все необходимые для проведения церемонии Песах предметы прибыли на авианосец до моего прилета, и я потратил несколько часов, готовясь к празднованию. Столы для первого седера были накрыты белыми скатертями. Ритуальные предметы заняли свое место. Специальная кошерная пасхальная еда была приготовлена.

Восемь моряков приняли участие в первом седере. В том числе трое летчиков: один – пилот F-18 и двое – члены экипажей E2C «Хокэй». Стивен Зильберман был среди них. Он сообщил, что родом из Украины.

Седер шел долго, как и положено. Я напомнил, почему на особом подносе лежат три цельных куска мацы, накрытые салфеткой. Посреди стола заняло свое место пасхальное блюдо, символизирующее Исход евреев из Египта. На блюде помещались куриные горлышки, сваренные вкрутую яйца, морор – горькая трава, харосет – смесь тертого яблока и молотых орехов с корицей, карнас – зелень и вареные картофелины. И блюдо с соленой водой... Я произнес киддуш – благословение перед вином. Мы выпили четыре стакана виноградного сока и с улыбкой посетовали, что на корабле нет пасхального вина Манишевич.

После того, как была прочитана Агада и выполнено все, предписанное Законом и обычаем, мы приступили к трапезе. Мы пели песни, рассказывали разные истории. Я узнал, что у лейтенанта Зильбермана двое детей. Стивен сказал, что его сын Дэниел знает слова пасхального песнопения. «Будь он сейчас здесь, я бы с его помощью отлично исполнил все песни вместе с вами».

Я передал морякам и летчикам пасхальные свечи и коробки с миндальным печеньем. Стивен съел фруктовое желе с лимонными дольками и пошутил, что «очень важно съесть лимон, предохраняющий от цинги...»

Спать Стивену не хотелось. Он зашел к командиру эскадрильи Джозефу Финну. Командир с большой симпатией относился к Зильберману. Прежде всего, ценил его как профессионала своего дела. Кроме того, подкупали его искренность, неповторимая улыбка, чувство юмора; весь облик его, по воспоминаниям командира, создавал неповторимую ауру; общение со Стивеном доставляло удовольствие, и не только командиру, но и другим пилотам эскадрильи.

Стивен угостил Джозефа пасхальными сладостями, они проговорили около часа.

В письме родителям Стивена, датированном 1 мая 2010-го, командир пишет: *«Я могу сказать со всей ответственностью, что он выглядел абсолютно счастливым...»*

До трагедии оставалось примерно полсутки.

\*\*\*

«Миром правят судьба и прихоть», – писал великий знаток человеческой души француз Ларошфуко. Когда я слышу выражение «по прихоти судьбы», то, как правило, не жду ничего хорошего от результата.

В жизни, безусловно, присутствует элемент случайности. Порой его называют Его Величество Случай, едва речь заходит о невероятном везении. Еще говорят – счастливая случайность... Но как назвать чудовищное, немислимое, неправдоподобное совпадение обстоятельств, которого не могло быть, никак не могло, но произошло. Вопреки логике, здравому смыслу, наперекор всему.

Случившееся со Стивеном Зильберманом я отношу к величайшей несправедливости. В самом деле, ему, отдавшему небу всего себя, осталось летать считанные дни, он вынашивает планы дальнейшей учебы на врача, готовится к переезду из Норфолка во Флориду, собирается купить дом, прочно обосноваться на новом месте; сын, муж, отец, он обожает своих близких, мечтает постоянно находиться с семьей, воспитывать детей, радоваться жизни... Он заслужил человеческое счастье всей своей предыдущей жизнью, в которой нет ни единого темного пятна. И... прихоть судьбы, точнее, зловещая ирония, издевка. За что, почему?

Не нахожу ответа, как не находят его хорошо знавшие и любившие Славика. Злой рок. Птица, подстреленная на лету.

Все внутри бунтует: ну, никак не могла произойти трагедия во второй день праздника Песах, знаменующего освобождение евреев от рабства. Не было к этому ни малейших предпосылок! Увы, всем правит случай. Знать бы еще, кто правит случаем. Неужто случай и впрямь «псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем» (Анатоль Франс)...

### **Глава 9. ГИБЕЛЬ ГЕРОЯ**

*«Между тем самолет снизился еще больше, его высота достигла уже 300 футов. Мне показалось, что пилоты, занятые лопастями, не заметили столь опасного снижения. Я сообщил об этом в рубку. Но Стивен и сам все видел. Самолет не слушался. Тогда он приказал сообщить на авианосец, что команда покидает самолет».*

В считанные секунды после того, как стало очевидно, что самолет теряет высоту и необходимо подняться любой ценой, Стив определил, что это невозможно, и по интеркому приказал: «Мы не можем подняться (секундная пауза), мы должны покинуть борт».

К счастью, экипаж был готов к спасению, потому что по приказу командира правильные шаги они уже сделали. В ином случае экстренная операция могла бы занять не менее полуминуты (позже, оценивая ситуацию, Эд Пойнтон пришел к выводу: задержись они на борту больше чем на 15 секунд, уже не смогли бы выпрыгнуть).

Для того, чтобы члены экипажа могли выпрыгнуть с парашютами, нужно было выбросить за борт входную дверь в инженерном отсеке позади рубки. Дверь не открывалась, а именно сбрасывалась в море. Для этого имелась специальная ручка возле кресла командира. Джереми до нее достать не мог. Стивен на секунду передал управление второму пилоту и нажатием рукоятки сбросил дверь. Стивен старался всеми силами удержать самолет в воздухе в течение тех нескольких секунд, которые были необходимы, чтобы экипаж покинул борт. Штурвал рвался из рук, удерживать его становилось невозможно, но командир вцепился в него до побеления костяшек пальцев...

Из рассказа Эда Пойнтона:

*«У меня и у Рича, чтобы подготовиться, времени было совсем в обрез. Мы не успели надуть плоты, но, по крайней мере, спасательные жилеты надуть успели.»*

Я бросился к двери, которая почему-то оставалась на месте, а не отстрелилась и не улетела вниз. Видимо, причиной была сильнейшая тряска. Я попытался вытолкнуть дверь в воздушный поток, однако это не получилось. Опустившись на корточки, попытался толкать дверь ногами. Кое-как, вытащив мешавшую скобу, я нажал на дверь и она вылетела с борта. В этот момент я находился в сидячем положении, ноги мои болтались снаружи самолета...

Недолго думая, мы прыгнули – сначала я, следом за мной Рич. Последнее, что я слышал, это крик Стивена, обращенный к Джереми: «Пошел! Пошел! Пошел!» Я не знал, командир стоит за нами, готовясь прыгнуть, или еще пытается удержать самолет в воздухе...

Я раскрыл парашют и приводнился. Я не видел самолета, не видел другие парашюты и людей. Мой шлем и беруши скрадывали звуки – кругом было жуткое молчание. Видны были очертания авианосца на горизонте...

С помощью системы CSEL (Combat Survivor /Evader Locator) по радио попробовал установить связь с воздушными судами, но тщетно. С трудом надув спасательный плот и взобравшись на него, использовал «вспышку выживания», чтобы помочь спасательному вертолету обнаружить меня, и вскоре после этого оказался на его борту.

Из рассказа Джереми Арнотта:

*«Когда Эд сообщил на авианосце о нашем положении, они запросили наши координаты. Я передал их, и Стивен приказал мне прыгать. Я не хотел оставлять командира и попытался помочь ему удерживать штурвал, но он закричал: «Пошел! Пошел! Пошел!»»*

Я был уверен, что он немедленно последует за мной, и выскочил из рубки. Эд стоял в проеме двери с уже надутым жилетом. Я закричал ему, чтобы он прыгал. Он прыгнул, и Рич последовал за ним. В последний момент я оглянулся и увидел, что Стивен нечеловеческими усилиями удерживает беснующийся штурвал, давая нам возможность выпрыгнуть...

Я не успел надуть ни плот, ни жилет. Ударившись о воду, отстегнул парашют и ушел под воду, затем вынырнул и тогда только надул жилет. Через несколько минут меня подобрал спасательный вертолет».

Как писал мне с горькой иронией Эд Пойнтон, все трое имели сомнительную честь оказаться первыми за 20 лет, покинувшими «Хокай» в экстренной ситуации, и первыми, использовавшими новую парашютную систему выживания.

После того, как всех троих подняли на борт вертолетов, поисково-спасательная бригада приступила к поиску Стивена. Трое спасенных членов экипажа вместе с другими до рези в глазах вглядывались в морскую поверхность, ища какие-либо следы Стивена. Они пролетели над участком моря, где плавали куски разбитого самолета. В них отражались солнечные лучи, показывая место, где он ударился о воду. Помимо небольших панелей и мелких фрагментов, никто ничего не заметил. Самолет полностью ушел под воду.

Следы Стивена нигде не обнаруживались.

Поиск продолжался довольно долго, пока вертолетам не приказали вернуться на авианосец. Спасенных высадили на корабль, они попали в руки медиков, а вертолеты и несколько судов продолжили поиски Стивена в надежде обнаружить его живым.

\*\*\*

В первой половине дня Анна, выполняя просьбу сына, разговаривала по телефону с риэлтером из Флориды Донной Ривес, рекомендованной Стивеном. Обсуждали варианты покупки дома в Пенсаколе, цены, величину банковского займа, на какой срок его лучше брать и пр. Долгий разговор коллег складывался удачно. Донна не преминула сделать Стивену комплимент, похвалив за знание нюансов бизнеса, связанного с продажей и покупкой недвижимости. Анне это было приятно слышать. Она пребывала в хорошем настроении.

Позвонила Катрина. «Я хочу вам что-то сказать...» Анна была на линии с Флоридой, извинилась, что не может поговорить с невесткой, и пообещала перезвонить ей чуть позже. Анну удивил не-

обычный, вибрирующий голос Катрины, но она не придавала этому значения, ее мысли были заняты другим.

Завершив разговор с риэлтером, тут же перезвонила Катрине. Невестка произнесла фразу, которая секунду-другую не доходила до Анны. «Мне сообщили, что самолет Славика потерпел аварию. Его ищут в море и пока не могут найти...»

Секунды истаяли, смысл произнесенного проник в сознание. Анна издала нечеловеческий звук, не то крик, не то стон. Катя не знала никаких подробностей. Анна положила трубку. Мужа дома не было – ушел гулять с собакой. Анна выбежала на крыльцо: «Борис, Борис!» Он не отзывался. В беспамятстве начала бегать по квартире, выкрикивая: «Боже мой, какая нелепость! Этого не может быть! Где мой Славик?!»

Ее объял ужас, равного которому она никогда прежде не испытывала.

Позвонила сестре Элле. Ее дочь Илона работала в Пентагоне. Сестра связалась с ней, и та через короткое время подтвердила: действительно, в северной части Аравийского моря разбился самолет, пилота ищут. Не дай Бог, это Славик...

Анна опять выбежала на крыльцо: «Борис, Борис!»

Вскоре муж появился. Новость ударила его словно обухом. Взяв себя в руки, он начал успокаивать жену: «Не волнуйся, Славика обязательно найдут...»

*Невозможно описать творившееся с Анной. Вспоминая спустя шесть лет в беседе о мной те страшные минуты и часы, спрессовавшиеся в единый миг, Анна несколько раз прерывала беседу и уходила из-за стола. Я чувствовал себя преступником, ради нескольких страниц будущей книги растравлявшим душу матери. Анна возвращалась и, превозмогая себя, продолжала вспоминать. Для нее это было не прошлое, а самое что ни на есть настоящее. С саднящей, рвущей сердце на куски болью она жила, живет и будет жить все отведенное ей Всевышним время. Оно, время, не лечит, это все сказки...*

*Только тот, кто пережил такое, может понять мать, потерявшую единственного сына...*

...Приехала сестра Элла. Анна позвонила всем друзьям. Все включили телевизоры в ожидании каких-либо экстренных сообщений, стали рыскать в компьютерах. Увы, ничего существенного, а главное, обнадеживающего. Звонки на базу в Норфолке были бесполезны – военные чиновники ничего не разглашали, как и положено в таких случаях.

Анна не вполне отдавала отчет своим действиям. Позвонила в украинскую церковь, доброму знакомому. «Миша, беда, ищут нашего Славика и не могут найти. Пусть ваши прихожане молятся за него!»

Поехала на кладбище, подошла к могилам отца и матери, стала просить их помолиться за внука, чтобы его спасли...

Три дня она и Борис не спали. Катрина была в ужасном состоянии. Бесконечные звонки, имэйлы... В пятницу, 2 апреля, им сообщили, что поиски, которые велись большими силами, прекращены и тело лейтенанта Стивена Зильбермана не найдено.

Анна и Борис по своим каналам вышли на трехзвездного генерала, сына их доброй знакомой, ныне покойной. Генерал в свое время написал Славику одобряющее письмо, когда тот был в тренировочном лагере под Чикаго, в самом начале своей военной карьеры. Сейчас родители обратились к нему с просьбой помочь, чтобы поиск не прекращали. Генерал ответил: «Раз спустя трое суток поиск прекращен, значит, ничего уже невозможно сделать... Если бы Стивен смог покинуть самолет и остался бы жив, его бы обязательно нашли».

Анна произносила про себя как заклинание: «Боже, как ты мог допустить такое... Я не такая сильная, я же не справлюсь с таким горем...»

Все дни Элла и племянница Илона были рядом с Анной и Борисом. Приносили еду, таблетки, без которых Анна могла бы сойти с ума. Катрина занималась детьми, была постоянно на связи. Кто может измерить ее горе...

*(Три месяца после трагедии Анна посещала психотерапевта. Он помог ей выйти из сумеречного состояния. Помогли и медикаменты. Но боль, томлящая, не отпускающая, неминуемая боль-древоточец осталась, угнездилась глубоко внутри и не унять ее доводами рассудка и самоговорами... )*



## Глава 10. ПАМЯТЬ

7 апреля на борту авианосца «Эйзенхауэр» состоялась мемориальная церемония, посвященная памяти лейтенанта Стивена Зильбермана.

Вспоминает капеллан-раввин Нил Крейслер:

*...31 марта я улетел в Бахрейн, где расположен штаб 5-го Флота ВМС США. Узнав о трагедии, я попросил разрешения у главного военно-морского капеллана вернуться на корабль и участвовать в мемориальной церемонии в память лейтенанта Зильбермана. Разрешение было получено.*

*Дату прощания с героем назначили на субботу. Я объяснил, почему это нельзя делать – Стивен был еврей. День поминаения изменили...»*

...Передо мной несколько дисков, запечатлевших фрагменты жизни героя этой книги. Бесценные видео-и фотоматериалы, присланные родителями Стивена. Смотрю на компьютерном экране, как все происходило на борту корабля 7 апреля, слушаю выступления, вглядываюсь в лица. Видеокадры перемежаются фотографиями. На борту выстроился весь личный состав, моряки, пилоты, несколько тысяч людей в морской форме. Скорбь, склоненные головы...

Говорит Джозеф Финн, командир эскадрильи, тот самый, с которым Стивен беседовал после первого пасхального седера. Очки придают ему вид строгого учителя. Он говорит о мужестве и героизме Стивена, о том, что эскадрилья потеряла превосходного летчика и замечательного человека.

«Это мучительная потеря для семьи Зильберман и семьи «Bluetails». Он принадлежал к людям, которые составляют силу нашего общества и военно-морского флота. Он смело принял риски нашей опасной работы. Он был прекрасным летчиком и замечательным человеком. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Стивена. Он не будет забыт».

«Лейтенант Зильберман был исключительным морским офицером и пилотом, воплощающим лучшее из того, что представляет собой Америка», – звучат слова капитана Роя Келли, командира Carrier Air Wing 7. – Мы глубоко опечалены огромной потерей това-

рища. Наши сердца открыты семье Зильберман в это очень трудное время... ».

*(Спустя год после гибели Стивена капитан Келли отправит его родителям взволнованное письмо, в котором еще раз воздаст должное заслугам и человеческим качествам бывшего подчиненного. «Я помню тот день 31 марта, как будто это было вчера. Я находился в объединенном оперативном авиационном центре в Катаре. Шло совещание. Один из офицеров шепотом сообщил мне о крушении самолета лейтенанта Зильбермана. Следующие несколько часов я связывался по телефону с коллегами, узнавал подробности случившегося. Миновал этот страшный день. Я пришел к лучшему пониманию ситуации, в которой находился командир – перед ним со всей неотвратимостью стоял вопрос жизни и смерти. И он спас экипаж ценой собственной жизни. Шансов спастись самому у него не осталось...»)*

Слово берет Джереми Арнотт. Он бледен, голос его слегка вибрирует. После всего пережитого слова о потерянном друге звучат особенно проникновенно, в них нет и капли пафоса, неуместного сейчас.

...Двое моряков с цветами на подставке медленно приближаются к борту корабля. Мгновение – и цветы, брошенные за борт, поплывут в Аравийском море, в котором завершил свой земной путь герой-летчик.

Днем позже, 8 апреля, в мемориальном зале морской базы в Норфолке состоялась церемония прощания с лейтенантом Мирославом (Стивеном) Зильберманом.

Присутствовали семья летчика, его сослуживцы и друзья, военные в морской и авиационной форме.

Большой стол, две свечи по углам, портрет героя с улыбкой в глазах и уголках губ. К столу прислонено прямоугольное зеркало, в котором отражаются силуэты входящих в зал людей.

Минутой молчания стоя присутствующие почтили память героя.

Раввин Майкл Паниц читает Псалом 121. Песнь восхождения Давида.

Слова прощания произносит близкий друг Стивена – лейте-

нант Адам Хорн. Речь дается ему тяжело, дыхание перехватывает, он останавливается, сглатывает слезы и продолжает, рассказывая о жизненном пути друга. Первым большим достижением в жизни Стивена стал выбор военной профессии. Вторым большим достижением – женитьба на своей школьной любви – Катрине. «Этот человек всегда и во всем умел добиваться своего».

Камера показывает крупным планом близких героя. Катрина с детьми, Анна и Борис, сестра Анны Элла, ее дочь Илона с мужем... Анна словно окаменела, один Бог знает, что она чувствует... *«Я не такая сильная, я же не справлюсь с таким горем...»* Она – справляется...

Учитель Мэрилин Рофски рассказывает о юном и взрослом Славике, чья американская жизнь прошла перед ее глазами. Она вспоминает смешную историю с 50-ю центами, (читатели наверняка помнят ее – Авт.), а в зале люди плачут, и женщины, и мужчины.

Заместитель командира эскадрильи VAW-121 Дэйв Манди вспоминает: «Стоило «Абреку» войти в комнату, и царившее там напряжение мгновенно спадало. Он умел как-то сразу разрядить атмосферу. Может, потому, что был всем и всегда доволен, казалось, его ничто не может вывести из себя».

По словам Манди, Стивен был одним из лучших пилотов, с кем ему доводилось летать. Преданный небу, он однако мечтал о сугубо земной, гуманной профессии, хотел поступить в медицинскую школу и стать военным врачом. За пару дней до трагедии Манди летал со Стивеном в Афганистан. Пять часов обычного, выверенного до мелочей, по сути, рутинного полета оставляли минуты для отдыха, и Стивен и Джереми Пойнтон стали проверять знания по органической химии, задавая друг другу вопросы по программе будущего экзамена Зильбермана. «Стивен постоянно чем-то занимался, что-то делал, читал, и создавалось впечатление, что он не может просто сесть, расслабиться и ничего не делать – это было не в его характере...»

В самом конце траурной церемонии группа моряков, как положено по традиции, сворачивает американский флаг. Офицер преклоняет колени и передает флаг вдове героя. Катрине вручается награда, которой посмертно удостоен ее муж, – медаль «Летаю-

щий крест» (Distinguished Flying Cross). Это высшая награда американских летчиков, которой отмечаются героизм и выдающиеся достижения. Лейтенант Стивен Зильберман отныне в одном ряду с такими великими пилотами как Чарльз Линдберг и Ричард Берд – первым в истории пролетевшим над Южным полюсом.

Медаль и бронзы включает в себя четыре лезвия пропеллера. Помимо воли задумаешься: нет ли в этом зловещей иронии? Ведь именно дефект в системе пропеллера послужил причиной гибели самолета и Стивена. Впрочем, такие ассоциации не имеют ничего общего с подвигом человека, удостоенного такой награды.

Что касается официальных лиц, то соболезнования выразили контр-адмирал Дэвидсон, адмиралы Мабас, Маллен, Роухед.

Пришло письмо от Президента США.

*«Дорогие Анна и Борис!*

*Я глубоко опечален, узнав о потере вашего сына. Наш народ не забудет эту жертву, и мы в неоплатном долгу перед вашей семьей.*

*Простое письмо не может облегчить боль от потери ребенка, но я надеюсь, что вы найдете утешение в том, что его бесстрашная служба пошла на благо нашей стране. Мы чтим его не только в качестве гаранта нашей свободы, но и как истинное воплощение духа Америки и служения гораздо большему, чем мы сами.*

*Мишель и я выражаем наше искреннее сочувствие и молимся, чтобы Божья благодать снизошла на вас и облегчила вашу печаль и скорбь...*

*С уважением*

*Барак Обама, 16 апреля 2010 г.»*

По инициативе конгрессмена от штата Огайо Патрика Тибери в Вашингтоне над зданием Капитолия был поднят флаг США в честь лейтенанта Зильбермана.

\*\*\*

...Мысленно я вновь и вновь возвращаюсь к последним минутам жизни лейтенанта Зильбермана. Так что же послужило причиной гибели самолета? И мог ли командир спастись вместе со всеми? Был ли у него выбор?

Я спросил об этом членов экипажа. Вот их лаконичные, исчерпывающие ответы.

Джерemi Арнотт:

*«Стив и я не смогли зафлюгировать аварийный винт. Причина, как выяснилось позже, заключалась в дефектной новой системе воздушного винта. Это еще до нашего полета привело к одной аварии и, по крайней мере, к шести другим инцидентам. Новая система пропеллера виновата в том, что случилось с «Хокаем» 31 марта 2010 года...»*

*«Чтобы спастись, ему пришлось бы бросить управление самолетом и бежать к открытому люку. Это привело бы к тому, что самолет перевернулся. Либо Стивен погиб бы, не успев выпрыгнуть, либо расстояние до земли уже было бы слишком мало, чтобы он мог воспользоваться парашютом».*

Эд Пойнтон:

*«Будь ситуация иной, возможно, Стив успел бы выпрыгнуть. Но правый пропеллер создавал столь сильное сопротивление, что требовал от пилота не выпускать штурвал из рук ни на секунду. Как только Стив отпустил бы рычаг управления, самолет бы неизбежно перевернулся и рухнул в море.*

*«Абрек» дал нам достаточно времени, чтобы подготовиться и экстренно покинуть борт. Он не думал о себе, он думал о нас. Когда мы трое выпрыгнули с парашютами и приводнились, шансов на спасение у командира по сути не осталось».*

\*\*\*

Те, кого спас Стивен, и те, кто хорошо знал героя, смотрят на свою жизнь другими глазами. Джереми Арнотт носит на шее два медальона. На одном – цитата из Книги Иисуса: «Я буду сильным и смелым. Меня не испугать и не разочаровать, потому что мой Бог всегда со мной...» На другом – цитата из Нового Завета, в которой также приведены слова Иисуса: «Нет большей любви, чем та, когда человек отдает свою жизнь за друзей».

*«Стивен не был христианином, он был еврей, – пишет Джереми родителям друга, – и мне кажется, что очень важно, когда сам Иисус*

*Христос говорит, что сила любви, которую нам дарят нехристиане, сильнее любви любого христианина».*

Арнотт обратился с письмом руководителю военно-морского ведомства США адмиралу Рэю Мабасу с просьбой назвать именем лейтенанта Зильбермана военное судно.

Эд Пойнтон разрыдался, узнав, что поиски закончены. Он говорит, что благодаря общению со Стивеном его жизнь, как и других военных, которые знали Зильбермана, изменилась и они чувствуют себя лучшими людьми, чем были раньше.

*«Его энергия вдохновляет меня каждый день. Я часто думаю о нем. Я жив благодаря ему. Его пример для меня крайне важен. Помню, мы со Стивеном присутствовали при награждении лейтенанта Райана Беттона наградой Leadership award. Райан был инструктором Стивена, учил его летать на «Хокае». Они были друзьями. В 2007-м Райан погиб вместе с экипажем, упав в море через 10 секунд после взлета с авианосца «Гарри Трумэн». Во время награждения Райана Стивен сказал мне: «Ты когда-нибудь тоже получишь такую награду». И я действительно получил ее. Он был очень расположен к людям, в нем не было и капли эгоизма...»*

*Думая о Дэниэле и Саре, я понимаю, какая дыра в их сердцах. Поэтому никогда не упускаю возможности поиграть с детьми еще в одну игру, почитать с ними еще одну книжку, провести с ними несколько лишних минут...*

*Стивен помог мне укрепиться в вере в свои силы. Наши долгие часы совместной работы в небе, его помощь – все это для меня крайне важно».*

Джесси Талп служил в VAW- 121 вместе со Стивеном. Работа его заключалась в подготовке аварийно-спасательного снаряжения для экипажей самолетов. Люди, подобные Джесси, воспринимали личной трагедией, если с экипажем что-то случалось. Именно так он воспринял гибель лейтенанта Зильбермана. В память о Стивене он дал сыну среднее имя «Абрек».

*«Мой сын – Вэнс Абрек Талп. Прожив пока всего два года, он не понимает значения этого имени. Однажды папа и мама объяснят ему, почему его среднее имя – Абрек и что совершил лейтенант Зильберман... »*

Из письма Брайана Эбботта автору книги:

*«...В день катастрофы я работал в качестве руководителя программы по безопасности в Центре ВМС США в Норфолке. Я получил спешное уведомление, что E-2C Hawkeye авианосца «Эйзенхауэр» разбился. Моя функция заключалась в выяснении всех деталей катастрофы. Узнав, что на борту оставался Стив, давший возможность спастись трем другим авиаторам, я был подавлен, потерял дар речи. Для меня потеря Стива стала личной трагедией...»*

*Несколько лет спустя я стал на авианосце «Эйзенхауэр» одним из запускающих катапульту при взлете истребителей. Мне была предоставлена возможность сопровождать некоторых гостей, которые приходили на корабль. Однажды это была известная группа музыкантов «Carbon Leaf», базирующаяся в Ричмонде, штат Вирджиния. Некоторые ребята из группы имели родственные связи со служившими в вооруженных силах, и они с радостью встретились с пилотами и моряками и услышали их рассказы.*

Я подружился с группой, и мы были в контакте в течение последних нескольких лет.

В конце 2014 года они поинтересовались, где бы могли получить настоящую летную форму. Они собирались выступить с концертом на круизном судне и хотели бы экипироваться как герои известного фильма «Top Gun». Я сказал, что буду рад оказать им помощь при одном условии; кто-то должен во время концерта носить памятную лату, посвященную Стивену Зильберману и сделанную после его гибели. Парни сказали, что сочтут это за честь, и Барри Приветт, вокалист, носил эту лату на плече во время всего концерта...

У меня есть синий мемориальный браслет с именем Стива, я надеваю его каждый день. Это напоминает мне о подвиге, который он совершил, спасши троих членов экипажа, и это же заставляет меня улыбаться, потому что я невольно вспоминаю его широкую улыбку...»

...Сегодня был довольно тяжелый день на работе. Когда я ехал домой, надо мной пролетел E-2 Hawkeye Battle. И я вновь вспомнил о тебе, Стив. Мне казалось, это ты пилотируешь самолет. Я мгновенно увидел памятью наше пребывание в Рио, как ты делаешь отжимания в холле гостиницы, нагоняя аппетит. Я слышал твой голос и видел твою лукавую усмешку: «Да ладно, Бендкемпски, поверь мне!»

Я проводил глазами этот «Хокай» и улыбнулся: “Это хорошо, что он напомнил мне тебя...”

Когда я вошел в дверь и поцеловал мою девочку, я вымолвил про себя как молитву: спасибо, что люди, как ты, существовали в этом мире. Твоя жертва коснулась больше человеческих жизней, чем можно было себе представить..

Я бы все отдал, чтобы ты снова был нами. Я буду думать о тебе и гордиться, что имел честь называть тебя своим другом. Я скучаю по тебе, Абрек! ...»

\*\*\*

О подвиге Стивена сообщили многие СМИ, телевидение. В Фейсбуке была открыта специальная страница, посвященная его памяти: **In Loving Memory of Lt. Steven Zilberman**.

Вот что написала в Фейсбуке Катрина:

*«Я скучаю по тебе каждый день, моя любовь. Слова не могут описать мое состояние... Спасибо всем, кто помнит мою лучшую половину. Посылаю мою любовь вам всем! Бог благословит наших солдат и их семьи».*

Катрина и родители героя получили в те скорбные дни сотни писем с соболезнованиями.

Память о Стивене Зильбермане запечатлена в мемориальных досках, открытых в школе и институте, которые он закончил.

И в том, и в другом учебном заведении не забыли своего выпускника. Так, в мае 2011-го в Bexley High School прошла встреча, посвященная первой годовщине подвига питомца школы. Он стал 21-м выпускником, погибшим в войнах во имя свободы. Имя Стивена было вписано в мартиролог на памятной доске. Во время торжественно-траурного митинга открылась мемориальная доска, посвященная герою, с его барельефом.

Годом позже в Rensselaer Polytechnic Institute состоялась подобная встреча. Своими воспоминаниями о герое, в частности, поделились его командир Джозеф Финн и пилот экипажа Зильбермана Джереми Арнотт, закончивший этот институт на два года позже своего друга Стивена.



В военном мемориальном комплексе в Колумбусе значатся имена жителей города, погибших в войнах. Кругом мраморные кресты и лишь у двоих – Стивена и еще одного еврея – Звезды Давида (Могендовиды). В одном из городских парков есть свой мемориальный комплекс для военных. Стивену поставлен памятник.

Недалеко от дома Анны и Бориса находится кладбище. Родители Славика поставили сыну свой памятник. Он между могилами его дедушки и бабушки.

Имя героя и в названии большого участка 270-го фривэя, опоясывающего Колумбус. 44 мили. На указателе – соответствующая надпись.

\*\*\*

Идет время, которое, как считается, лечит. И, казалось бы, подвиг лейтенанта Зильбермана должен уже стать достоянием истории. Однако боль утраты, зияющая пустота не покидают родителей. И продолжает жить страница пилота в Фейсбуке.

...Развернулась дискуссия: достойно ли оценено мужество Стивена, почему военное руководство не ходатайствовало перед Конгрессом США (а это его прерогатива) о присвоении Зильберману высшей американской награды – Medal of Honor («Медали Чести»)? Многие считали, что это будет справедливо. Тем не менее, такое ходатайство отсутствует.

Medal of Honor – высшая военная награда США. Она вручается на церемонии в Белом Доме Президентом страны от имени Конгресса. Всего с момента учреждения награды (1862 г.) ее получили 3514 военнослужащих армии, флота и авиации, совершивших подвиги в боях с врагами Соединенных Штатов.

Неужели совершенное Стивеном Зильберманом не вписывается в требования к соискателям этой награды, нередко жертвовавшими своими жизнями? – спрашивали участники дискуссии. И разве военная миссия самолета-радары, участвовавшего в операции «Несокрушимая Свобода», не приравнивается к боям?..

Не решен и другой вопрос – о присвоении имени героя одному из судов ВМФ. Увы, бюрократическая рутина стала препоной... Ответы высокопоставленных лиц не внушили Анне и Борису уверен-

ности в том, что в скором времени бороздить просторы Мирового океана станет судно с надписью на борту – «Стивен Зильберман»...

\*\*\*

Спустя год после трагедии, в канун дня рождения Славичка (Анна по-другому не называет сына), она написала ему письмо, обращаясь как к живому.

«С днем рождения, сынок!

Двадцатого февраля – самый счастливый день моей жизни! Ты родился, мой дорогой сын. Мы отмечали этот день всей семьей в Киеве, на Украине. Отмечали его, когда ты был учащимся Bexley School, отмечали его, когда ты получил Golden Wings («Золотые крылья») и стал авиатором. Ты всегда был в центре нашей жизни, наших планов. Все семейные события были связаны с тобой...

*Я приезжала к тебе, чтобы обнять, когда ты уходил в море, приезжала ежегодно на офицерские балы, оставаясь с детьми, и радовалась, смотря на тебя и твою красавицу-жену Катрину. Ты всегда был в центре нашей жизни, наших планов. Все семейные события были связаны с тобой...»*

В этот счастливый месяц февраль – день рождения твоего сына Дэниела, Сары и, наконец, твой. В прошлом году, в этот февральский день, ты был на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр», и я отправила тебе посылку с орехами и шоколадом – все, что ты любил, и что немедленно разделил со своими друзьями-пилотами...

Я была так счастлива, когда ты связался со мной из Дубая по скайпу 16 марта. Я никому не давала подходить к монитору, смотрела на тебя с огромной любовью, не пропуская ни одной минуты...

*Это была наша последняя встреча...*

...Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о тебе. И я хочу набраться сил и мужества, быть достойной тебя, моя гордость! Я хочу дорастить до тебя, до той недостижимой высоты, на которую ты забрался, спасая жизнь своих товарищей, не думая о себе... Ты вернул трем матерям своих сыновей...

*Я постараюсь порадоваться за этих матерей и, может быть, как-то успокоить свою душу...»*

\*\*\*

В нашем повествовании остается поставить последнюю точку. Вспомним фразу Ромена Роллана: «Герой делает то, что может сделать. Другие этого не делают».

Стивен Зильберман – «Абрек» сделал все, что мог, ради спасения экипажа. Он и есть настоящий герой.

Светя другим, сгораю...

*Давид Гай* – известный журналист, писатель. Его перу принадлежат более двух десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», посвященный истории любви Достоевского и Аполлинарии Суловой; повесть «Телохраниитель» (недавно выпущена в виде аудиокниги); документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане; «Десятый круг» – повествование, посвященное Минскому гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы в Москве изданы четыре новых книги Давида Гая: роман «Джекпот», сборник документальных очерков о крупнейших авиаконструкторах «Небесное притяжение», роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращения земного...» Изданный в США в 2013 году на русском и английском языках роман-антиутопия Давида Гая «Террариум» посвящен России сегодняшней и завтрашней. Его новый роман «Исчезновение», увидевший свет в Америке и в Украине, продолжает тему критики авторитарной власти в России.

Евсей ЦЕЙТЛИН

---

## ТРУДЕН ЛИ ЭТОТ ПУТЬ?

---

### **Беседа с Олегом Коростелевым – исследователем литературы Русского зарубежья**

*Оставим за скобками комплименты, точнее – произнесем их сразу. Каждый, кто пишет о работах Олега Анатольевича Коростелева, непременно говорит об их уникальности. Не жалея высоких слов, но совершенно справедливо суммировал эти оценки большой знаток Русского зарубежья Иван Толстой, посвятивший Коростелеву передачу на радио «Свобода»: «Олег Коростелев – живой классик, один из сильнейших специалистов по первой и второй волне русской эмиграции. И если бы он сделал только половину, он и без того заслужил бы себе место в пантеоне великодушных». Так что давайте теперь поговорим о буднях исследователя, о его лаборатории, о проблемах изучения литературы Русского зарубежья – «государства без территории», как однажды выразился сам Олег Коростелев.*

**ЕЦ:** Наверняка читателю будет интересен ваш путь в литературоведение. Тем более – он необычен. Ведь ваша первая профессия – биолог. Конечно, потом вы окончили Высшие литературные курсы (семинар критики), аспирантуру Литинститута. Но вы не получили традиционного филологического образования. Может, и к лучшему.

По крайней мере, вы не встретились с теми штампами и схемами, которыми были напичканы программы филфаков. А в эмигрантике вы начали с многостороннего исследования творчества Георгия Адамовича. С диссертации о его поэзии. С издания его собрания сочинений. Признаюсь: я часто открываю прекрасно составленный и откомментированный вами сборник Адамовича в малой

серии «Библиотеки поэта». Но почему именно Адамович стал первым среди героев ваших эмигрантских штудий?

**ОК:** В эмигрантской литературе одним из самых важных и привлекающих читателя жанров была критика. И – именно она до сих пор хуже всего изучена. Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, Владимир Вейдле, Петр Бицилли, Дмитрий Святополк-Мирский – все это замечательные критики, которые были бы гордостью любой литературы. Блестящие стилисты, тонкие, умные, невероятно начитанные. И, конечно, со своим видением, своим миропониманием. Однако Георгий Адамович выделялся даже в этом ряду: он – один из крупнейших критиков XX века, придирчивый Бунин назвал его «первым критиком в эмиграции» и был недалек от истины. Ну а поскольку в советской России критика довольно быстро превратилась в идеологический инструмент и стала интересной только для социолога, свое значение сегодня сохранила критика эмигрантская.

Упоминания об Адамовиче в советской печати можно пересчитать по пальцам, да и те – скорее анекдотичны. Мне это казалось несправедливым. Статьи Адамовича – большая литература, его, помимо всего прочего, до сих пор интересно читать. Даже тогда, когда он бывал неправ. До конца 1980-х годов Адамович в России был практически неизвестен. Все ограничивалось только слухами да редким случайным знакомством с отдельными из его многочисленных статей. Первые переиздания появились лишь в середине 1990-х. Нельзя сказать, что сейчас он издан полностью или хотя бы наполовину. Но общее представление в результате сложилось, и редкая работа о литературе эмиграции обходится без упоминаний о нем и цитат из его статей. Опубликованная недавно библиография публикаций об Адамовиче занимает более сотни страниц, и большая часть приходится как раз на работы двух последних десятилетий.

А ведь Адамович известен не только своим критическим амплуа. Он и своеобразный поэт, создатель и вдохновитель литературной школы, которая вошла в историю под именем «парижской ноты». Кроме того, он был блистательным эссеистом. Кстати, сборник эссе Адамовича «Комментарии» сейчас готовится к выходу в знаменитой серии «Литературные памятники». Редколлегия серии недавно одобрила мою заявку и поставила книгу в план.

**ЕЦ:** В предисловии к своей книге «От Адамовича до Цветаевой» (2013) вы задумались над итогами изучения литературы Русского зарубежья в последние два десятилетия. Эти раздумья были тем более закономерны, что ведь и ваша работа в эмигрантике пришлась на тот же период. Оглядываясь назад, вы зорко примечаете характер и черты времени. И вопросы, многие из которых так и остались без ответа. «Русское зарубежье числилось по разряду возвращаемой литературы. Что делать с этой литературой, куда ее относить, как классифицировать и изучать, никто не знал... Сумятица в головах была невероятная». К примеру, многие исследователи сначала боялись, «что вот-вот по всем темам появятся работы, и на их долю ничего не останется. Тем большее разочарование их постигло, когда выяснилось, что эмигрантов не сто и даже не тысяча, а несколько миллионов...

Вдобавок не все в эмиграции оказались Набоковыми, Шаляпинскими и Рахманиновскими, и обнаружение графоманов, авантюристов и неудачников быстро пришло в противоречие с формирующимся тезисом, что в эмиграции решительно все было лучше, чем в метрополии». Но, конечно, важнее и драматичнее были другие разочарования – когда «к уникальному материалу пытались применять традиционные подходы».

Словом, итоги вас не слишком радуют. Однако эта тональность предисловия явно и резко диссонирует со списком ваших работ, помещенным в конце книги. Вы сделали в те годы столько, сколько было под силу целому научному институту.

**ОК:** Какие задачи мы ставили перед собой в девяностые? Нужно было прежде всего создать источниковую базу. Ввести в оборот хотя бы самое основное из никогда не переиздававшегося; подготовить наиболее насыщенные архивные публикации; собрать самые необходимые тома текстов. Исследователь – в отличие от журналиста – не может начинать с каких-то обобщений и концептуальных заявлений до того как хотя бы пунктирно ознакомился с материалом.

Конечно, за два десятилетия кое-что было сделано. Казалось бы, пришла пора обобщений и более сложных проектов. Однако, увы, какой-либо единой программы за все эти годы выработано не было. И, следовательно, мы не так уж далеко ушли. А любители, фанатики, альтруисты, как выяснилось, могут сделать многое, но не

все. Есть целый ряд необходимейших проектов, которые не могут быть выполнены силами одиночек: они требуют долгих лет работы и немалых затрат. Хотя по сравнению с расходами на телевидение или футбол – это сущие мелочи. Но гуманитарная сфера у нас никогда не входила и не входит в число приоритетов.

**ЕЦ:** *В силу политических причин очень многое в изучении литературы первой и второй волн русской эмиграции было упущено. Пропали архивы, стерлись имена. К счастью, вам и вашим коллегам удалось немало отыскать, реконструировать. Однако извлечены ли уроки? И главное: будут ли завтрашние исследования мотивированы целостной концепцией по изучению литературы изгнания? Как видите, я не хочу уходить от проблем, которые вы только что очертили. К тому же, задавая эти вопросы, помню: именно вы являетесь инициатором многих научных проектов. В частности, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына вы долгие годы заведуете отделом литературы и печатного дела.*

**ОК:** Опять выдохну: увы! Никакой централизованной политики в этом важнейшем деле до сих пор не существует и, похоже, не предвидится. Потому перспективы неутешительны. Какая-то работа, конечно, продолжится. По-прежнему будут собирать многочисленные конференции, «озвучивать» и в лучшем случае публиковать тысячи докладов, печатать сотни статей, изредка выпускать серьезные книги по локальным темам. Но у меня нет ощущения, что в ближайшее время может появиться подлинная и более или менее полная история эмигрантской литературы, не говоря уже о полноценной истории эмиграции. Эту историю просто некому написать – все заняты другими делами. Может быть, потому что отдельные наблюдения и факты до сих пор никак не сложатся в цельную картину. А скорее – просто никто не готов взять на себя смелость наконец-то сделать обобщения.

**ЕЦ:** *Если вы когда-нибудь напишете документальный роман о своих поисках и находках, там будет множество интересных сюжетов. Не могли бы вы сейчас коротко прочертить некоторые из них?*

**ОК:** Академик А.В. Лавров в свое время удивлялся: журналисты, говоря об архивных публикациях, постоянно употребляют обороты «удалось найти», «в архиве обнаружилось». В то время как

в повседневной работе архивистов внезапные «обнаружения» и открытия скорее редкость, чем правило. Я с ним согласен: «найти» материалы в государственном или университетском архиве совсем не фокус – они по большей части давно разобраны, описи нередко опубликованы, если не в бумажном издании, то в интернете. Куда сложнее подготовить материал к публикации.

Тем не менее, неожиданные находки и открытия все же бывают. Вот один из таких случаев. Часть архива редакции замечательного журнала «Современные записки», издававшегося в Париже с конца 1920 года до весны 1940-го, долгие годы считалась утерянной. В частности, речь шла о переписке редакторов. Оказалось, бумаги редактора В.В. Руднева «отложились» в гигантском фонде Земгора (Земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей). До недавнего времени этот архив, попавший в Великобританию, оставался неразобранным. Ранее публиковались преимущественно документы из архива другого редактора журнала, М.В. Вишняка. В четырехтомном издании архива «Современных записок» мы объединили эти разрозненные части, добавив к ним документы из целого ряда других хранилищ – России, Франции, США, Германии.

Если говорить об архивах крупных журналов, издательств, легко заметить: редко бывает, чтобы весь материал хранился в одном месте. Для большого тематического тома обычно требуется поработать с десятками архивов разных стран и континентов. К примеру, чтобы подготовить том эпистолярия какого-нибудь автора, нужно собрать его письма, отложившиеся в архивах и частных собраниях его многочисленных адресатов.

Иногда, впрочем, и впрямь находишь там, где не ждал. В самом начале своей публикаторской карьеры я просматривал в ГАРФ архив редакции газеты «Последние новости»: она тоже издавалась в предвоенном Париже и была очень популярна среди эмигрантов. И вот в папке с письмами неустановленных лиц я увидел несколько писем, написанных «неустановленным лицом Иваном Алексеевичем» «неустановленному лицу Марку Александровичу». Письма датировались октябрём-ноябрём 1933 г., то есть Иван Алексеевич Бунин писал Марку Александровичу Алданову как раз в дни перед получением им Нобелевской премии. Те четыре письма я тогда же



напечатал в «Независимой газете», но полный корпус переписки Бунина с Алдановым до сих пор готовится к публикации.

**ЕЦ:** Любое исследование начинается с библиографии. Нужно сразу уяснить: кто до тебя шел той же дорогой? Трудным ли оказался путь, не завел ли в тупик? Мне кажется, вы ощущаете особую поэзию библиографии – умеете разглядеть за скупыми строчками библиографических описаний время и судьбы. Вы – составитель многих библиографических каталогов. В частности, под вашим руководством осуществлен беспрецедентный проект «ЭМИГРАНТИКА» (сводный каталог периодики русского зарубежья). Насколько этот и другие ваши библиографические труды изменили карту литературной эмиграции?

**ОК:** Да, библиографию я очень люблю. И считаю, что как раз работ в этом жанре больше всего не хватает. Маяковский говорил: «Чересчур страна моя поэтами нища», а по-моему, с поэтами у нас все обстоит не так уж плохо. Вот с библиографами действительно могло бы быть получше.

Работа эта не просто очень кропотливая: она заранее подразумевает большие объемы и скромный результат. Вдобавок мало составить библиографию – ее надо еще опубликовать. Жанр это не коммерческий, прибыли приносить не может, читателей и пользователей много не будет. Потому в наше время напечатать основательную библиографию очень непросто. А роспись содержания какого-нибудь ведущего эмигрантского издания, ну вот хотя бы парижской газеты «Возрождение», не говоря уж о популярнейших «Последних новостях» или о нью-йоркском «Новом русском слове», потребует не одного тома (даже выборочная роспись довоенной рижской газеты «Сегодня», подготовленная Юрием Абызовым, вышла в двух книгах). Однако именно росписи содержания постоянно нужны в повседневной работе!

Эмигрантская библиография – одна из наиболее сложных. Института обязательных экземпляров там не было, книжные летописи тоже не велись, единого центра хранения не сложилось. Так что библиографы, берущиеся за эту область, оказываются в еще более сложном положении, чем их коллеги, занимающиеся литературой метрополии. Однако – тем интереснее. Листая подшивки эмигрантских газет, постоянно натыкаешься на что-нибудь неожиданное. И

все время хочется дополнить или исправить то, что было сделано или сказано раньше другими исследователями, историками, журналистами.

Вы упомянули Сводный каталог периодики русского зарубежья... Даже в том зачаточном состоянии, до которого его удалось довести, каталог стал центральным ресурсом по своей теме, на который постоянно ссылаются и количество обращений к которому постоянно растет.

Уже в самом начале работы над каталогом выяснилось: пространственные представления о положении дел в изучении этой области далеки от реальности. Все библиотеки Москвы располагают в совокупности менее чем двумя тысячами эмигрантских изданий, причем многие комплекты неполны, а часто представлены лишь отдельными номерами.

Библиотеки Санкт-Петербурга гораздо беднее, в региональных библиотеках нет и этого. Однако уже предварительный список изданий, размещенный на сайте, перевалил за 6000 позиций. Ну и какой же напрашивается вывод? До сих пор мы изучали эмигрантскую периодику, слабо представляя себе даже самые общие ее масштабы.

**ЕЦ:** *Недавно вышел многотомник «Современные записки. Париж, 1920–1940. Из архива редакции». Пять книг, три тысячи триста писем, четыре с половиной тысячи страниц. За этим – живая жизнь одного из самых авторитетных журналов эмиграции. Трудно перечислить имена адресатов, среди которых – самые громкие. Вместе с Манфредом Шрубой вы были редактором и организатором этого поистине гигантского труда. Не собираетесь его продолжить, обратившись к другим изданиям?*

**ОК:** Мне очень нравится этот довольно редко встречающийся жанр: публикация редакционного архива. Этот жанр нередко раскрывает ситуацию с неожиданных сторон, позволяет на многое взглянуть в ином свете. Моя первая попытка работы в этом жанре относится еще к 2003 году, когда я составил и выпустил тематический номер «Литературоведческого журнала», посвященный послевоенному журналу «Опыты» (Нью-Йорк, 1953–1958). Затем я готовил роспись содержания с архивом редакции знаменитого парижского «Звена» (1923–1928). Если «Современные записки» за-

служенно считаются самым лучшим журналом на русском языке, то «Звено» – самый культурный печатный орган за всю историю русской журналистики. К сожалению, эта книга, давным-давно целиком подготовленная к изданию, до сих пор так и не вышла в свет, но я надеюсь рано или поздно увидеть ее напечатанной.

Какие новости? В архив Дома русского зарубежья недавно поступили бумаги альманаха «Мосты» (Мюнхен, 1958–1970), над ними сейчас идет работа, и есть планы подготовить отдельное издание. Кроме того, готовится к публикации архив известного эмигрантского Издательства имени Чехова (1952–1956, Нью-Йорк).

**ЕЦ:** *Первыми начали изучать литературу русской эмиграции зарубежные слависты. Как вы сегодня оцениваете их многолетнюю работу? Давайте воздадим должное. И назовем имена.*

**ОК:** Лучшей книгой по истории эмигрантской литературы – несмотря на все недостатки этого труда – остается «Русская литература в изгнании» Глеба Струве, впервые опубликованная еще в 1956 году, шестьдесят лет назад. В сущности, Струве и был основоположником этого направления. Профессор Беркли, он воспитал плеяду учеников, среди которых многие выбирали для себя тему эмиграции. Вспомню, в частности, Саймона Карлинского, недавно ушедшего из жизни. Почти полвека эмигрантская литература могла изучаться только за рубежом, и за это время сложилась целая плеяда исследователей, занимающихся ею профессионально.

Кто продолжает активно работать? Если говорить о масти-тых, это Джон Малмстад, Роберт Хьюз, Лазарь Флейшман, Роман Тименчик, Ричард Дэвис, Эльда Гаретто, Антонелла д'Амелия. Плав-но перейдем к следующему поколению: Владимир Хазан, Стефано Гардзонио, Даниела Рицци, Манфред Шруба, Катрин Гусефф. А вот совсем молодые – Аурика Меймре, Бьянка Сульпассо, Джузеппи-на Джулиано. Называю лишь некоторых, потому что всех перечис-лить невозможно. Тем более что начинают интересно проявлять себя совсем юные, теперешние магистры и докторанты, очарован-ные литературой Русского зарубежья. Многих из них я особенно часто встречал в итальянских университетах.

**ЕЦ:** *В конце 2015 года от нас ушел профессор Джон Глэд. Он был разносторонне одарен: некоторое время являлся директором Института Кеннана по изучению России, преподавал в крупных*

американских университетах, написал труд по евгенике, перевел на английский Николая Клюева и Василия Аксенова, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, знаменитую «Черную книгу» об уничтожении советских евреев в годы Второй мировой войны. А среди книг Джона Глэда о литературе русской эмиграции есть две по-особому примечательные: «Беседы в изгнании» и «Допрос с пристрастием». Здесь звучат не похожие друг на друга голоса: Игоря Чиннова, Юрия Иваска, Андрея Седых, Романа Гуля, Ивана Елагина, Бориса Филиппова, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова и других писателей-эмигрантов. Причем интервьюера интересует не только история литературы, но история человеческих отношений, психология личности и психология творчества писателя в изгнании. Существуют ли сегодня подобные проекты?

**ОК:** Любопытно вспомнить: в России похожий проект стал выполняться полвека назад, причем при неожиданных обстоятельствах. В 1966 году преподаватель МГУ Виктор Дмитриевич Дувакин за участие в правозащитной деятельности (а он выступал свидетелем со стороны защиты на процессе Синявского и Даниэля) был лишен права преподавать. Ректор оформил Дувакина старшим научным сотрудником межфакультетской кафедры научной информации, предложив создавать фонд звуковых мемуаров. Дувакину была предоставлена полная свобода в выборе своих героев. И он принялся записывать на магнитофон беседы с теми людьми, кто был ему особенно интересен. За шестнадцать лет Дувакин записал более трехсот человек, в том числе – Бахтина, Ахматову, известного монархиста Василия Шульгина, принявшего отречение от престола у Николая Второго, и многих других, чьи голоса и мысли, пожалуй, иначе до нас могли бы и не дойти. 850 записанных им магнитофонных кассет легли в основу собрания Научной библиотеки МГУ, при которой в 1991 г. был создан Отдел устной истории.

Сейчас этим отделом заведует Дмитрий Споров, учредитель и президент Фонда «Устная история». Одно время он работал по совместительству и у нас, в Доме русского зарубежья. И мы вынашивали планы о таком же широкомасштабном проекте с эмигрантами. К сожалению, это пока не осуществилось. А видеозаписи, легшие в основу книг Глэда, хранятся в видеоархиве Доме русского зарубе-

жья. Там же есть и записи проходящих в ДРЗ семинаров, круглых столов, выступлений и презентаций, в которых принимают участие русские эмигранты. Беседа – по-своему неповторимый, даже уникальный жанр: здесь человек раскрывается гораздо полнее, чем обычно, а порой неожиданно. Жаль, что такая работа не ведется целенаправленно.

**ЕЦ:** *Не так давно вы стали заместителем директора Института мировой литературы Российской Академии Наук, а за год до того возглавили в ИМЛИ прославленный отдел «Литературное наследство». Вы пошутили в нашем разговоре, что стали «современным Зильберштейном». Что ж, это высокий ориентир – подвижничества, подлинного профессионализма, верности призванию при любой политической погоде. Есть ли в ваших планах тома ЛН, посвященные писателям эмиграции?*

**ОК:** Разумеется, есть, и их больше, чем когда бы то ни было, поскольку в советское время подобные выпуски могли появляться лишь как исключение. Сейчас в серии готовятся тома Евгения Замятина, Зинаиды Гиппиус (эпистолярный в двух книгах), Ивана Бунина (в трех книгах, если не больше). Есть планы относительно томов, посвященных Мережковскому, русско-итальянским литературным связям, огромному архиву Александра Амфитеатрова, специальный том будет отдан послевоенному периоду эмиграции. Хотелось бы, конечно, больше. Но все ограничивается нехваткой исследователей, готовых взяться за столь сложные и трудоемкие проекты. Если бы нашлись люди, предложившие подготовить, к примеру, тома из архивов Алданова, Ремизова, Ходасевича, Зайцева, Шмелева, тома по истории литературных объединений эмиграции или истории печатного дела, истории литературной критики, я бы не только с радостью это поддержал, но готов был бы и сам включиться. К сожалению, малыми силами всего не освоить, а «настоящих буйных мало», как пел Высоцкий.

Не хочу быть понят так, что «Литературное наследство» полностью переключается на эмиграцию. У нас продолжают идти тома и по XIX веку, и по литературе и литературоведению советской эпохи. Готовится, в частности, том «Литературное наследство»: история академической серии в воспоминаниях, переписке и документах», в котором, среди прочего, займет место интереснейшая

тема взаимоотношений редакции с эмигрантскими авторами. Ведь «Литературное наследство» одним из первых советских изданий имело смелость еще в 1960-е годы не только вступить в переписку с эмигрантами, но и пригласить их к сотрудничеству. Напечатать, правда, удалось далеко не всех, кого хотели, но, к примеру, бунинский том 1973 года оказался уникальным в этом отношении для своего времени.

**ЕЦ:** *В своей книге вы с улыбкой припомнили: «В эпоху эйфории 1990-х почти всеобщим было убеждение, что вот-вот, еще год-два-три, – и все эмигранты будут изданы, искусственно отведенная в сторону зарубежная ветвь литературы вновь объединится с метрополией...» Но очевидно: «Разработка единой истории двух ветвей литературы натолкнулась на серьезные препятствия. Очень быстро выяснилось, что литература Русского зарубежья не вписывается в выработанные ранее концепции, эмигрантский литературный процесс совпадает с процессом в метрополии лишь отчасти, но во многом самостоятелен, поскольку развивался автономно и независимо. Эмигрантский материал сопротивляется традиционным методикам, не укладывается в привычные схемы, и даже периодизация не совпадает».*

*Так что же – существует единая русская литература или все-таки есть две литературы – метрополии и эмиграции?*

**ОК:** Для меня бесспорно: существует единая русская литература. Но в XX веке – на несколько десятилетий (условно говоря, с 1917 по 1991 гг.) – она была разведена на два потока, идущих автономно и не так сильно влиявших друг на друга, как это бывает обычно.

Эмигрантская литература в подлинном смысле этого слова может сложиться только в эпоху железного занавеса – причем постепенно, если эта эпоха затягивается надолго. Эмигранты первой волны в полной мере успели прочувствовать неизбежность происходящего. Вопреки всем своим надеждам они сознавали: при их жизни ситуация вряд ли изменится, для них эмиграция – навсегда. Свое умонастроение некоторые из них не случайно описывали, прибегая к такому образу: ощущение, как будто за спиной затонул материк со всей прошлой жизнью. Нельзя ни вернуться, ни докричаться. Это и вызывает у человека особое состояние, формирует даже особую психологию. Остается либо ностальгировать, строить

планы реставрации, либо пытаться жить новой жизнью – в новом статусе, без корней, в безвоздушном пространстве, мучительно создавая иную жизненную философию, позволяющую личности существовать сколько-нибудь осмысленно. Такое состояние, затягивающееся на десятилетия, рождает литературу, отличающуюся от литературы метрополии. Иначе – это просто ряд текстов, напечатанных в разных географических точках и ничем более не объединяемых.

**ЕЦ:** *Шагнем из истории в сегодняшний день. Есть ли у литературы эмиграции будущее?*

**ОК:** Хотелось бы надеяться: нет. Имею в виду, что эмигрантская литература к концу XX века стала литературой Русского зарубежья и, дай Бог, ей не придется снова переходить на эмигрантское положение. А в XXI веке литература русской Калифорнии или Аргентины продолжают оставаться такой же естественной частью единого литературного процесса, как сибирская проза или уральская поэзия.

В обычной ситуации человек может жить и писать, где хочет, а печатать и читать его будут без учета места жительства. Гоголь несколько лет прожил в Риме, но это не сделало его эмигрантом, а написанные там «Мертвые души» – произведением эмигрантской литературы.

В XX веке ситуация была не просто трагической – исключительной. Это и породило литературу эмиграции как самостоятельную ветвь. До повторения той ситуации, хотелось бы думать, Россия никогда больше не дойдет.

При этом русская литература нескольких волн эмиграции XX века останется в вечности, где она давно и пребывает. И разве что займет свое законное место в учебниках.

**Евсей Цейтлин** (1948) – эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Окончил факультет журналистики Уральского университета (1969), Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького (1989). Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры.

В России, США, Литве, Германии, Украине вышло более 20 из-

даний книг Е. Цейтлина – на русском языке и в переводах. Начиная с 1968 г. публикуется во многих литературных журналах и сборниках.

В 1978 г. был принят в Союз писателей СССР, является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба (“Writers in Exile”). Дважды эмигрировал: в 1990 – в Литву, в 1996 – в США. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). Редактор ежемесячника «Шалом» (Чикаго, с февраля 1997 г.).

Евсей Цейтлин – член редсовета журнала «Времена».



Яков ФРЕЙДИН

---

## УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР ЛЕЙТЦ

---

Настал мой первый рабочий день в огромной американской часовой компании. Сам я к часовому бизнесу отношения не имел, но моя специальность оказалась у них востребованной. Меня позвали туда на работу, сделали заманчивое предложение, от которого я отказаться не мог, и вот я пришёл в свой кабинет, вернее, загончик, или «кубик», стоящий в ряду с сотней таких же в огромном инженерном зале. Моя область была электроника, но вокруг работали в основном специалисты в точной механике – всё же это была часовая фирма. В 80-м году появление у них инженера из СССР было заметным событием, и на меня приходили посмотреть и даже потрогать руками. Про Россию ничего толком не знали и очень удивлялись, когда я им рассказывал, что там в городах по улицам не ходят медведи, а весной тает снег. А когда они слышали слово Сибирь, то от ужаса содрогались и с придыханием восклицали «Сайбирия!»

Вначале я принимал в своём загончике с десяток любопытствующих в день, но скоро поток визитёров иссяк. Однако, несколько человек продолжали заходить во время обеденного перерыва. Один из них был Джек Рубинович, то есть по-нашему Яша Рабинович. По-английски он говорил с заметным немецким акцентом, на вид ему было лет 65 и слыл он в компании одним из лучших специалистов по точным механизмам. Его интересовала Россия и особенно Питер, откуда, как он мне сказал, был его отец. У многих американских евреев предки, по их словам, не то из Минска, не то из Пинска. А вот из царского Петербурга – редкость.

Однажды во время ланча, когда я ел свой сэндвич, пришёл Джек и поинтересовался, не привёз ли я в Америку советский фотоаппарат? Я сказал, что такой аппарат у меня есть и на следующий день принёс с собой мой «Зенит-Е». Он его повертел в руках, сказал: «Нет, это не тот», взвесил на ладони и спросил, может ли он его ра-

зобрать? Обещал вернуть полностью в собранном виде – сказал, что очень его интересует посмотреть на механизм. Я ему аппарат отдал, а через пару дней Джек его мне вернул в целости и сохранности вместе с интересной историей.

– Удивительно, – сказал он, – этот ваш «Зенит» сделан из стали, он ведь ужасно тяжёлый! Они что, не понимают, как это мешает? Мы ещё в 30-е годы делали камеры из алюминия. Чуть дороже, но какая разница! Однако механизм сделан умно, похоже, что это оригинальный дизайн, не копия. Видимо, есть в России хорошие инженеры...



**Лейка-2**



**ФЭД**

– Вы сказали «мы делали», это кто? – спросил я.

– «Лейка». Слыхали про такую немецкую фирму? Я родом из Германии. Работал на этой фирме и делал детали для фотоаппарата. Нашу камеру «Лейка-2», как только она вышла, сразу скопировали в Советской России и выпустили под своей маркой ФЭД, не знаю, что эти буквы значат. Я думал, вы ФЭД привезли, но всё равно интересно.

Я хорошо знал историю первого советского фотоаппарата и рассказал Джеку, что ФЭД собирали в Харькове бывшие беспризорники в трудовой коммуне педагога Антона Макаренко. У меня в детстве даже была книга Макаренко «Флаги на башнях». Он руководил коммуной имени Ф.Э. Дзержинского, по инициалам которого и назван фотоаппарат ФЭД. Однако я тогда не знал, что ФЭД – это копия «Лейки».

– Да, русские «Лейку» полностью скопировали в 34-м году. Точная копия, только убрали автоспуск, – сказал Джек. – Но, разумеется, это не моя «Лейка», я её не делал. Там на фирме я работал позже, сначала учеником, а потом инженером, когда «Лейка-2» уже была полным ходом в производстве. Я делал опытные образцы нового складного объектива для моего босса Оскара Барнака. Вот кто был инженерный гений! Хороший начальник и человек он был порядочный. Жаль, что умер рано, ему и шестидесяти не было. Кстати, это именно он ещё перед Первой мировой придумал использовать в фотоаппарате 35-мм плёнку, которую тогда массово производили для кино. Умно-то как! Плёнки полно и она недорогая. Барнак только размер кадра удвоил, чтобы лучше было качество снимка.

Видно было, что история «Лейки» была любимым коньком Джека и он с удовольствием её всем рассказывал.

– Он ещё придумал фотоувеличитель, – продолжил он, – чтобы снимки печатать на фотобумаге. Вот так появилась первая «Лейка». Название это от двух слов – имени хозяина фирмы Эрнста *Лейтца* и слова *камера*. Но я работал не у того Лейтца, а у его сына, тоже Эрнста, но младшего. Лейтц-отец к тому времени давно умер. В те времена почти каждая компания была семейным бизнесом, всё переходило от отца к сыну, потом ко внуку. «Лейка» была в семье Лейтцев более 100 лет...

– Джек, если вы из Германии, то как же ваш отец родом из Петербурга?

– Папа родился где-то на Украине, в местечке, я даже не знаю, как оно называется. Его призвали в армию, а тут сразу началась война России с Японией. Его отправили защищать русскую крепость Порт-Артур, это где-то далеко на востоке Сибири. Надо сказать, что был папа огромного роста, более двух метров, и силы невероятной. Рукой мог подкову гнуть, а если под лошадь залезет, мог бы и лошадь поднять. Очень добрый, мягкий человек, прямо как русский медведь, но и сильный тоже, как медведь.

Джек помолчал, вздохнул и добавил:

– А сейчас сила у папы уже не та... Сдал папа...

– Что вы говорите, неужели ваш отец ещё жив? – оторопел я. Ведь со времён русско-японской войны к тому времени прошло 75 лет.

– Жив, жив. Он ещё как жив! В доме для стариков живёт, там у него своя комната. Ему 94 года, голова ясная и всё помнит..., но вот сила у него уж не та, что в молодости... А какой был герой! Когда он служил в армии, случилось вот что – он про это любит всем рассказывать. Там, уже в Порт-Артуре, в казарме, какие-то два солдата-антисемита стали про евреев разную чепуху болтать. Папа им велел заткнуться, но они ещё больше расшумелись и про него самого стали всякие гадости говорить, дразнить и жидом обзывать. Папа хоть и добрый, но горячий был, такие вещи терпеть не мог. Вот он взял каждого из них за шиворот, развёл в стороны, а потом со всей своей невероятной силой лбами друг дружку ударил, как медными тарелками в оркестре. Одного – сразу насмерть, а другого – в госпиталь в тяжёлой раной. Папу, конечно, арестовали и хотели под трибунал отдать, но потом командир полка разобрался, велел его выпустить и даже объявил перед строем благодарность за защиту достоинства и чести солдата. Вот ведь были времена, когда честь солдата так много значила!

На той войне он воевал смело и был награждён за храбрость какой-то важной русской медалью. Я не знаю, как та медаль называлась, но еврей, у кого была такая медаль, мог уехать из черты оседлости и жить в Петербурге. Поэтому через несколько лет после войны папа из местечка переехал в Петербург. Он был грамотный, но ремесла тогда никакого не знал, кроме как воевать, а потому устроился в полицию и стал городовым. Он наверное был единственный еврей-городовой в Петербурге. Из-за его медалей, грамотности и могучей силы ему это позволили. Служил он в полиции несколько лет, женился, и жена его, моя мать, как-то сказала ему, что не дело это для еврея быть городовым и уговорила уехать в Германию. Это было ещё перед Первой мировой. Они поселились во Франкфурте, там была большая еврейская община и им вначале очень помогали. Отец выучился на механика и стал работать на фабрике. Вскоре я родился, это уже когда война началась.

На войну его не взяли, он ведь был родом из России, с которой воевали. Жить в Германии было тяжело, особенно после войны. Работы не было, деньги стоили меньше бумаги, на которой их печатали. Я ещё ребёнком был, но всё прекрасно помню. Во Франкфурте

я закончил гимназию и в 31-м году поступил в университет в Йене, изучал механику и оптику. Это был чудный университет, лаборатории самые современные, библиотека с редкими книгами, замечательные профессора. Там в своё время учился Карл Маркс, если вам интересно знать.

Ну а потом началось... В университете всем стал командовать нацист профессор Астель. Он там взялся за евреев – сначала за преподавателей, потом и за студентов. Когда в 35-м приняли законы против евреев, меня из университета исключили, хотя мне оставался там только один семестр до диплома. Я вернулся к родителям во Франкфурт. На работу мне устроиться никак не получалось, евреев нигде брать не хотели. Отца тоже с работы выгнали, мы не знали как жить.

Я с детства увлекался фотографией, и у меня была камера «Лейка», а к ней и увеличитель. Но когда у нас денег не стало, мы начали продавать вещи и я понёс камеру и увеличитель в фотомагазин недалеко от дома где мы жили, чтобы продать их хоть за какие-то деньги. Хозяин магазина мне говорит: «Зайди ко мне в кабинет, там поговорим». Я зашёл, мы сели за стол, и он стал меня спрашивать почему я продаю такой замечательный аппарат. А тут вдруг в дверь постучали, он сказал «войдите» и зашла молодая женщина, где-то лет тридцати. Очень красивая, как ангел. Она потом ангелом и оказалась. Хозяин магазина, как её увидел, вскочил, руку ей поцеловал и мне глазами показывает, чтобы я вышел. Я пошёл к дверям, а она меня останавливает:

– Нет-нет, заканчивайте ваше дело, я тут присяду, подожду, вам не помешаю.

Я стал хозяину объяснять, что у нас трудно с деньгами, меня на работу нигде не берут и потому я продаю фотоаппарат и увеличитель. Он взял «Лейку», проверил, в порядке ли она, потом вынул из бумажника деньги и стал записывать покупку в бухгалтерскую книгу. Спросил мою фамилию, я сказал, что Рубинович, взял у него деньги, поблагодарил и пошёл к дверям. Тут эта женщина меня останавливает и говорит: «Молодой человек, подождите меня там на улице, я хочу у вас что-то узнать». Я вышел на улицу и стал её ждать.

Она вскоре вышла и предложила, чтобы мы зашли в кафе, тут же рядом в соседнем доме. Сели за столик. Она заказала две чашки

кофе, пирожные и говорит: «Меня зовут Эльси Лейтц. Вот возьмите, это моя карточка. Я слышала ваш разговор. Ничего мне не объясняйте, я всё понимаю. Пейте свой кофе и слушайте внимательно. Я помогаю отцу в работе, он хозяин фирмы, которая делает эти фотоаппараты «Лейка», что вы сейчас продали. Это в городе Ветцлар, не так далеко отсюда, час езды. Завтра же утром садитесь на поезд и приезжайте туда. Выйдете на станции, спросите, где фабрика «Эрнст Лейтц» и идите туда. Придёте ко входу, покажете охраннику вот эту карточку и скажете, что я вас жду. Мы что-нибудь для вас придумаем. И вот возьмите это...»

Она открыла сумочку, достала несколько купюр, сунула их мне в руку, потом встала, подошла к официанту, расплатилась за кофе и вышла на улицу. Я через окно увидел, что у входа в кафе стоял автомобиль и около него ждал шофёр. Он снял фуражку, поклонился ей, открыл дверцу, она села и машина уехала. Я не знал, что и подумать. Пришёл домой, рассказал родителям, отец мне говорит: «Это какое-то чудо, ты ей понравился, надо ехать. Может, эта дама даст тебе работу».

На следующее утро я сел на поезд, приехал в Ветцлар и пешком дошёл до фабрики, она тогда была в центре, недалеко от реки. У проходной показал карточку охраннику, он кому-то позвонил, а потом сказал, чтобы я шёл на второй этаж. Там я нашёл дверь, на которой было написано «Эльси Лейтц», постучал и вошёл. Она меня встретила очень приветливо, пожала руку, усадила к столу и говорит:

– Вы молодец, что приехали. Вот теперь расскажите всё про себя подробнее.

Я ей рассказал, где и чему учился, про родителей, как меня выгнали из университета, про то, что нигде нас на работу не берут. Она всё внимательно выслушала и велела подождать, потом вышла и скоро вернулась, как я понял, со своим отцом.

Очень приятный господин, внимательный и какой-то добрый, по-отечески. Как я его увидел, у меня просто голова пошла кругом – это ведь был знаменитый доктор Лейтц, хозяин фирмы, которая делала те самые «Лейки» – лучшие в мире фотокамеры. Эльси ему кратко рассказала про меня и добавила, что я в университете изучал оптику и механику. Он говорит:

– Вот замечательно, нам как раз нужен помощник к мистеру Барнаку. Хотите у нас работать?.

Ещё бы я не хотел! Короче говоря, меня в тот же день приняли на работу учеником мастера, выдали аванс, и этот удивительный доктор Лейтц дал мне записку к одному человеку, который сдавал квартиры. Я туда пошёл, это недалеко от фабрики. Квартирный хозяин на меня сначала подозрительно посмотрел, видать, мой нос ему не понравился, но когда прочёл записку от доктора Лейтца, сразу же отвёл меня в просторную квартиру в его доме, отдал ключ и даже задаток не попросил.

Я вернулся во Франкфурт, рассказал всё родителям, и на следующий же день переехал в Ветцлар. Вскоре отец с матерью тоже туда перебрались и вселились ко мне в квартиру. Места на всех хватало, нас ведь было только трое. Моего отца доктор Лейтц тоже на работу взял, в мастерскую механиком.

Вот так я стал работать в компании у Эрнста Лейтца-младшего.

Сначала моим начальником был тот самый мистер Барнак, который изобрёл первую «Лейку» с 35-мм плёнкой. Он тогда работал над новым объективом, который должен автоматически складываться, и я по его эскизам делал чертежи, рассчитывал рычаги и шестерёнки, вместе с механиками строил разные опытные образцы. Но только через полгода он неожиданно умер, и тогда доктор Лейтц меня перевёл из учеников на должность инженера, так как я уже хорошо знал, что мистер Барнак хотел, и мог продолжать его проект. У меня не было диплома инженера, а он меня всё равно на эту должность перевёл. Так в Германии обычно не делали, если нет формального диплома, на работу инженером не возьмут, но ведь это был доктор Лейтц!

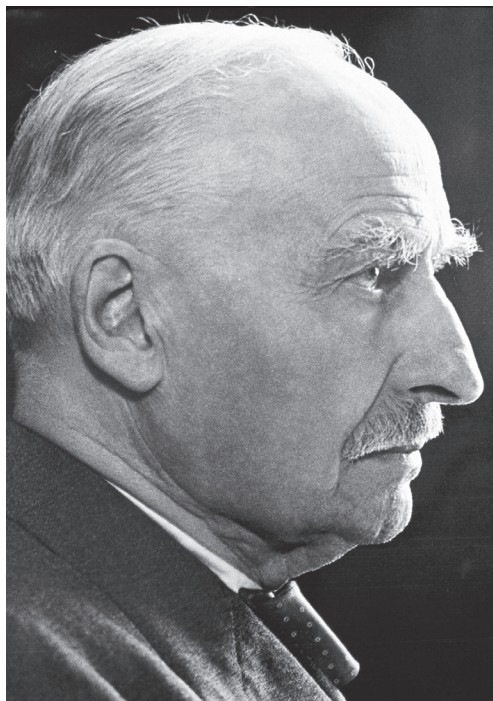
В инженерном отделе работало человек сорок. Фирма не только фотоаппараты выпускала, было много других оптических приборов, в основном для вермахта и люфтваффе. Приборы наведения, прицелы, камеры для аэросъёмки и другие военные штучки. Поэтому нацистская власть доктора Лейтца очень ценила. Его знали во всём мире, и он для них был как бы техническим символом Германии. Но они ему постоянно портили нервы с их партией. Мне Эльси рассказывала: на фирме не было ни одного члена нацистской партии, её отец таких на работу не брал, однако на него постоянно

давили, чтобы он сам вступил в их партию. Он как-то ухитрился этого не делать.

Я скоро заметил, что среди рабочих и особенно в инженерном отделе было много евреев. Доктор Лейтц из своей фирмы устроил какое-то еврейское прибежище – многих, вроде меня, которых нигде не брали на работу, или жить было негде – он к себе брал, платил зарплату, помогал с жильём... Конечно среди немцев, что у него работали, были недовольные тем, что хозяин евреев под крыло брал, но боялись жаловаться, ведь все знали, как его фирму ценят, и себе дороже обойдётся, если на него доносить. Кто мог знать, где у него были связи! Может, на самом верху. Разумеется, гестапо знало, что он евреев держит, но до поры до времени на это закрывало глаза.

Однажды я работал с механиками на первом этаже в мастерской, когда туда зашла Эльси, очень нервная. Она подошла ко мне и сказала на ухо: «Быстро и тихо спускайтесь в подвал. Здесь гестапо и ищут евреев».

В Ветцларе под всем городом были старые шахты со множеством туннелей. В них раньше добывали железную руду, но потом забросили. Один из туннелей выходил прямо в подвал на фабрике. Я туда быстро спустился и увидел, что в туннеле собрались уже почти все евреи, работающие у доктора Лейтца. Мой отец тоже там был. Мы выключили свет, закрыли за собой дверь и сидели молча. Может, час, может, больше. Внутри было совсем темно и время на часах не видно. Потом мы услышали тихий стук в дверь и голос Эльси:



**Эрнст Лейтц**



«Выходите». Она рассказала, что из гестапо на грузовике приехал лейтенант и с ним пять солдат, они сразу прошли в кабинет директора, а она побежала по фабрике предупреждать евреев. Видимо, её отец ничего не боялся и что-то гестаповцам сказал, потому что они, скорее для вида, прошли по всем отделам и уехали. Никого не взяли. Но кто знал, может, придут снова?

Вот так я у доктора Лейтца работал до 38-го года. Мы всё чаще прятались в туннеле, директор нас там укрывал, но долго так продолжаться не могло. Хотя у него и были связи, но у гестапо всё же было власти больше, особенно в отношении евреев. А после Kristallnacht, то есть Хрустальной ночи, даже по улицам ходить стало опасно, могли избить, а то и поймать и отправить в концлагерь. В конце ноября меня вызывает к себе доктор Лейтц и говорит:

– Якоб, в нашем отделении в Нью-Йорке нужно обслуживать ремонт фотоаппаратов. Вы хорошо знаете это дело, и я решил послать вас туда в длительную командировку. Вместе с вами поедут ещё восемь наших работников. Это может быть надолго, поэтому я очень рекомендую ехать со всей семьёй. Надеюсь, мне не надо вам объяснять, как это для вас важно. Ехать надо скоро, выезд через два дня. Наша фирма оплатит переезд и все расходы. Вы в Нью-Йорке будете получать зарплату в том же размере, что и здесь.

Вот так этот удивительный человек нас спас и помог начать новую жизнь в Америке. Тем же вечером Эльси пришла к нам домой проститься, принесла подарки. Через два дня я с родителями и ещё восемь работников компании, все евреи, с семьями, сели на поезд и поехали в Бремерхафен, оттуда в Нью-Йорк ходили корабли. (Мне потом рассказывали, что он так спас около 80 своих работников-евреев и их семьи – отправил их работать в Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, везде, где у него были филиалы). Америка ведь не принимала евреев, которые от немцев бежали, но мы были не беженцы, а работники иностранной компании. Так что у нас не было никаких проблем с визами в США.

Поезд на котором мы ехали, мы называли «поезд свободы Лейтца», но правильнее было бы его назвать поездом жизни. Доктор Лейтц ведь нам всем подарил жизнь. Он выдал нам документы, подписанные каким-то большим военным начальником. Когда мы поездом ехали и на пароход садились, у нас полиция часто прове-

ряла документы, но видели эту подпись, отдавали честь и оставляли нас в покое. Затем мы пароходом отплыли в Нью-Йорк. Доктор Лейтц нам всем оплатил билеты второго класса, каждый получил в подарок фотоаппарат «Лейка-2». Вот погодите, я вам принёс показать...

Джек отправился в свой загончик и принёс оттуда фотоаппарат. Это был действительно вылитый ФЭД. Я взял его в руки и заметил, что Джек очень нервничает: как бы я его не обронил или ещё как-то не повредил. Я сразу отдал аппарат обратно.

– Это та самая «Лейка-2», что я получил в подарок от доктора Лейтца, – сказал Джек. – Самая ценная вещь, что у меня есть, память из той жизни. Когда после войны стало известно, сколько немцы убили евреев, я подумал, что, убивая евреев, Германия тем самым убивала себя как народ. Но позже, вспоминая доктора Лейтца и его дочку, я понял, что раз были *такие немцы* как они, то, быть может, не всё для их нации потеряно. Он ведь не только нам жизнь подарил, но и моим детям и внукам, которые после родились, да и всем кто будет после нас... Не дал цепочке прерваться.

...Когда мы добрались до Нью-Йорка, нас там встретили люди из американского отдела фирмы, отвезли на квартиры, которые для нас сняли, и вообще приготовили всё что нужно – по распоряжению и на деньги доктора Лейтца.

Я проработал в мастерской по ремонту до конца 41-го года, когда Гитлер объявил войну Америке. Тогда все немецкие компании закрылись, нас уволили, но я быстро нашёл работу. Переехал в Скенектеди, там работал на «Кодаке», а вот теперь уже двадцать лет тут, в Коннектикуте, делаю часы.

– А с доктором Лейтцем и Эльси вы никогда больше не встречались? – спросил я.

– О да, где-то лет пять-семь после войны позвонил один из моих знакомых, кто в поезде жизни со мной в Америку ехал, и сказал, что доктор Лейтц и Эльси с мужем приехали по делам в Нью-Йорк. Мы все, кто в Нью-Йорке или не очень далеко жили, пришли к ним в гостиницу, принесли много цветов, а потом устроили для них обед в хорошем ресторане. Хотели корреспондента из «Нью-Йорк таймс» пригласить, чтобы он написал статью про эту героическую семью,

но доктор Лейтц категорически нам это не разрешил. Сказал, что не хочет ворошить прошлое и не желает никаких публичных разговоров о себе. Вот такой это был человек...

### **Послесловие редактора**

К рассказу Якова Фрейдина об удивительной семье Лейтца стоит добавить некоторые детали.

Эльси была заключена в тюрьму гестапо после того, как её поймали на границе, когда она помогала еврейским женщинам перейти в Швейцарию. В конце концов она была освобождена, но испытала грубое обращение в ходе допроса. Она также попала под подозрение, когда попыталась улучшить условия жизни от 700 до 800 украинок, вывезенных на работы в Германию и направленных на завод фирмы в течение 1940-х гг.

Эрнст Лейтц скончался в 1956 году.

После войны Эльси в качестве представительницы семьи Лейтц получила несколько европейских наград за свои гуманитарные усилия.

Ее семья не хотела никакой огласки своих героических поступков. Только после того, как последний член семьи скончался, об их деятельности была написана книга. В 2007 году Эрнст Лейтц был посмертно отмечен наградой Антидиффамационной Лиги.

*Яков Фрейдин до эмиграции жил в Свердловске. Он – кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ. В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Автор книги (по-английски) «Приключения изобретателя – Adventures of an Inventor». Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Европе и России. Живёт в Южной Калифорнии.*

**Виктор НОРД**

---

**СИМВОЛ БРОДВЕЯ ДЭВИД МЕРРИК**

---

*Фрагменты из книги «Невыносимый шоумен»*

Как метко заметил один театральный репортер, помимо неизменной скорости света в мире существует еще и константа предсказания неизбежной гибели театра на Бродвее.

В сезон 1939-40 годов театральные критики Нью-Йорка в очередной раз объявили публике о кончине коммерческого театра в Америке.

А ведь не прошло и двадцати лет после нью-йоркского триумфа Московского Художественного театра!

Станиславский и его МХТ завоевали Америку. Двухсезонное турне 1923-1925 годов проходило «на ура», касса регистрировала до 5700 (136,800 сегодняшних) долларов за каждое представление, даже в снег, в проливной дождь – и даже в адскую нью-йоркскую жару, плавящую асфальт, от которой в двухтысячестном зале без кондиционера не спасал никакой театральная веер.

Представления давались на русском языке без синхронного перевода, но это публике ничуть не мешало. При восьми спектаклях в неделю продажи билетов составляли приблизительный эквивалент 1,094,400 сегодняшних долларов. О таких сборах давно не слыхали на Бродвее. Билетов было не достать даже за месяц вперед, процветавшие театральные спекулянты просто молились на «этих русских».

По свидетельству Станиславского, ни до, ни после – и нигде больше не пользовался таким успехом «Царь Федор Иоаннович», как в Нью-Йорке. А ведь театр привез и ряд других, не менее знаменитых постановок, и среди них «Три сестры» и «На дне».

Гастроли с огромным успехом проходили еще в восьми больших городах...

Но все это было давно, почти два десятилетия назад. Теперь же

– новые пьесы, новые труппы, новые актеры, притом замечательные, и тем не менее... заявления желчной прессы, что театру приходит конец. Почти половина театральных помещений пустовала, на ступенях темных служебных входов ночевали бродяги, пользуясь в качестве подстилок обрывками ненужных афиш. Объяснение крылось в двух зловещих словах – Великая депрессия...

Именно в тяжелый сезон 1940-го из провинции прибыла в город молодая пара: юная наследница «старых южных денег» и недавно женившийся на ней (чисто по расчету, если верить злым языкам) начинающий адвокат из города Сент-Луис, штат Миссури. Оба были страстными театралами, мечтавшими взять штурмом Бродвей и укрепиться на самой вершине театральной пирамиды.

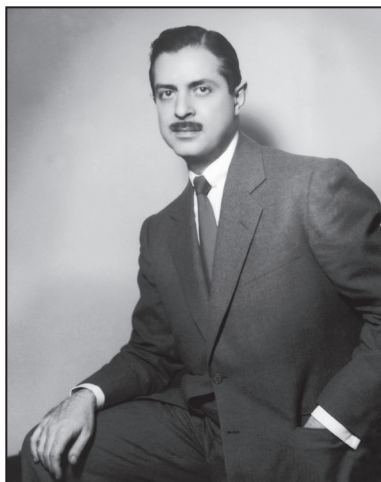
Энергичного выпускника Юридической школы университета Сент-Луис звали Дэвид Меррик. Его план завоевания Бродвея был прост: в первый же год найти какого-нибудь талантливое режиссера с хорошей пьесой в руках и предложить ему полное финансирование его постановки в обмен на право имени на афише, указанного *впереди* названия самого спектакля. В мечтах ему уже виделся такого рода плакат:

**Дэвид Меррик  
представляет Орсона Уэллса  
с его новым спектаклем  
«РОДНОЙ СЫН»**

Новичку казалось, что сорока тысяч долларов (шестисот по нынешнему курсу), предложенных бедствующему Бродвею на новую постановку в разгар охватившего страну финансового кризиса, будет вполне достаточно для рождения нового импрессарио. Однако театральный вундеркинд Уэллс не пожелал даже встретиться с Мерриком.

...Отчего путь вверх вместо одного года занял у Меррика целых десять, можно будет понять, если перечислить лишь некоторые зрелища и имена, предлагавшиеся нью-йоркскому зрителю в тот весьма нелегкий год на Бродвее.

Уильям Сароян со своим «Временем твоей жизни» соперничал с «По утрам в семь» Пола Осборна. Пол Муни блистал в новой пьесе «Ки Ларго», но не боле чем «черная звезда» Пол Робсон в музыкальном спектакле «Джон Хенри». Апостол Станиславского Ли Страсберг поставил «Пятую колонну» Эрнеста Хемингуэя, но зрители охотнее шли на инсценировку «Бесов» Достоевского. Ингрид Бергман можно было увидеть в «Лилиом» Ференца Мольнара, а Кэтрин Хепберн – в «Истории в Филадельфии». Новыми именами, которым потом суждено будет войти в историю, пестрели афиши: Шон О'Кейси, Отто Преминджер, Роберт Шервуд, Монтгомери Клифт... А тут еще гости: Лоуренс Оливье и Вивьен Ли, прибывшие из Англии со своей версией «Ромео и Джульетты».

**Дэвид Меррик**

Мюзиклов было меньше, чем в прежние сезоны, но вышли «Какой теплый май» с костюмами Винсенте Минелли (того самого, отца знаменитой Лайзы Минелли) и «Танцую во сне» (музыкальная версия «Сна в летнюю ночь»), где играли Луис Армстронг (да, да, тот самый!) и Рут Форд под аккомпанемент секстета Бенни Гудмана.

Имена участников музыкальных ревю поразили бы сегодняшнего зрителя: почти все они вошли потом в историю мирового театра. Достаточно лишь упомянуть, что в довольно заурядном шоу «Траву не мять!» хореографом был Баланчин, а одним из танцоров – юный Джером (тогда просто Джерри) Роббинс, в тот сезон танцевавший еще и в «Соломенной шляпке» с Дэнни Кэем.

Начинающий антрепренер Меррик не мог знать, что впоследствии, каждый раз в десять лет объявляя о смерти нью-йоркского театра, его самого будут называть одним из главных виновников всех театральных заболеваний. Известный театральный художник Борис Аронсон первым точно сформулировал извечную природу двойственности зрелищного бизнеса. «Этот бизнес – дитя дьявола,

лотерея, он все более зависит от случая, – вещал Аронсон, выступая по радио. – Поэтому в США нет и не будет театральной традиции, школы. Когда на кон ставятся миллионные суммы, инвестировать будут только в проверенные временем пьесы и таланты – эксперименту, риску, импровизации не остается места. Суперзвездам успех не приносит уверенности в себе, ибо он может в секунду закончиться, начинающим – не остается шанса на творческую работу; успех не приносит желанья стать еще лучше, провал – ничему не учит.

И именно такие, как Меррик, взвинтившие до предела ставки в этой адской рулетке, повинны в смертельной агонии бродвейских театров – как драматических (на жаргоне – «легитимных»), так и мюзиклов», – гремел Аронсон в эфире своим тяжелым русским акцентом.

Впервые услышав подобные обвинения в свой адрес, Меррик улыбнулся в усы. Для него это означало, что он наконец достиг желаемого статуса. Теперь он был полноправным бродвейским продюсером – и уж он-то точно знал, что делать, когда болеет театр.

Но мы забегаем вперед. А пока Меррик решил пойти работать клерком в контору известного продюсера за символическое жалование, чтобы овладеть профессией изнутри, с самых ее, что называется, азов. И не нужда в куске хлеба – ее как раз не было, но лишь дьявольская жажда успеха диктовала его действия.

Что касается предположительно смертельной болезни Бродвея, то английский обозреватель Сесил Битон, обычно известный своим снобизмом, написал об этом следующее: *«Бросьте чесать языками! Этот театр куда живее всех столичных театров Европы. С лондонской сцены давно исчезли долго идущие драмы – в Нью-Йорке и сегодня они держатся по три, а то и четыре года, и список зрелищ поражает щедростью и разнообразием, так как житель Нью-Йорка ходит в театр куда чаще, чем лондонец».*

Английский театровед учуял невероятную жизненную энергию, исходящую из самых недр американского театра. И его не испугала ни вульгарность музыкальных сюжетов, ни эклектика надерганных отовсюду номеров ревью, ни отсутствие единства между кордебалетом и главными исполнителями. В конце концов Чаплина подарил Америке именно английский мюзик-холл, не Друри Лэйн,

а странствующий театр, не имевший ни постоянного репертуара, ни даже зачастую собственного помещения. Пока существует хоть один чудак, готовый лицедействовать, то есть – *действовать в лицах*, повторял Битон вслед за Мейерхольдом, – и хоть один человек, готовый на это смотреть – есть театр. Убери их – и не поможет тут никакая культурная традиция, никакой репертуар и никакие деньги. Язык театра – бесконечно разнообразен, но он существует для публики – и это и есть суть и смысл театра.

Борис Аронсон, громивший по радио саму идею коммерческого театра с высоких позиций, в кругу друзей высказывался более прозаично. «В театре все мы обречены зависеть то от поэтов, то от колбасников, владельцев закусовых, – сказал он однажды. – Нынешнее время работает на колбасников».

И хотя никому в голову не пришло бы обвинять Меррика в принадлежности к поэтам, несправедливо будет причислять его и к колбасникам. Ибо зная язык колбасников, он использовал его, чтобы доставать через них средства и для многих сумасшедших поэтов. А заодно и кормить армию высокооплачиваемых бродвейских профессионалов и техников, вне всякого сомнения лучших в мире. Среди «поэтов», кстати, были Тони Ричардсон и Теннесси Уильямс, другом и поклонником которого всю жизнь оставался Меррик.

Мы еще вернемся к медленному, но ослепительному подъему карьеры нашего героя, но прежде перенесемся на сорок лет вперед, ближе к ее концу.

...Лето 1980-го. Всемогущий Дэвид Меррик, символ успешного покорения Бродвея, приезжает из Голливуда домой в Нью-Йорк. Многое изменилось за эти годы: за спиной беспрецедентная непрерывная цепь успешных премьер, дерзкие открытия дотолее неизвестных талантов, несколько скандальных провалов, ничуть не поколебавших его самоуверенность; слава тирана и злого гения театрального мира и одновременно мастера музыкального театра; три развода и бесконечное количество судебных исков: если Меррик и подписывает контракт, то лишь с одной целью – непременно его нарушить – таково мнение большинства его коллег.

Остается неизменным одно: бродвейскому коммерческому театру по-прежнему предрекают скорую смерть различные обозрева-



тели и театроведы – в книгах, в газетах и на телевидении. Уже много лет само слово «мюзикл» театралы-любители произносят чуть ли не вполголоса, оно становится почти неприличным как «чечетка».

В моду входит другой жаргон, другие жанры музыкального зрелища: рок-опера, хэппенинг, культовые спектакли. Слово «талантливо» в качестве комплимента в рецензиях больше не употребляется, его заменяют на модное «релевантно» (от relevant – злободневно). Наличие таланта не является обязательным.

Левые молодежные публикации безжалостно громят традиционные музыкальные спектакли «за дешевые эффекты», «за аполичность», «за буржуазность», «за сытую развлекательность». Театры начинают нести убытки, молодежь предпочитает им массовые рок-концерты на стадионах, на открытых площадках, просто на политизированных съездах, рок-марафонах по примеру Вудстока. Грубые огненные столбы и дымовые завесы рок-концертов никому при этом не кажутся дешевкой.

В критике царят двойные стандарты, откровенная любительщина приветствуется, и теперь любая топорно скроенная из нескольких нот песенка может без труда найти себе грамофонного продюсера и пробиться на массовый рынок – лишь бы в ней упоминалась война во Вьетнаме, а полисмены назывались не иначе как «свиньями».

Пытаясь спасти мюзикл, исполнителей пробуют раздевать донага; обходя цензурные рогатки, выдумывают различные предлоги для показа сцен, граничащих с порнографией, но это помогает мало, посещаемость неуклонно падает.

И вот в такой обстановке Меррик объявляет, что он «покажет всем, как это делается», дабы скептики убедились, что и Бродвей и он, его символ, живы, здравствуют и не собираются умирать. Ему, однако, предстоит это еще доказать, ибо корона Меррика после серии неудач заметно потускнела, и предсказывая мюзиклу и Бродвею неизбежный конец, «Нью-Йорк Таймс» не без злорадства намекает, что и дни его тирана-короля сочтены, он – живой анахронизм, динозавр, и ничего стоящего внимания современной публики ему больше не произвести.

«Что ж, время покажет, – парирует Меррик, – и ждать придется недолго».

...Два месяца работы и пробных показов в Вашингтоне позади, шоу Меррика «42-я улица» приезжает в Нью-Йорк. Там, в театре «Зимний сад» на Бродвее, днем проводится финальная репетиция перед официальной премьерой спектакля.

После обычной команды занавес начинает ползти вверх, но неожиданно застревает на уровне колен выстроившегося на сцене ансамбля, так что видны только лодыжки и подкованные для чечетки туфли танцоров. По какой-то причине и оркестр не вступает вовремя; возникает неловкая пауза, это типичная накладка. Суеверные актеры считают это дурным знаком. Надо начинать сначала. Но режиссер-постановщик и хореограф спектакля Гауэр Чемпион шепчет что-то на ухо ассистенту, и тот кричит: «Главам отделов! Техникам занавеса! Запомнить! Так и будем теперь начинать: мертвая пауза – десять секунд! Дирижеру! Увертюру начинаем только после моей команды «Пошел!» Записать сразу же. А сейчас всем – перерыв пять минут».

Двое незнакомых мужчин осторожно выводят режиссера к выходу, третий расчищает перед ними проход и открывает боковую дверь, возле которой режиссера ждет автомобиль с закопченными стеклами. Его почти вносят в машину, включается сирена и все уезжают. Гауэр Чемпион нездоров, ему необходимо вернуться в госпиталь и снова подключиться к капельнице и дыхательным трубкам.

Гауэр Чемпион – главная ставка на успех продюсера Меррика. Они знают друг друга девятнадцать лет. Это Гауэр поставил шоу, принесшее Меррику мировую известность, – «Хэлло, Долли!» Оно до сих пор идет по всему миру на четырнадцати языках, включая самые необычные, как *тагалог* и *урду*.

Их сотрудничество пережило три брака Меррика из четырех и два – Гауэра Чемпиона. Что, впрочем, не сделало их отношения менее сложными: с Мерриком такое вообще невозможно.

Сейчас у обоих есть реальные причины нервничать. После месяцев пробных показов в Вашингтоне бюджет вышел из-под контроля, переделки на месте потребовали добавочных декораций, это утяжелило их вдвое, и сценическая площадка старого «Зимнего сада» не выдерживает такой вес. Приходится заново оформлять

сцену в Нью-Йорке. Вместо 1,8 миллиона бюджет теперь приближается к трем.

И винить в этом Меррику некого, кроме самого себя: это он настаивал на 54 хористах, на полном оркестре в 31 инструмент и на дорогостоящих костюмах. Не слушая возражений, это он выкупил у партнеров их долю в шоу за 180 тысяч и стал единственным и полноправным владельцем этой антрепризы.

Саму историю Меррик выкопал из старого «стопроцентно звукового» фильма братьев Уорнер 1933 года. Обычный набор пошлых «закулисных» штампов о шоу-бизнесе и успехе в нем; глупое кино, от которого ничего не осталось кроме популярной песенки «Бродвейская колыбельная», да еще, пожалуй, титульного музыкального номера «42-я стрит». Какая разница? По замыслу Меррика, новый спектакль и должен стать изящным как старая оперетта: легкомысленным, веселым и... шикарным.

Чего-чего, а шика в продукции хоть отбавляй. Расходы растут как на дрожжах. Однако Меррик знает, что настоящий успех зависит не от количества денег, а от их употребления: от таланта участников – и это его тревожит куда больше, чем шик.

Главная героиня – Ванда Ричерт, на которой настаивал Гауэр. Талант ее несомненен. Но достаточен ли он, чтобы вытянуть на себе гигантское зрелище с шестью десятками других талантов на сцене – вот вопрос. Самое главное – режиссер не хочет и слышать о дублерше: он знает Меррика как облупленного и не дает ему в руки этот инструмент тотального контроля над спектаклем, которому он сам уже отдал столько сил...

Меррику, в свою очередь, не нравится упрямство режиссера. Он уже давно выяснил, что Гауэр и ведущая актриса находятся... о'кей, в отношениях романтических. Это как раз его не удивляет: он тоже неплохо знает своего любимого режиссера и считает такие увлечения нормальной частью «рабочего процесса».

Но чтоб ни у кого не остались сомнения, кто в этом деле босс, кто главный, Меррик взял и нанял молодую дублершу сам, более того – заставил Гауэра представить ее остальной труппе, даже не предупредив об этом заранее мисс Ричерт.

У ослабленного простудой режиссера не достало сил спорить, и счет стал один-ноль в пользу Меррика. Но проблема оказалась куда

сложней, чем предполагал Меррик. Гауэр начал пропускать вашингтонские репетиции, ссылаясь на нездоровье.

Меррик никогда не забыл, что перед премьерой «Хэлло, Долли!» властолюбивый Гауэр вообще запретил ему появляться на репетициях, чтобы не давить своим присутствием на психику актеров



**Гауэр Чемпион с женой Марджи. 1957 г.**

и не пугать их «своими рачьиими глазами». Меррик легко согласился тогда: он уже учуял, что набрел в лице Гауэра на золотую жилу. Но сейчас...

Сейчас Меррик вызвал «шоу-доктора». Так называют особых профессионалов, специализирующихся на быстрой помощи хромающим постановкам при минимуме затрат. Ведь часто успеху не хватает всего лишь небольшого толчка, поддержки со стороны, свежей идеи, чтобы расчистить дорогу на Бродвей, невинно сообщил труппе Меррик.

Трюк сработал. Узнав о «докторе», Гауэр сразу же перестал про-

пускать репетиции, несмотря на жестокий вирусный грипп. Его бил озноб. Ему пришлось ставить танцевальные номера в жару при выключенных кондиционерах, как всегда, самому показывая кордебалету рисунок танца и основные позиции. Это было нелегко в 59 лет, но работа шла вперед.

«Доктора» отправили назад. Зато сразу после репетиции к настоящим докторам уезжал сам измочаленный режиссер и хореограф, и те держали его на ногах, сбивая температуру самыми сильными средствами.

Вашингтонские рецензии были скверными, но рецензии никогда не пугали Меррика: он знал цену провинциальным критикам. Важным было то, что за пять недель пробных показов на публике его шоу собрало в Центре Кеннеди миллион сто пятьдесят тысяч долларов, что было рекордом для главной сценической площадки столицы США. Бравура постановки явно вызывала ответные чувства у публики, Гауэр Чемпион не утратил свой золотой «тач», свою уникальную невидимую связь со зрителем.

Однако он же категорически настаивал на необходимости нескольких пробных просмотров на публике в Нью-Йорке. Там ведь совершенно иной зритель, говорил он, и иная пресса: важно было проверить реакцию публики на выходы звезд, на драматические акценты, на музыкальные паузы во втором акте и сделать необходимые поправки.

Меррик понимал Чемпиона и запланировал для него в Нью-Йорке достаточное количество «публичных прогонов», как говорят на жаргоне. Труппа прибыла в Нью-Йорк, где прогоны эти должны были начаться 2-го августа с тем, чтобы подготовиться к официальной премьере 10-го. Но что-то заставляло Меррика задерживать публикацию обычной рекламы на полной странице «Нью-Йорк Таймс».

Открывшаяся была касса была на следующий же день закрыта по его команде, деньги за билеты возвращены публике. Это было так не похоже на Дэвида Меррика. Его пресс-агент объяснял газетам, что необходимо восстановить потрепанные в Вашингтоне декорации, но мы уже знаем, что их пришлось целиком переделывать заново под новую сцену.

Однако в Нью-Йорке Меррика тревожили вещи еще более серьезные.

3-го августа спектакль показали делегатам Демократической партии, съехавшимся на свой съезд. Это обернулось катастрофой. После целого дня приемов и дружеских попоек делегаты оказались не в настроении, да и не в состоянии провести весь вечер в душном зрительном зале. Во время действия они громко разговаривали, перекликались друг с другом, выходили в фойе, бродвейское шоу их совершенно не интересовало.

Меррик распорядился, чтобы наутро вся труппа снова явилась на репетицию, и опять началась напряженная работа.

По городу поползли слухи, что со спектаклем что-то неладно, и Меррик знал опасность таких слухов. Нью-йоркские сплетни были куда вредоноснее, чем самые разгромные провинциальные рецензии.

9-го августа он поместил в «Нью-Йорк Таймс» две колонки следующего содержания: *«Там наверху, в Высшей Инстанции, мне дали понять, что наш спектакль будет очень важен для людей во всем мире в эти тяжелые времена. Там наверху хотят увериться, что работа наша вполне готова к тому, чтобы стать незабываемым мюзиклом. Высшая Инстанция даст мне знать, когда почувствует, что постановка готова к показу. Я как продюсер ожидаю Оттуда курьера. Когда он прибудет и передаст мне Слово, я помещу в газетах объявление о дате премьеры и открою спектакль точно в срок.»*

Но мастерская, хоть и безумная в своей мегаломании реклама никак не решила проблемы режиссера Чемпиона. Ему требовалась живая генеральная репетиция с заплатившими за билеты зрителями. Он сделал серьезные изменения во время нью-йоркских репетиций; жизненно необходимо было проверить их на публике. Он больше не в силах был играть в шахматы без доски. Последние переделки он делал с высокой температурой и не был уверен в их эффективности.

На плечах Меррика также лежал тяжелый тайный груз, день за днем заставлявший его отодвигать долгожданную премьеру. Он, как мог, держал подальше от театра недружелюбных журналистов из либеральной прессы, только и ожидавших сообщить подробности об извечном конфликте между тираном-продюсером и его творческой

группой во главе с упрямым режиссером. Меррик еще в Вашингтоне пытался уволить главного художника, и дважды – музыкального директора. Пусти репортеров в театр – и начнется скандал с собиранием закулисных сплетен и угрозами судебных исков.

Меррик чувствовал, что такие подробности способны убить шоу. У него были на это серьезные причины. Проба на публике была объявлена 13-го и снова отменена, вместо нее – снова закрытые генеральные репетиции-прогоны, включая билетеров и уборщиков туалетов. Весь первый ряд был заполнен огромными мягкими игрушками: бегемотами, пандами, котами и мишками. Гауэр хотел зрителей – он их получил.

Один разъяренный загадочным молчанием обычно падкого до рекламы Меррика репортер ехидно замечал в своей колонке, что «курьер Свыше», вероятно, не заставит себя долго ждать, ибо одно только жалованье полного состава актеров обходится продюсеру более чем в 100 тысяч в неделю.

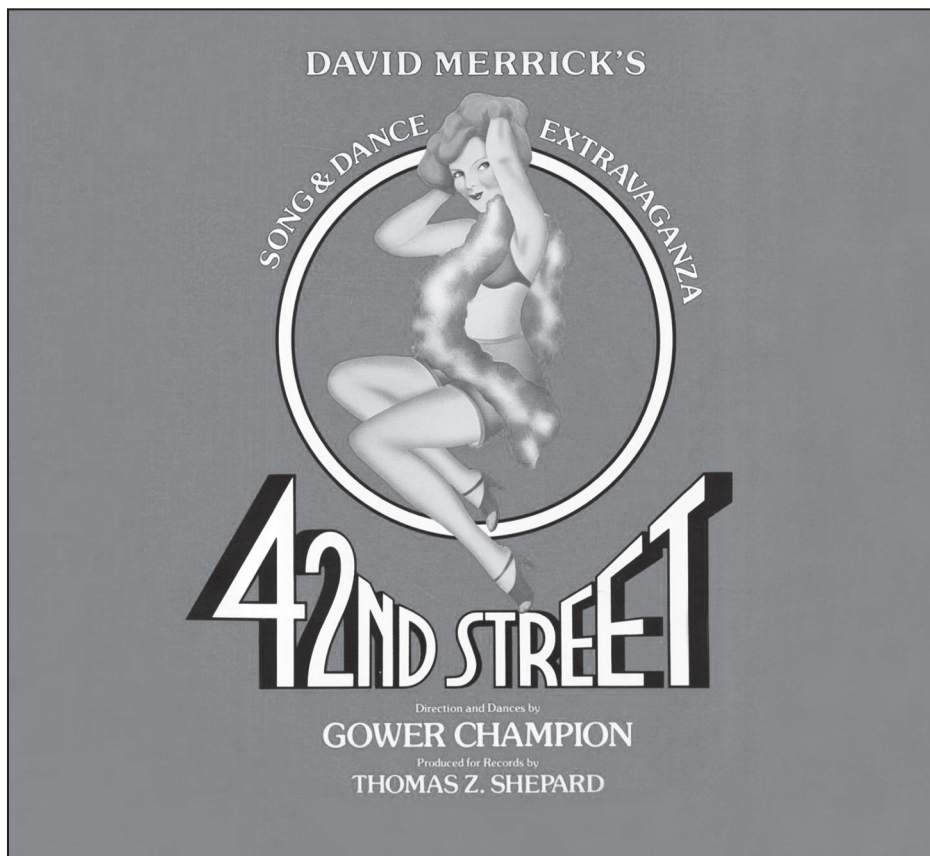
Наконец, газеты объявили об окончательной дате премьеры: понедельник 25-го августа. Реклама обещала «фейерверк музыки и танца при участии 54-х сценических персонажей».

В субботу, так и не получив необходимой ему реакции публики, Гауэр Чемпион в сопровождении медиков приехал в театр, чтобы в последний раз перед премьерой прогнать целиком свой спектакль и пожелать удачи труппе. Его однако, как мы уже знаем, хватило лишь на то, чтобы сделать последнюю оригинальную поправку, после чего он вынужден был уехать назад в больницу.

Утром в день премьеры рецензентам и журналистам позвонили из офиса Меррика и, извинившись, попросили в нарушение обычая, после премьеры не спешить к своим столам ночных редакций, но дождаться до конца выходов на поклон. Журналисты согласились, но с большим недовольством. Их рецензии должны были непременно попасть в утренние газеты и на счету была каждая минута. Телестанциям, до того лишенным доступа к труппе, также разрешили передать выходы на поклон в эфир. Сам Меррик на телефонные звонки упорно не отвечал.

...Вечер премьеры «42-й улицы» явился для настоящих театралов, вероятно, последней оказией окупиться в праздничную атмос-

феру классического Бродвея, когда его привычные блеск и мишура, старые деньги, громкие имена, журналистская шумиха и сверкание прожекторов затмевали и заглушали робкие и скромные рекламы общественных театров, только еще начинавших тогда свое движение в сторону Таймс Сквер.



Вспышки фотографов выхватывали знакомые всем по газетам и журналам лица. Вот режиссер Барбры Страйзанд Гарсон Канин, в свое время заплативший Станиславскому 1200 долларов за сорок пять минут урока актерского мастерства; его жена Рут Гордон, актриса, первой сыгравшая когда-то в полузабытом фарсе «Сваха» роль Долли Галлахер Леви, выросшую потом в знаменитую «Хэлло, Долли!» Среди отнесенных репортерами в категорию «и прочие» были: Генри Киссинджер, Нейл Саймон, Энн Бакстер, известная в



России по фильму «Все о Еве»; давний друг Гауэра Боб Фоссе, поставивший «Кабаре»; вторая жена Чемпиона – Карла; Грег и Блэйк Чемпионы, его сыновья от первой жены.

Сам Чемпион не мог присутствовать на премьере. Наиболее осведомленные зрители уже знали из газет, что вирус уложил режиссера в больничную кровать.

Но о больном все забыли, когда начали гаснуть огни и чуть приподнялся занавес, открывший зрителям сто восемь напряженно застывших в позиции ног в танцевальных башмаках. Из оркестровой ямы грянула полнокровная медноголосая увертюра, раздался крик ведущего спектакля «Пошел!» Занавес пошел вверх, и пущенная во всю ширину сцены чечетка огромного танцевального ансамбля заглушила даже оркестр.

Зал взревел от восторга. Публику собирались откровенно развлекать. И ей предлагали полностью, безраздельно отдаться музыке, сверкающему празднику театральных огней, танцоров и их костюмов на сцене, отдаться, ничуть этого не стесняясь и не задумываясь об оставшихся за стенами театра мировых проблемах. Или о неизбежной гибели коммерческого театра и вместе с ним – бродвейского мюзикла, если угодно.

Это был триумф.

Когда шоу закончилось и исполнители вышли на поклоны, занавес пришлось поднимать десять раз, но зал не переставал аплодировать. Представитель профсоюза сценических работников срочно искал продюсера, чтобы тут же на месте договориться с ним о дополнительной компенсации рабочим за сверхурочное время, вызванное непрекращающейся овацией. Но того нигде не было видно.

Меррик неожиданно объявился на сцене, когда занавес пошел вверх в одиннадцатый раз. Зал снова взорвался аплодисментами. Многие среди публики считали, что он вполне их заслужил, хоть и номинально не был автором. Ни один из создателей, включая и самого Чемпиона, не был крепче связан с «42-й улицей», чем Меррик, о чем он, вне всякого сомнения, заранее позаботился сообщить в своих пресс-релизах. Актеры начали было аплодировать своему кормильцу-продюсеру, но он поднял руку, прося слова. Зал затих, приготовившись выслушать триумфатора.

Меррик опустил глаза: «Я должен с прискорбием сообщить..., – начал он, но его заглушил хохот и восторженный рев зала. Зная Меррика, склонного к бравате и грубоватым шуткам, премьерная публика восприняла его неуместную скромность как хорошую пародию. Но Меррик неожиданно заслонил ладонью глаза от мешавшего ему прожектора и заорал: «Нет, нет, перестаньте! Вы не поняли. Это – трагедия. Гауэр Чемпион умер сегодня утром».

С этими словами Меррик пересек сцену чтобы обнять онемевшую от ужаса Ванду Ричерт. Для камер ли телевидения он делал это, или искренне выражал свои чувства Ванде – кто знает... Гробовое молчание по обе стороны рампы было ответом на его порыв. Джерри Орбах, главный исполнитель мужской роли, первым пришел в себя. Зритель никогда не должен быть свидетелем настоящих актерских слез. «Давай! Давай его вниз! – закричал он механикам занавеса, и через минуту актеры смогли наконец дать волю своим чувствам.

На Бродвее не принято произносить слово «занавес» – такая примета. Говорят просто: «Пошел вверх!» или «Давай его вниз!»

«Занавес!» говорят, только если кто-то прямо на сцене умер...

Меррик узнал от Гауэра, что тот смертельно болен, прямо перед отъездом в Нью-Йорк. То, что газетам преподносилось как вирус, было на самом деле редким злокачественным заболеванием крови под названием *макроглобулинемия*. Меррик понял, что должен носить эти новости при себе. Ему было 69 лет, и без Гауэра еще один шанс произвести на сцене что-либо значительное казался весьма проблематичным. Гауэр и сам рвался репетировать с актерами, зная, что время его подходит к концу, а призрак успеха уже носился в воздухе. Он хотел успеть закончить спектакль. Того же хотел и Меррик. Оба согласились держать язык за зубами. Труппу нужно готовить на сцене к празднику, а не к тризне.

Это, впрочем, не помешало им спорить до хрипоты о деталях постановки и исполнителях – работа есть работа. Невзирая на все возражения Чемпиона, дублершу Меррик упрямо продолжал держать наготове. Он не мог оставить три миллиона своих инвестиций и год адской работы на милость бродвейской дивы без всякой подстраховки. Гауэру это понять было трудно: все-таки он был прежде всего артистом, а не бизнесменом...

Каждую свободную минуту Меррик проводил в госпитале у Гауэра, но никак не мог начать публичные прогоны, боясь, что вездесущая пресса пронюхает правду о заболевании главного режиссера и хореографа. Оба надеялись на один генеральный прогон перед самой премьерой, но и этого не случилось: болезнь побеждала. Никто не знал, что в воскресенье Гауэра перевели в реанимацию с почечной недостаточностью; началось кровотечение и счет пошел уже на часы. Рано утром в понедельник Меррику позвонили из госпиталя сообщить, что до рассвета Гауэр не дожил.

Меррик договорился с семьей и врачами отложить на 12 часов официальные извещения, пока не начнется представление, сам же срочно позвонил ассистентам и назначил две полных репетиции подряд, так называемый марафон, начиная с 9 утра. Завтрак, ланч и обед для сотрудников приносили прямо в закрытый для посторонних театр, и Меррик позаботился, чтобы штат официантов был нанят из соседнего обычного ресторана, а не из ушных и болтливых околотеатральных буфетчиков.

Так ему удалось сохранить секрет, по крайней мере, до начала второго акта. В антракте репортер «Дэйли ньюс» уже получил печальные новости по телефону, но слух распространялся по залу медленно и через рампу перейти не успел. Актеры до самого конца шоу оставались в блаженном неведении и с охотой выполняли главное требование Гауэра: играть так, словно это было не результатом изнурительной полугодовой работы, а просто забавой, случайно посланной им с неба счастливой возможностью от души повеселиться.

Одной лишь Высшей Инстанции дано было знать, чем закончилась бы премьера, услышь актеры о кончине Гауэра Чемпиона и его отчаянной борьбе за триумфальную победу их спектакля на Бродвее.

«Сорок Вторая» продержалась на сцене восемь с половиной лет. Ее сыграли 3, 486 раз, далеко опередив легендарную «Хэлло, Долли!» с ее 2,844 представлениями.

Когда некоторое время спустя репортеры заметили Дэвиду Меррику, что его сообщение о кончине Гауэра перед работающими прямо в эфир телевизионными камерами, «случайно оказавшимися в театре», сильно напоминает мелодраматический рекламный трюк

сомнительного вкуса, он вместо того чтобы как обычно разораться и пригрозить судом, опустил глаза и сказал: «Вам этого не понять. Я всей душой любил этого человека». Помолчал и добавил: «Это, конечно, выглядело бестактно и грубовато. Но я... я просто не умею иначе...»

**Окончание – в следующем номере**

**Виктор Норд** – режиссер и сценарист. Ему было 19, когда по его репортажу был сделан документальный фильм «Ночной вокзал». Это помогло ему поступить в Институт кинематографии на факультет режиссуры.

В 1973-м Виктор Норд уехал в Израиль. Первой его работой там стали военные репортажи для Си-Би-Эс и документальный фильм «Третий день войны» («Война Судного дня»).

С 1982 года Норд живет и работает в США (Нью-Йорк). Работы его представлялись на кинофестивалях (Канны, Сан-Франциско, Торонто, Таормина).

В Москве издан его роман «Непредвиденные последствия» – первая большая работа, публикуемая на русском языке.

---

## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

---

**Салман Рушди**

**«Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей»**

Издательство: АСТ, Corpus

Это и сказка, и притча, и сатира. История о недалеком будущем, о так называемых небывалостях, которые начинают происходить в Нью-Йорке и окрестностях, о любви джиннии к обычному мужчине, о их потомстве, оставшемся на Земле, о войне между темными и светлыми силами, которая длилась тысячу и один день. Салман Рушди состязается в умении рассказывать истории с Шахерезадой, которой это искусство помогло избежать смерти.

Салман Рушди – британский писатель индопакистанского происхождения, находящийся под постоянной защитой английских спецслужб. Его произведения становились поводом для разрыва дипломатических отношений между странами и кровавых баталий в обществе. Лидер исламской революции Хомейни приговорил его к смертной казни за роман «Сатанинские стихи», а английская королева присвоила ему рыцарский титул.

**Салмана Рушди** причисляют к магическим реалистам и ставят в один ряд с Борхесом, Булгаковым и Кафкой. Его роман «Дети полуночи» стал сенсацией в англоязычной литературе. Книга получила премию Букера Букеров, то есть была признана лучшим англоязычным произведением за 25 лет существования премии. 10 июля 2008 года Рушди назван лучшим автором из всех лауреатов Букеровской премии.

**Владимир Сорокин**

**«Манарага»**

Издательство Corpus

Роман увидел свет в России в начале марта.

На сей раз Сорокин решил выяснить, каким образом будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции.

Это время расцвета нового бизнеса – book'n'grill. Книги давно перестали печатать, уцелевшие экземпляры стали экспонатами музеев. За ними охотятся, их воруют и тайно доставляют тем, кто может себе позволить ими обладать. Однако бесценные тома стали предметом роскоши вовсе не потому, что кто-то мечтает вновь отдаться чтению и пошелестеть старыми страницами, а по иной причине – на них можно приготовить вкуснейшие блюда. Шашлык из осетрины на «Идиоте», стейк на первом издании «Поминок по Финнегану», каре барашка на «Дон Кихоте» – book'n'grill стал новой страстью человечества. Страстью запретной, а потому дорогой. Шеф-повар, то есть book'n'griller Геза, главный герой романа, вводит читателя в новый удивительный мир, с его законами и порядками.

Это очень смешная история, с остроумными и точными мыслями о классической и современной литературе. Владимир Сорокин размышляет не только о будущем бумажных книг, но и о судьбе всей планеты: что же с нами будет дальше? Читатель же невольно задается вопросом – неужели фантастические сюжеты «Манараги» окажутся пророческими?

**Владимир Сорокин** – известный российский писатель, яркий представитель постмодернизма. Автор десяти романов, а также повестей, рассказов, пьес и киносценариев. Лауреат ряда премий, номинант Международной Букеровской премии. Его книги переведены на десятки языков.

**Ханья Янагихара**  
**«Маленькая жизнь»**

Американская писательница гавайского происхождения. Родилась в Лос-Анджелесе. В 1995 году, закончив колледж, переехала в Нью-Йорк, где несколько лет занималась публицистикой. Также она работала редактором в двух журналах.

Первый роман Янагихары «Люди в деревьях» увидел свет в 2013 году. Образ центрального персонажа целиком основан на Дэниеле Гайдузекке – педиатре и вирусологе, лауреате Нобелевской премии по физиологии и медицине, который в 1996 году был арестован по обвинению в педофилии и впоследствии признал свою вину. Роман написан в форме дневника, и сексуальность главного героя является одной из центральных его тем.

Успех Янагихаре принес ее второй роман «Маленькая жизнь», рассказывающий о четырех друзьях детства. Роман стал бестселлером и получил положительные отзывы критиков. Каждый читатель находит в нем что-то свое. Литературный критик Галина Юзефович пишет: *«Для кого-то это книга о том, что всей любви мира не хватит на то, чтобы залечить травму, нанесенную в детстве. Для кого-то история про любовь и дружбу, а еще про то, что граница между ними зыбка и неопределенна. Для кого-то brutальный мужской гей-роман с жестью и кровью. Для кого-то история преодоления и возможности счастья при любом анамнезе, а для кого-то рассказ про художника и парадоксы творчества или, того удивительнее, про математику и ее связь с реальностью».*

Роман вышел в свет в переводе на русский в Москве в конце прошлого года.

**Хелен Макдональд**  
**«Я» значит «ястреб»**  
Издательство АСТ

*«Со мной творилось что-то странное: я слишком устала, слишком переутомилась, казалось, что у меня из головы вынули мозг, а череп забили чем-то похожим на алюминиевую фольгу, пропеченную в микроволновке, — измятую, обугленную и стреляющую искрами. «Бррр! Надо выбираться отсюда, – подумала я, откинув одеяло. – И чем дальше, тем лучше!» Натянула джинсы, сапоги и джемпер, ошпарила рот прогорклым кофе и, только проехав полдороги по трассе А14 на своем замерзшем древнем «Фольксвагене», поняла, куда направляюсь и зачем. Там, за запотевшим ветровым стеклом и белыми полосами дороги, был лес. Развороченный лес. Туда-то я и ехала. Смотреть ястребов-тетеревятников».*

Книга британского прозаика, натуралиста, сотрудника Кембриджского университета Хелен Макдональд «Я» значит «ястреб» стала мировым бестселлером и получила престижные литературные премии. Этот автобиографический роман повествует об истории взаимоотношений молодой женщины, потерявшей отца, и ястреба-тетеревятника по имени Мэйбл.

«Захватывающая книга, которой предстоит стать литературной классикой. Читать ее – такое же наслаждение, как следить за свободным полетом птицы в небе» (New York Times). «Одна из самых прекрасных книг о дружбе человека и животного за всю историю!» (National Geographic). «Глубокая, сильная и необычайно искренняя и лиричная книга, способная растрогать даже каменное сердце!» (The Bookseller).



**Яков Клоц**

**Поэты в Нью-Йорке. О городе, языке, диаспоре**

Издательство «Новое литературное обозрение»

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI вв. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.

В книге 16 интервью с поэтами, включая такие имена как Алексей Цветков, Марина Темкина, Дмитрий Бобышев, Бахыт Кенжеев, Владимир Гандельсман, Катя Капович, Анна Фрейлих, Василь Махно...

**Яков Клоц** преподает русскую литературу в Хантер-колледже Городского университета Нью-Йорка (Hunter College, CUNY). Под руководством Томаса Венцловы в 2011 году защитил диссертацию об Иосифе Бродском в Йельском университете. Автор статей о русской поэзии и художественном переводе, прозе ГУЛАГа, тамиздате, эмиграции и диаспоре, лингвистической мифологии и городских пространствах в русской литературе.

**Ольга Матич**

**Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи**

Издательство «Новое литературное обозрение»

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу.

«Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов воспоминаний, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой...

**Ольга Матич** – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

В 1978 году помогла Василию Аксёнову переправить из СССР на Запад рукопись альманаха «Метрополь».

В 1981 году организовала и провела в Калифорнии конференцию *The Third Wave: Russian Literature in Emigration* («Третья волна: русская литература в эмиграции»), по результатам которой был издан одноимённый сборник материалов. На конференции ей удалось собрать почти всех ведущих русских литераторов-эмигрантов того времени с подчас противоположными политическими и эстетическими взглядами.

**Этгар Керет**

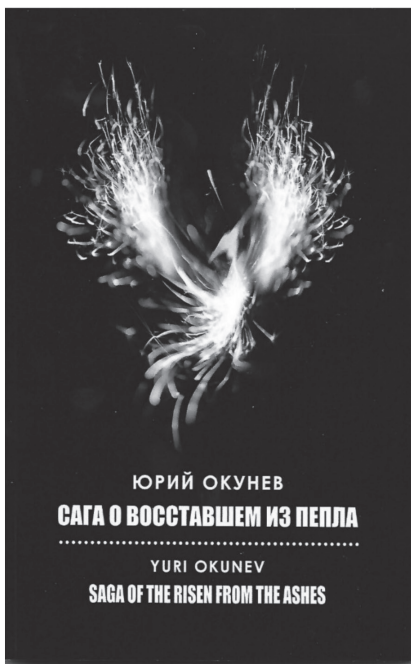
**«Семь тучных лет»**

М.: Фантом Пресс. Перевод с иврита Л. Горалик

**Этгар Керет** – израильский писатель, в основном автор коротких рассказов, но так же сочиняет сценарии, стихи, пьесы и комиксы. Его часто справедливо сравнивают с Довлатовым. Но, как замечает Галина Юзефович, «одно важное отличие все же есть: по сравнению с Довлатовым, которому на протяжении всей жизни мучительно жала в плечах сначала советская, а потом и американская действительность, Керет – фигура исключительно гармоничная. Израиль со всей его щедростью, теплом и невротами ему точь-в-точь впору, и это обстоятельство позволяет писательскому дару Керета цвести особенно пышным, ничем не стесняемым цветом».

Он рассказывает, казалось бы, бытовые истории, притом довольно банальные, однако под его пером они обретают удивительную, неповторимую окраску.

Творчество Этгара Керета характеризуется как постмодернистское, зачастую основанное на абсурде и иронии. Его язык прост, он близок к разговорному, и не чурается сленга. Характерная позиция рассказчика – позиция стороннего наблюдателя, наивного ребёнка, неудачника. Мир его произведений часто одновременно фантастичен и повседневно-банален. Всего у него вышло 4 сборника рассказов, 2 книги комиксов и книга для детей. Его рассказ «Сирена» включен в обязательную программу по литературе. Израильская ежедневная газета «Едиот Ахронот» назвала книгу Керета «Тоска по Киссинджеру» в числе пятидесяти самых значимых произведений израильской ивритской литературы. Его произведения переведены на английский, испанский, русский и более 20 других языков.



Издательство M-GRAPHICS  
(Boston, USA)  
выпустило в свет новую книгу  
Юрия Окунева  
с параллельными текстами на  
русском и английском

**САГА  
О ВОССТАВШЕМ ИЗ  
ПЕПЛА**

**SAGA  
OF THE RISEN FROM  
THE ASHES**

Это книга о человеке необыкновенной стойкости и мужества, чья судьба сложилась в таинственную сагу, возвышенную и поучительную, как и всякая неприбранная правда, ставшая легендой...

Это история о чуде возрождения семьи, погибшей в огне Холокоста!

Не является ли это чудо проявлением особой судьбы всего еврейского народа, который мистическим образом выживает, несмотря на все усилия окружающего мира уничтожить его?

Не является ли это чудо, сопровождающее еврейский народ, той осью, вокруг которой вращается всемирная история?

**КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ**

**[www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)**

**<http://www.mgraphics-publishing.com/catalog/194022058/194022058.html>**



...Шуберт исчез, не звонил и не отвечал на призывы Дани откликнуться, передаваемые на автоответчик. Пришлось отправиться к нему домой. Томимый тревогой, он нажал на соседний звонок. В ответ на женский голос, раздавшийся из домофона, объяснил, что он друг Иоганна Шуберта и хотел бы узнать что-нибудь о нем.

«Коммен зи херайн» – «Войдите», – прозвучало в ответ. На втором этаже у открытой двери стояла молодая женщина.

«Эр ист гешторбен» – «Он умер», – сказала она.

– От чего?

– Пойдемте.

Они вышли в парк, прошли по аллее к детской площадке, огражденной невысоким забором.

– Вот здесь его нашли утром. Он любил гулять ранними утрами. Он лежал на песке, лицом вниз. Его ударили ножом в спину. Насколько я знаю, убийцу не нашли.

**Михаил Румер-Зараев**

Я научилась строки шить  
без узелков и заусенцев  
и просто умудрилась – жить  
без вожаков и порученцев

**Марина Тюрина-Оберландер**

На Манхэттен Бич селились удачливые «русские» – врачи, адвокаты, бизнесмены, их здесь уже было больше, нежели коренных американцев, пребывающих в желчной зависти к этим иммигрантишкам, неизвестно каким образом сколотившим миллионы. Майкл и его семья жили именно здесь, олицетворяя достаток и уверенность в себе. И вот разом все рушится...

**Леон Михлин**

– Это та самая «Лейка-2», что я получил в подарок от доктора Лейтца, – сказал Джек. – Самая ценная вещь, что у меня есть, память из той жизни. Когда после войны стало известно, сколько немцы убили евреев, я подумал, что, убивая евреев, Германия тем самым убивала себя как народ. Но позже, вспоминая доктора Лейтца и его дочку, я понял, что раз были такие немцы как они, то, быть может, не всё для их нации потеряно.

**Яков Фрейдин**

Меррик опустил глаза: «Я должен с прискорбием сообщить..., – начал он, но его заглушил хохот и восторженный рев зала... Но Меррик неожиданно заслонил ладонью глаза от мешавшего ему прожектора и заорал: «Нет, нет, перестаньте! Вы не поняли. Это – трагедия. Гауэр Чемпион умер сегодня утром».

**Виктор Норд**

